

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛОГИКА, ОНТОЛОГИЯ, ЯЗЫК

Составление, перевод и предисловие В.А. Суровцева



ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2006

УДК 316.42:35

ББК 87.5

Л69

Л69 **Логика**, онтология, язык / Сост., пер. и предисл. В.А. Суровцева. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. – 244 с. – (Библиотека аналитической философии).

ISBN 5-7511-2014-5

В сборнике представлены работы ведущих философов-аналитиков, посвященные логическому анализу языка, теории значения и соотношению аналитической философии с другими философскими направлениями современности. Книга может служить учебным пособием изучающим аналитическую философию.

Для философов, логиков, лингвистов.

УДК 316.42:35

ББК 87.5

Издание подготовлено при поддержке гранта РГНФ № 05–03–03402а.

Благодарность филиалу ТГУ в г. Юрге за спонсорскую помощь в публикации данной книги

ISBN 5-7511-2014-5

© В.А. Суровцев. Составление,
перевод, предисловие, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
-------------------	---

I. Философия логического анализа

<i>Фреге Г.</i> Целое число	11
<i>Рассел Б.</i> Математическая логика, основанная на теории типов	16
<i>Рамсей Ф.П.</i> Критические заметки о «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна	63

II. Проблемы теории значения

<i>Куайн У.В.О.</i> О причинах неопределённости перевода	80
<i>Куайн У.В.О.</i> Ещё раз о неопределённости перевода	86
<i>Даммит М.</i> Что такое теория значения? (I).....	93
<i>Пикок К.</i> Теория значения в аналитической философии	136

III. Аналитическая философия и феноменология

<i>Фоллесдал Д.</i> Введение в феноменологию для философов-аналитиков.....	158
<i>Райл Г.</i> Феноменология и лингвистический анализ	174
<i>Рикёр П.</i> Гуссерль и Витгенштейн о языке	184

IV. К истории аналитической философии

<i>Бенаццераф П.</i> Фреге: последний логицист	193
<i>Голдстейн Л.</i> В какой степени оригинален «Логико-философский трактат»?	219

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный сборник, по существу, является продолжением сборника переводов “Язык, истина, существование”, также вышедшего в серии *Библиотека аналитической философии*¹. В предисловии к последнему были сформулированы общие методологические принципы, которыми мы руководствовались при отборе текстов. Их же мы придерживаемся и здесь.

Сборник не случайно начинается разделом “Философия логического анализа”. Это исторически первое направление, возникшее в рамках аналитической философии, которая изначально ставила задачу прояснения философских проблем средствами современной формальной логики. В раздел включены работы, составляющие классику аналитической философии.

В небольшой статье “Целое число” Г. Фреге отстаивает реалистическую позицию во взглядах на природу математики и числа как её основного понятия, лежащую в основании предложенной им программы логицизма. Аргументация развивается как приложение критических усилий в отношении современного ему формалистского подхода. Он отвергает трактовку математических операций с точки зрения преобразования лишённых объективного содержания значков, рассматривая подобный подход как разновидность психологизма в математике. Критика психологизма в точных науках образует в той или иной мере фон всех философских идей Г. Фреге. Достоинство представленного текста в том, что он удачно дополняет критику индуктивистских, феноменалистских, физикалистских и др. трактовок предложений и понятий математики и логики, которую Г. Фреге приводит в более ранних произведениях². Используемые здесь аргументы с незначительными модификациями можно встретить практически во всех современных работах по философии математики, ориентированных на объективистский подход к её основаниям.

Работа Б. Рассела “Математическая логика, основанная на теории типов”, впервые опубликованная в 1908 г. в *American Journal of Mathematics* и с тех пор неоднократно переиздававшаяся, является самой известной и наиболее цитируемой его работой в области математической логики. В этой работе Б. Рассел впервые даёт развёрнутое решение ло-

¹ См.: Язык, истина, существование. – Томск: Изд-во ТГУ, 2003.

² См., например: *Фреге Г.* Основоположения арифметики. – Томск: Водолей, 2000.

гических парадоксов, основанное на разработанной им теории типов. Содержание статьи в существенных чертах совпадает с первым томом опубликованного в 1910–1913 гг. монументального трёхтомного труда *Principia Mathematica*, написанного Б. Расселом в соавторстве с А.Н. Уайтхедом. Компактность статьи и ясность изложения даёт хорошую возможность без излишних деталей проследить магистральную идею разветвлённой теории типов и то, как она отражается на различных разделах математики и её оснований. С точки зрения используемых формальных методов и технических средств статья удачно дополняет имеющуюся в русском переводе другую работу Б. Рассела, которая посвящена философским основаниям и следствиям развиваемого им подхода к математике³.

В статье Ф.П. Рамсея, впервые опубликованной в 1923 г., даются критический анализ и оценка *Логико-философского трактата* Л. Витгенштейна. В этой работе представлена крайне оригинальная интерпретация одного из самых известных философских произведений современности, которая во многом легла в основание философии самого Ф.П. Рамсея, а также послужила отправным пунктом для интерпретаций других исследователей творчества раннего Витгенштейна. Необходимо отметить, что подход Рамсея совершенно отличается от подхода представителей Венского кружка, для которых *Трактат* был своего рода библией. Интерпретация последних долгое время считалась канонической, и представленная здесь статья позволяет преодолеть столь однобокий подход. Следует учесть, что критические замечания Ф.П. Рамсея относятся к изданию первого английского перевода *Логико-философского трактата* Л. Витгенштейна, выполненного К. Огденом⁴. К этому изданию немалые усилия приложил и сам Ф.П. Рамсей, который не только консультировал К. Огдена, но и редактировал большую часть его перевода. В этом издании английский перевод сопровождается параллельным воспроизведением оригинального немецкого текста самого Л. Витгенштейна и предваряется предисловием Б. Рассела. С этого издания сделан и первый русский перевод⁵, который в основном использован при передаче цитат в данном переводе текста Ф.П. Рамсея. Последнее обусловило не всегда последовательную передачу терминологии, поскольку немецкий оригинал, английский перевод и предисловие Б. Рассела в отношении терминов не всегда совпадают с принятыми

³ Рассел Б. Введение в математическую философию. – М.: Гнозис, 1996.

⁴ Wittgenstein L. Tractatus Logico-Philosophicus. – London: Routledge & Kegan Paul, 1922.

⁵ Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М.: ИЛ, 1958.

русскоязычными эквивалентами. Особенно это касается немецкого *Satz* и английского *proposition*. В случаях, где возникали коллизии, в представленном здесь переводе мы всегда стремились к сохранению смысла оригинального текста.

Теория значения, которой посвящён следующий раздел, в рамках аналитической философии занимала и занимает определяющую роль. С общей точки зрения на развитие современной философии можно было бы сказать, что теория значения языковых выражений в различных областях знания определила своеобразие этого подхода к решению философских проблем. Различные темы, занимающие философов-аналитиков, будь то философия сознания, философия логики или математики, философия науки или социальная философия и т.д., так или иначе затрагивают связанные с этой теорией проблемы.

Раздел открывает одна из наиболее часто цитируемых статей У. Куайна. В ней уточняется концепция неопределённости перевода, сформулированная им в книге “Слово и объект” и развитая в ряде других работ⁶. Данная статья особо интересна тем, что в ней устанавливается соотношение концепции неопределённости перевода с другой широко известной теорией У.Куайна – концепцией онтологической относительности⁷. Несмотря на то, что обе эти концепции выросли из понимания Куайном догм эмпиризма и логического анализа онтологических допущений и теории значения в лингвистике, они имеют разные области применения и в целом независимы друг от друга. Неопределённость перевода и онтологическая относительность обосновывают прагматистскую позицию Куайна в различных областях современной аналитической философии – теории значения и методологии науки. Статья “О причинах неопределённости перевода” позволяет более точно соотнести эти две концепции. Эти же темы развивает и уточняет следующая статья Куайна “Ещё раз о неопределённости перевода”, особо концентрируясь на загадке радикального перевода, связанного с пониманием целостных предложений и фрагментов языка.

Особый интерес вызывает статья М. Даммита “Что такое теория значения?”, в которой он пытается установить, какими характеристиками должна обладать приемлемая теория значения. Однако исходя из предпосылки, что такая теория прежде всего должна быть теорией понимания, Даммит скорее отвечает на вопрос, какой не может быть тео-

⁶ Куайн У.В.О. Слово и объект. – М.: Логос, Праксис, 2000.

⁷ Куайн У.В.О. Онтологическая относительность // Современная философия науки. – М.: Логос, 1996.

рия значения. Он показывает, что на роль приемлемой теории не могут претендовать ни руководство для перевода куайновского типа, ни теории, инспирированные популярной точкой зрения, что значения языковых выражений зависят от условий истинности предложений, в которые они входят. Такие условие-истинностные концепции значения, производные от теории истины А. Тарского и развиваемые Д. Дэвидсоном, Даммит рассматривает как разновидность холистического взгляда на язык, критика которого составляет основное содержание статьи. С точки зрения Даммита, если теория значения выражений должна быть теорией понимания, её необходимо дополнить теорией употребления языка. Отметим, что это позитивное достижение развивается в продолжение данной статьи с тем же названием, ранее опубликованном на русском языке⁸.

Каждая позиция относительно теории значения, разрабатываемая в рамках аналитической философии, предлагает свою семантику. В этой ситуации поразительно отсутствие систематизаций, которые позволили бы соотнести достижения различных авторов, работающих в разнородных областях, с общими тенденциями развития аналитической философии. Статья К. Пикока “Теория значения в аналитической философии” относится к одной из тех редких систематических работ, которые учитывают достижения семантических исследований в разных разделах этого философского направления⁹. Автор статьи оговаривает, что его систематизация ограничивается 60–70-ми годами прошлого века. Заметим, что описанная им ситуация вполне характеризует темы не только выбранного им времени, но и положение в семантике как предыдущих, так и последующих 20 лет. Эта классическая систематизация и вытекающие из неё следствия нисколько не утратили своего значения и могут рассматриваться и как исследование по истории современной философии, и как оригинальная работа по семантике.

Ситуация в современной философии характеризуется практически полным отсутствием диалога между различными направлениями англоязычной философии и философскими школами континентальной Европы. В какой-то мере эту ситуацию стремятся преодолеть статьи, входящие в раздел “Аналитическая философия и феноменология”. Представленные здесь авторы считают, что между этими двумя наиболее

⁸ Даммит М. Что такое теория значения? // Философия, логика, язык. – М.: Прогресс, 1987.

⁹ Для сравнения укажем на одну из таких работ, переведённых на русский язык: Сааринен Э. О метатеории и методологии семантики // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII: Логический анализ естественного языка. – М.: Прогресс, 1986.

влиятельными направлениями современной философии не только может, но и должно быть установлено взаимодействие. Так, Д. Фоллесдал считает, что продуктивный обмен между аналитической философией и феноменологией возможен уже хотя бы потому, что они имеют во многом общие истоки, ориентируясь на образцы строгости, заданные точными науками и некоторыми философскими системами XIX века. Особую роль, по его мнению, здесь может сыграть семантика Г. Фреге, которая является источником многих идей теории значения в аналитической философии и в то же самое время имеет общую структуру с теорией нозем Гуссерля. Поэтому теория нозем может служить мостиком, соединяющим различные концепции философов-аналитиков, с одной стороны, и феноменологов и экзистенциалистов – с другой.

Более скептически возможность такого взаимодействия оценивает Г. Райл, который был хорошо знаком с феноменологией, так как в своё время проходил стажировку у Гуссерля, а позднее создал одну из наиболее известных теорий сознания в рамках аналитической философии¹⁰. Он отмечает сходство в постановке проблем, формулировке целей и задач, например, в отношении различных типов локуций. Но в то же самое время Райл констатирует различие в методологических подходах. Его не устраивает описательный, сугубо констатирующий характер феноменологического метода, не отвечающего на вопросы и не приводящего аргументов в пользу той или иной теории. Философия должна быть доказательна, и в этом отношении анализы, предлагаемые феноменологией, не имеют ничего общего с подходами аналитической философии.

Взвешенный подход демонстрируется в статье яркого представителя ‘континентальной’ философии П. Рикёра. Он не даёт оценок возможности взаимодействия феноменологии и аналитической философии, а проводит компаративный анализ взглядов на язык Гуссерля и Витгенштейна. Возможность такого анализа он усматривает в параллелизме развития взглядов на язык обоих философов, которые начиная с построения идеальной модели языка в ранних работах затем переходят к анализу функционирования языка в повседневной жизни. Главное здесь не в различии применяемых методов, а в сходстве полученных результатов.

Две заключительные статьи сборника посвящены отдельным проблемам истории аналитической философии, связанным, пожалуй, с самыми яркими её представителями – Г. Фреге и Л. Витгенштейном.

¹⁰ Райл Г. Понятие сознания. – М.: ДИК, 2000.

Статья известного специалиста в области философии математики П. Бенацерафа вызывает интерес уже своим названием “Фреге: последний логицист”. Долгое время философия математики Г. Фреге рассматривалась как исходный пункт разветвлённого движения логицизма, стремящегося свести математику к логике. Логицизм при этом трактовался как утверждение об аналитической природе математических истин, применяемых для преобразования эмпирических предложений. Такой подход, например, был свойствен представителям Венского кружка. Однако, как показывает Бенацераф, истолкованный таким образом логицизм вовсе не был свойствен Фреге, который ни в коем случае не был сторонником эмпиризма. Его цель заключалась совсем в другом и была мотивирована попыткой возродить реализм платонистского толка в математике и логике. В этом отношении, если логицизм в основаниях математики связывать с именем Г. Фреге, то он действительно был не только первым, но и последним логицистом.

Не менее провокативна статья Л. Голдстейна, посвящённая философии раннего Витгенштейна. Однако для её понимания необходимо обрисовать фон её появления. В 1999 году Л. Голдстейн опубликовал крайне интересную работу под вызывающим названием: “Экзамен на Ph.D. Витгенштейна: Воссоздание события”¹¹. В этой работе обыгрывалась известная в истории философии XX века ситуация, когда Витгенштейн, будучи признанным корифеем новых веяний, был вынуждён сдавать экзамен на профессиональную пригодность, чтобы преподавать и заниматься философией. Экзаменаторами тогда выступили Б. Рассел и Дж.Э. Мур, которые признавали, что не только были учителями своего гениального ученика, но и восприняли некоторые его мысли. Поэтому экзамен, вызывающий многие затруднения у других, для Витгенштейна представлял простую формальность. Тем не менее Голдстейн поставил задачу реконструировать это событие в том ключе, как если бы в нём участвовали незаинтересованные лица. Что произошло бы, если бы экзаменаторы хуже знали экзаменуемого, если бы они подходили к нему с точки зрения стандартов, принятых в Кембридже для других студентов, а именно учитывали бы степень оригинальности идей, уровень разработанности проблемы и т.д.? Выводы Л. Голдстейна были не утешительны. *Логико-философский трактат*, представленный Витгенштейном в качестве диссертационной работы, вряд ли удовлетворял бы требованиям, принятым тогда в английских университетах. Действительно, с точ-

¹¹ Перевод этой статьи на русский язык, выполненный В.В. Целищевым, появился в журнале *Гуманитарные науки в Сибири*, 2000, №1.

ки зрения современных критериев *Трактат* содержит множество погрешностей. Именно на этих погрешностях сосредоточил своё внимание Голдстейн, обыграв их в виде небольшой шуточной пьесы, где вымышленные действующие лица являлись своего рода 'суррогатом' реальных участников этого события. Пьеса, поставленная Голдстейном, вызвала бурную дискуссию. Представленная здесь статья является ответом Голдстейна оппонентам и во многом проясняет реалии дискуссий, касающихся *Логико-философского трактата*.

І. ФИЛОСОФИЯ ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ГОТЛОБ ФРЕГЕ

*ЦЕЛОЕ ЧИСЛО**

Я заметил, что данный журнал пытается согласовать математику и философию, и это представляется мне весьма ценным. Действительно, эти науки не могут не получить выгоду, обмениваясь идеями. Это побуждает меня вступить в дискуссию. Взгляды, выдвинутые мсье *Ballue* в майском номере журнала¹, несомненно разделяются большинством математиков. Но они содержат логические затруднения, которые кажутся мне достаточно серьезными, заслуживая того, чтобы быть выставленными напоказ, всё больше потому, что они могут затемнить проблему и склонить философов более не беспокоиться об основоположениях арифметики. Для начала, по-видимому, следует указать на часто встречающийся промах математиков, который заключается в том, что они ошибочно рассматривают символы как объекты своих исследований. На самом же деле символы есть только средство исследования – хотя и очень полезное, даже неизбежное, – а не его объекты. Эти последние представлены посредством символов. *Очертания* знаков, их химические и физические свойства могут подходить в большей или меньшей степени, но они не являются существенными. Нет символа, который нельзя было бы заменить другим символом с иными очертаниями и качествами, связи между вещами и символами являются чисто конвенциональными. Это относится к любой системе знаков и к любому языку. Несомненно, язык – мощное оружие человеческого духа, но один язык может быть столь же пригоден, как и другой. Поэтому необходимо не переоценивать слова и символы, либо приписывая им псевдомагическую силу над вещами, либо ошибочно принимая их за действительные вещи, самое большее более или менее точными представителями которых они являются. По-видимому, на этой точке зрения едва ли следует настаивать, но статья мсье *Ballue*, вероятно, не защищена от подобной ошибки. Его тема – целые числа. Что они собой представляют? Мсье *Ballue* го-

* *Frege G.* Le Nombre entier // *Révue de Métaphysique et de Morale*, 1895, III.

¹ Le Nombre entier considéré comme fodement de l'analyse mathématique.

ворит: «Множественности, представленные символами, называются целыми числами». Тогда, согласно ему, целые числа являются символами, и об этих символах он намеревается говорить. Но символы не являются и не могут являться основанием математического анализа. Когда я записываю $1+2=3$, я выдвигаю суждение о числах 1, 2 и 3, а не о тех символах, о которых при этом говорится. Их я могу заменить на А, В и Г; я могу написать p вместо + и e вместо =. Записывая $ApVeG$ я тогда выразил бы ту же самую мысль, что и ранее, но посредством иных символов. Теоремы арифметики никогда не относятся к символам, они относятся к вещам, представленным символами. Верно, что эти объекты не осязаемы и не видимы, они даже не реальны, если реальным называют то, что может оказать или вызвать воздействие. Числа не подвержены изменениям, ибо теоремы арифметики охватывают вечные истины. Стало быть, мы можем сказать, что эти объекты находятся вне времени, а из этого следует, что они не являются субъективными представлениями или идеями, поскольку последние непрерывно изменяются в соответствии с психологическими законами. Арифметические законы не образуют часть психологии. Дело обстоит не так, как если бы каждый человек имел своё собственное число, называемое *один* и образующее часть его души или его сознания. Под этим именем существует только одно число, одинаковое для каждого и объективное. Числа, стало быть, являются весьма странными объектами, объединяющими в себе кажущиеся противоречивыми качества объективности и нереальности. Но при более тщательном исследовании обнаруживается, что противоречия здесь нет. Отрицательные числа, дроби и т.д. имеют ту же самую природу, и, вероятно, поэтому слишком многое в арифметике устанавливается посредством символов. Из-за затруднений с отождествлением объектов, которые не различимы чувствами и не являются психологическими, вместо них подставляются видимые объекты. Но забывается, что эти символы не суть то, что мы хотим изучить. И поэтому числа наделяются двойной природой. Их называют символами, но тем не менее они представлены сами, им приданы имена. Мсье *Ballue* пишет: «Подобно всем символам целое число допускает двойную репрезентацию: звук, который воздействует на слух, впечатление, которое оказывает его написанное имя на зрение... Кроме того, целое число предполагает свою собственную, отдельную репрезентацию, требующую использования особых значков, называемых *цифрами*. Цель цифрового обозначения заключается в том, чтобы изучить способы репрезентации всех целых чисел с наименьшим количеством слов и цифр». Что же тогда обозначает цифра 2? Число, т.е., согласно мсье *Ballue*, символ. Будет ли это слово *два*? Если да, то мы, немцы, имели бы числа, которые отличались

бы от чисел французов, а наша арифметика была бы наукой, иной, чем у них, и имела бы другие объекты исследования. Вероятно, мнение мсье *Ballue* состоит в том, что слово *два* репрезентирует то же самое число, что и цифра 2. Но чем бы ни было это число, оно репрезентирует множественность, и само репрезентируется цифрой 2. Чего тогда мы хотим от этого несколько загадочного посредника? Почему бы не обозначать множественность непосредственно цифрой?

Можно подумать, что это лишь оговорка со стороны мсье *Ballue*, которую легко можно скорректировать, подставив в названии его статьи *множественность* вместо *целое число*. Ибо, согласно мсье *Ballue*, целые числа суть символические представители именно множественностей. Но это не оградит нас от всех затруднений. Что такое множественность? Мсье *Ballue* отвечает: «Скопление нескольких особых объектов, рассмотренных как особые, без внимания к природе или очертаниям этих объектов, называется *множественностью*. Станет очевидно, что множественность есть скопление единиц».

Это определение не является ясным, как, по-видимому, думает автор. Относительно слова *множественность* можно было бы считать, что его смысл содержится в слове *несколько* и во множественном числе, но мсье *Ballue* добавляет некоторые уточнения, говоря «особые объекты, рассмотренные как особые, без внимания к природе или очертаниям этих объектов». То, что здесь он называет *особые*, прежде он называл *изолированные*, говоря: «Изолированным объектам, рассмотренным как изолированные, при отвлечении от их природы или очертаний, даётся имя единицы». Вероятно, можно возразить, что если объекты полностью изолированы, то не было бы никакого скопления. К тому же сомнительно, существуют ли полностью изолированные объекты, ибо каждый объект соотнесён с любым другим посредством гравитации. Поэтому следовало бы определить точную степень изоляции. Я не буду разрабатывать последний пункт, но хочу более подробно исследовать, что же подразумевает мсье *Ballue* под словами «рассмотренные как особые, без внимания к природе или очертаниям этих объектов» и под словами «рассмотренные как изолированные, при отвлечении от их природы или очертаний». Для меня удивительно здесь то, что способ рассмотрения объектов и абстракции, осуществлённые в душе субъекта, кажутся производными от качеств объекта. Я спрашиваю: после того как объект был рассмотрен как изолированный, остаётся ли он тем же самым объектом, что и ранее, или же при таком рассмотрении создаётся новый объект? В первом случае ничего бы существенного не произошло. И действительно, если я рассматриваю планету Юпитер как особую или изолированную, то её гравитационные связи с другими небесными телами не становятся более слабыми; и если я отвлекаюсь от массы и

сферических очертаний, Юпитер не теряет ни своей массы, ни сферических очертаний. Тогда что же осуществляется посредством такого отвлечения? Точно так же здесь возникают и психологические затруднения. Пока я рассматриваю объект, я могу быть в нём уверен. Но, проводя доказательство, я последовательно фиксирую своё внимание на других объектах, ибо я не в состоянии одновременно рассматривать даже сто объектов. Затруднение здесь в том, что, если объекты не сравнивать между собой, я не могу уделять внимание их природе или очертаниям. Таким образом, я утратил бы уверенность в том, что все эти объекты фактически являются единицами. Разумеется, они не были бы единицами по отношению ко мне. Быть может, они были бы таковыми по отношению к другим, но, вероятно, я ничего не знал бы об этом. И даже если бы знал, это было бы бесполезным с точки зрения моего доказательства, ибо отсюда я ничего не смог бы вывести.

Орион – это скопление звёзд. Для данного случая это было бы возможно, если в общем можно рассматривать объекты как особые, без внимания к природе или очертаниям этих объектов. Следуя словам мсье *Ballue* и приняв его подход, мы говорили бы, что совокупность есть множественность. И поскольку имя *Орион* есть символ для этой множественности, мы рассматривали бы данное слово как число. Надо признаться, он не говорит, что звёзды рассматриваются как особые объекты и т.д. Да ведь здесь и совершенно некстати признавать, что совокупность есть множественность и что имя совокупности есть символ для множественности.

Рассмотрим теперь альтернативную позицию: рассматриваемый объект отличается от изначального. Солнце, например, как материальное, светящееся тело, имеющее очертания и занимающее место в пространстве, отличалось бы от Солнца, рассмотренного как особый объект, в отвлечении от его природы и очертания. Можно было бы сказать, что последний создаётся посредством акта его рассмотрения и что, поскольку внешний объект не может быть создан таким способом, он был бы субъективной идеей или чем-то ещё в душе человека, осуществляющего такое рассмотрение и такую абстракцию. Посредством такого рассмотрения Солнца каждый создавал бы свою собственную идею, отличную от идеи кого-то другого. Множественность тогда также была бы субъективной. А это не совпадало бы с тем фактом, что естествоиспытатели дают объективные сведения, когда они определяют точное количество пестиков в цветке.

Каковым же может быть результат отвлечения от природы или очертания объекта? Утрачивает ли он свою природу или очертания? Представляется, что именно в этом результат мсье *Ballue*. Но очевидно, что внешний объект не может быть изменён таким образом. Когда кто-то образует идею объекта для себя, нет нужды в отвлечении для того,

чтобы она утрачивала качества самого объекта. Идея Солнца не является материальным, светящимся телом. Но, тем не менее, эта идея в общем качественно отлична от идеи Луны у того же самого человека. Отвлечение по мсье *Ballue* может стереть различие между этими идеями. Но тогда что остаётся от множественности?

С этим близко связано и другое затруднение. Мсье *Ballue* говорит: «[le] Простейшая множественность образуется добавлением одной единицы к другой единице». Но если имеется более чем две единицы, тогда было бы несколько множественностей, образованных добавлением одной единицы к другой единице, и использование мсье *Ballue* определённого артикля в единственном числе было бы некорректным. Должно было бы быть «[les] Простейшие множественности образуются и т.д.» Но число *два* не является ни особой множественностью такого типа, ни символом для такой множественности. Вероятно, более верным было бы сказать, что оно является видом или классом множественностей, образованных добавлением одной единицы к другой единице. Но тогда, согласуясь с требованием точности, нам нужны подходящие определения *единицы* и *множественности*. Читатели данного журнала легко обнаружат, что первый из этих терминов не используется авторами единообразно. Сравнивая утверждение мсье *Ballue* («Простейшая множественность образуется добавлением одной единицы к другой единице») с тем, что говорят мсье *Le Roy* и мсье *Vincent* (в их совместной статье, опубликованной в сентябрьском номере, стр. 519: «Возможность души образовывать целые числа бесконечным добавлением единицы к самой себе»), мы видим, что эти авторы используют данный термин как собственное имя, тогда как мсье *Ballue* использует общий термин, предполагая существование нескольких единиц. В то же самое время мы видим, что слова *совокупность* и *добавление*, используемые мсье *Ballue*, требуют объяснения. Мсье *Le Roy* и мсье *Vincent* употребляют глагол *добавлять*, что, видимо, является действием, имеющим место в человеческой душе. Но трудно представить, каким образом вещь может быть добавлена к самой себе. Какого рода отношения задают эти совокупности? Являются ли они физическими, историческими, геометрическими или психологическими? Или же они чисто логические?

Читатели, вероятно, будут разочарованы, поскольку я лишь высказал возражения и поставил проблемы. Но поскольку позитивные решения проблем уже были представлены в моих работах², здесь я могу ограничиться демонстрацией того, что тема затрагивает крайне трудные вопросы и что предмет гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

² Die Grundlagen der Arithmetik, Breslau, Wilhelm Köbner, 1884; Grundgesetze der Arithmetik I, Jena, Hermann Pohle, 1893.

БЕРТРАН РАССЕЛ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА, ОСНОВАННАЯ НА ТЕОРИИ ТИПОВ*

Нижеследующая теория символической логики зарекомендовала себя прежде всего своей способностью решать определённые противоречия, из которых математикам лучше всего известен парадокс Бурали-Форти, касающийся наибольшего ординала¹. Но рассматриваемая теория не зависит всецело от этой косвенной рекомендации; она, если я не ошибаюсь, к тому же определённо созвучна здравому смыслу, который в своей основе делает её правдоподобной. Однако это не та заслуга, на которой следовало бы слишком настаивать, ибо здравый смысл в гораздо большей степени подвержен ошибкам, чем обычно считается. Таким образом, я начну с формулировки некоторых противоречий, которые должны быть разрешены, а затем покажу, каким образом теория логических типов формирует своё решение.

I. ПАРАДОКСЫ

(1) Старейшим противоречием рассматриваемого вида является *парадокс Эпименида*. Критянин Эпименид сказал, что все критяне лжецы и все высказывания, сделанные критянами, определённо ложны. Ложно ли высказывание самого Эпименида? Простейшую форму этого противоречия предоставляет человек, который говорит 'Я сейчас лгу'; если он лжёт, он говорит правду, и наоборот.

(2) Пусть w – это класс всех тех классов, которые не являются элементами самих себя. Тогда, каким бы ни был класс x , ' x является элементом w ' эквивалентно ' x не является элементом x '². Поэтому, если x придать значение w , то ' w является элементом w ' эквивалентно ' w не является элементом w '.

(3) Пусть T – отношение, которое имеет место между двумя отношениями R и S всегда, когда R не имеет отношения R к S . Тогда, какими бы ни были отношения R и S , ' R имеет отношение T к S ' эквивалентно ' R не имеет отношения R к S '. Следовательно, если придать значение T как R , так и S , то ' T имеет отношение T к T ' эквивалентно ' T не имеет отношения T к T '.

* Russell B. *Mathematical Logic as based on the Theory of Types* // Russell B. *Logic and Knowledge (Essays 1901–1950)*. – London: Allen and Unwin LTD, 1956. – P. 57–102.

¹ См. ниже.

² Две пропозиции называются эквивалентными, когда обе они истины или обе ложны.

(4) Число слов в русских названиях конечных целых чисел возрастает по мере возрастания чисел и должно постепенно увеличиваться неограниченно, поскольку при заданном конечном числе слов может быть создано только конечное число имён. Поэтому имена некоторых чисел должны состоять по меньшей мере из десяти слов, и среди них должно быть наименьшее. Следовательно, 'наименьшее целое число, не именуемое менее чем десятью словами' должно обозначать определённое число. Но 'наименьшее целое число, не именуемое менее чем десятью словами' само является именем, состоящим из девяти слов; стало быть, наименьшее целое число, не именуемое менее чем десятью словами, может быть наименовано девятью словами, что является противоречием³.

(5) Среди трансфинитных ординалов некоторые могут быть определены, а некоторые – нет; ибо совокупное число возможных определений есть \aleph_0 , тогда как число трансфинитных ординалов превышает \aleph_0 . Следовательно, должны быть неопределимые ординалы, и среди них должен быть наименьший. Но он и определяется как 'наименьший неопределимый ординал', что является противоречием⁴.

(6) Парадокс Ришара родствен парадоксу о наименьшем неопределимом ординале⁵. Он состоит в следующем. Рассмотрим все десятичные дроби, которые могут быть определены посредством конечного числа слов; пусть E будет классом таких дробей. Тогда E имеет \aleph_0 элементов; следовательно, его члены могут быть упорядочены как 1-, 2-, 3-й ... Пусть N будет числом, определяемым следующим образом: Если n -я цифра в n -й дроби есть p , то пусть n -я цифра в N будет $p + 1$ (или 0, если $p = 9$). Тогда N отлична от всех членов E , поскольку, каким бы ни было конечное значение n , n -я цифра в N отлична от n -й цифры в n -х дробях, составляющих E , и, следовательно, N отлична от n -й дроби. Тем не менее мы определили N с помощью конечного числа слов и, следовательно, N должна быть членом E . Таким образом, N и является, и не является членом E .

³ Этот парадокс принадлежит м-ру Дж. Берри из Бодлианской библиотеки.

⁴ Ср.: König, 'Über die Grundlagen der Mengenlehre und das Kontinuum-problem', *Math. Annalen*, Vol. LXI (1905); A.C. Dixon, 'On "well-ordered" aggregates', *Proc. London Math. Soc.*, Series 2, Vol. IV, Part I (1906); E.W. Hobson, 'On the Arithmetic Continuum', *ibid.* Пешение, предложенное в последней из этих статей, не кажется мне адекватным.

⁵ Ср.: Poincaré, 'Les mathématiques et la logique', *Revue de Métaphysique et de Morale* (May, 1906), особенно разделы VII и IX; см., также, Peano, *Revista de Mathematica*, Vol. VIII, No.5 (1906), С. 149 и далее.

(7) Парадокс Бурали-Форти формулируется следующим образом⁶. Можно показать, что каждая вполне упорядоченная последовательность имеет ординальное число, что последовательность ординалов, возрастающая и включающая любой данный ординал, превышает данный ординал на один и (на весьма надёжных и естественных предпосылках) что последовательность всех ординалов (в порядке увеличения) является вполне упорядоченной. Отсюда следует, что последовательность всех ординалов имеет ординальное число, скажем, Ω . Но в этом случае последовательность всех ординалов, включающих Ω , имеет ординальное число $\Omega + 1$, которое должно быть больше, чем Ω . Следовательно, Ω не является ординальным числом всех ординалов.

У всех указанных выше противоречий (которые суть лишь выборка из бесконечного числа) есть общая характеристика, которую мы можем описать как самореферентность или рефлексивность. Замечание Эпименида должно включать само себя в свою собственную сферу. Если *все* классы, при условии, что они не являются элементами самих себя, являются элементами *w*, то это должно применяться также и к *w*; то же самое относится к аналогичному противоречию с отношениями. В случае имён и определений парадоксы вытекают из рассмотрения неименуемости и неопределимости в качестве элементов имён и определений. В случае парадокса Бурали-Форти последовательность, чьё ординальное число вызывает затруднение, является последовательностью всех ординальных чисел. В каждом противоречии нечто говорится о *всех* случаях некоторого рода, и из того, что говорится, по-видимому, производится новый случай, который как относится, так и не относится к тому же самому роду, что и те случаи, *все* из которых рассматривались в том, что было сказано. Просмотрим противоречия одно за другим и увидим, как это происходит.

(1) Когда человек говорит ‘Я сейчас лгу’, мы можем интерпретировать его высказывание как ‘Существует пропозиция, которую я утверждаю и которая является ложной’. Все высказывания, что ‘существует’ то-то и то-то, могут рассматриваться как отрицание того, что противоположное всегда истинно. Таким образом, ‘Я сейчас лгу’ становится ‘Не для всех пропозиций верно, что или я их не утверждаю, или они являются истинными’, другими словами, ‘Не верно для всех пропозиций *p*, что если я утверждаю *p*, *p* – истинно’. Парадокс вытекает из рассмотрения этого высказывания как утверждающей пропозицию, которая, стало быть, должна входить в сферу высказывания. Это, однако, делает

⁶ ‘Una questione sui numeri transfiniti’, *Rendiconti del circolo matematico di Palermo*, Vol. XI (1897).

очевидным то, что понятие 'все пропозиции' является незаконным; ибо в противном случае должна быть пропозиция (типа указанной выше), которая говорит обо всех пропозициях и, тем не менее, не может быть включена в совокупное целое пропозиций, о которых она говорит, без противоречия. Что бы мы ни полагали в качестве совокупного целого пропозиций, высказывание об этой целостности порождает новую пропозицию, которая под угрозой противоречия должна лежать вне рассматриваемой целостности. Увеличивать совокупное целое бесполезно, ибо это равным образом увеличивает сферу высказываний об этой целостности. Следовательно, совокупного целого пропозиций быть не должно, а 'все пропозиции' должно быть бессмысленной фразой.

(2) В этом случае класс w определяется указанием на 'все классы', а затем оказывается, что он является одним среди них. Если мы находим помощь, решив, что класс не является элементом самого себя, тогда w становится классом всех классов, и мы должны решить, что он не является элементом самого себя, т.е. не является классом. Это – единственная возможность, если не существует такой вещи, как класс всех классов в смысле, требуемом этим парадоксом. То, что такого класса нет, вытекает из того, что если мы предположим его существование, это предположение немедленно возрождает (как в указанном выше противоречии) новые классы, лежащие вне предполагаемого совокупного целого всех классов.

(3) Этот случай в точности совпадает с (2) и показывает, что мы не можем на законных основаниях говорить о 'всех отношениях'.

(4) 'Наименьшее целое число, не именуемое менее чем десятью словами' включает совокупное целое имён, ибо оно представляет собой 'наименьшее целое число такое, что все имена либо не применимы к нему, или состоят из более чем десяти слов'. Здесь при получении противоречия мы предполагаем, что фраза, содержащая 'все имена', сама является именем, хотя из противоречия видно, что она не может быть одним из имён, относительно которых предполагалось, что это все существующие имена. Следовательно, 'все имена' есть незаконное понятие.

(5) Этот случай сходным образом показывает, что незаконным понятием является и 'все определения'.

(6) Это противоречие решается подобно (5), если заметить, что 'все определения' – понятие незаконное. Поэтому, число E не определимо конечным числом слов, будучи фактически не определимым вообще⁷.

⁷ Ср. мою статью: 'Les paradoxes de la logique', *Revue de Métaphysique et de Morale* (May, 1906), С. 645.

(7) Противоречие Бурали-Форти показывает, что ‘все ординалы’ незаконное понятие; ибо, в противном случае, все ординалы в порядке увеличения образуют вполне упорядоченную последовательность, которая должна иметь ординальное число большее, чем все ординалы.

Таким образом, все наши противоречия в общем допускают совокупное целое, такое, что если бы оно было законным, то сразу увеличивалось бы за счёт новых элементов, определяемых в терминах его самого.

Это приводит нас к правилу ‘То, что включает *все* из совокупности, не должно быть элементом совокупности’ или, наоборот, ‘Если определённая совокупность, при условии, что она обладает целостностью, имела бы элементы, определяемые только с точки зрения этой целостности, то эта совокупность не обладает целостностью’⁸.

Указанный выше принцип в своей области является, однако, чисто отрицательным. Он подходит для того, чтобы показать, что многие теории являются ошибочными, но он не показывает, как нужно избавляться от ошибок. Мы не можем сказать: ‘Говоря о *всех* пропозициях, я подразумеваю все пропозиции, кроме тех, в которых упоминаются “все пропозиции”’; ибо в этом объяснении мы упомянули пропозиции, в которых упоминаются все пропозиции, чего нельзя сделать осмысленно. Невозможно избежать упоминания вещи, упоминая, что мы не хотели её упоминать. Говоря о человеке с длинным носом, можно сказать: ‘Когда я говорю о носсах, я исключаю столь необычно длинные’, но это вряд ли было бы успешной попыткой избежать щекотливой темы. Таким образом, если мы не хотим погрешить против указанного выше негативного принципа, необходимо сконструировать нашу логику без упоминания таких вещей, как ‘все пропозиции’ или ‘все свойства’ и даже без необходимости говорить, что мы такие вещи исключаем. Это исключение должно естественно и неизбежно вытекать из нашей позитивной доктрины, которая должна сделать ясным, что ‘все пропозиции’ и ‘все свойства’ являются бессмысленными фразами.

Первое встающее перед нами затруднение касается фундаментальных принципов логики, известных под затейливым названием ‘законы мышления’. Например, высказывание ‘Все пропозиции являются либо истинными, либо ложными’ становится бессмысленным. Если бы это положение было значимым, оно было бы пропозицией и попадало бы в

⁸ Говоря, что совокупность не обладает целостностью, я подразумеваю, что высказывания о *всех* её членах являются бессмысленными. Кроме того, обнаружится, что использование этого принципа требует различия между *все* и *какие-то*, рассмотренное в разделе 2.

свою собственную сферу действия. Тем не менее должна быть найдена некоторая замена, или всякое общее рассмотрение дедукции становится невозможным.

Другое, более специальное затруднение иллюстрируется частным случаем математической индукции. Мы хотим быть способны сказать: 'Если n является конечным целым числом, то n имеет все свойства, предполагаемые 0 и числами, следующими за всеми теми числами, которые предполагают эти свойства'. Но здесь фраза 'все свойства' должна быть заменена некоторой другой фразой, которая закрыта для тех же самых возражений. Можно допустить, что фраза 'все свойства, предполагаемые 0 и числами, следующими за всеми теми числами, которые предполагают эти свойства' может быть законно обоснованной, даже если фраза 'все свойства' – нет. Но фактически это не так. Мы найдём, что фразы формы 'все свойства, которые *etc.*' включают *все* свойства, для которых '*etc.*' может значимо утверждаться или отрицаться, а не только те, которые фактически имеют какую-то рассматриваемую характеристику; ибо в отсутствие списка свойств, обладающих этой характеристикой, выказывание о всех свойствах, которые имеют эту характеристику, должно быть гипотетическим и иметь форму 'Всегда истинно, что если свойство имеет указанную характеристику, тогда *etc.*' Таким образом, математическую индукцию *prima facie* невозможно сформулировать осмысленно, если фраза 'все свойства' лишена смысла. Как мы увидим позже, этого затруднения можно избежать; но сейчас мы должны рассмотреть законы логики, поскольку они являются гораздо более фундаментальными.

II. ВСЕ И КАКОЙ-ТО

Задав высказывание, содержащее переменную x , скажем, $x = x$, мы можем утверждать, что оно имеет место для всех случаев, или же мы можем утверждать какой-то один из случаев, не уточняя, какой именно из примеров мы утверждаем. Это различие, грубо говоря, совпадает с различием между общим и частным изложением у Евклида. Общее изложение говорит нам нечто обо всех, например, треугольниках, тогда как частное изложение берёт один треугольник и утверждает это же самое относительно этого одного треугольника. Но выбранный треугольник – это *какой-то* треугольник, а не некоторый один специальный треугольник; поэтому, хотя по ходу доказательства имеют дело только с одним треугольником, это доказательство, тем не менее, сохраняет свою всеобщность. Если мы говорим: 'Пусть ABC – треугольник, тогда стороны AB и AC в совокупности больше, чем сторона BC ',

мы нечто говорим об *одном* треугольнике, а не обо *всех* треугольниках; но этот один треугольник абсолютно не определён, и, следовательно, наше высказывание также абсолютно не определено. Мы утверждаем не какую-то одну определённую пропозицию, но неопределённую пропозицию из всех пропозиций, вытекающих из предположения, что ABC – это тот или иной треугольник. Это понятие неопределённости утверждения является весьма важным, и насущно необходимо не смешивать неопределённое утверждение с определённым утверждением, что одно и то же имеет место во *всех* случаях.

Различие между (1), утверждающим какое-то значение пропозициональной функции, и (2), утверждающим, что функция всегда истинна, подобно различию между общими и частными изложениями у Евклида прослеживается через всю математику. В любой цепи математического рассуждения объекты, свойства которых исследуются, являются аргументами *какого-то* значения некоторой пропозициональной функции. Для иллюстрации возьмём следующее определение.

‘Мы называем $f(x)$ непрерывной для $x = a$, если для каждого положительного числа σ , отличного от 0, существует положительное число ε , отличное от 0, такое, что для значений δ , которые численно меньше ε , разность $f(a + \delta) - f(a)$ численно меньше σ .’

Здесь функция f есть *какая-то* функция, для которой указанное выше высказывание имеет смысл; это высказывание есть высказывание *об* f и изменяется с изменением f . Но это высказывание не является высказыванием о σ , ε или δ , поскольку рассматриваются все возможные значения последних, а не одно неопределённое значение. (В отношении ε высказывание ‘Существует положительное число ε , такое, что *etc.*’ есть отрицание того, что отрицание ‘*etc.*’ истинно для *всех* положительных чисел.) По этой причине, когда утверждается *какое-то* значение пропозициональной функции, аргумент (например, f выше) называется *действительной* переменной; в то же время, когда о функции говорится как о *всегда* истинной или как о не *всегда* истинной, аргумент называется *мнимой* переменной⁹. Таким образом, в указанном выше определении f есть действительная переменная, а σ , ε или δ суть мнимые переменные.

Утверждая *какое-то* значение пропозициональной функции, мы просто будем говорить, что утверждаем *пропозициональную функцию*. Так, если мы излагаем закон тождества в форме ‘ $x = x$ ’, мы утверждаем функцию ‘ $x = x$ ’; т.е. мы утверждаем какое-то значение этой функции.

⁹ Этими двумя терминами мы обязаны Пеано, который использует их приблизительно в указанном выше смысле. Ср., например: *Formulaire Mathématique* (Turin, 1903), Vol. IV, С. 5.

Сходным образом можно было бы сказать, что мы отрицаем пропозициональную функцию, когда отрицаем какой-то её пример. Мы можем действительно утверждать пропозициональную функцию, только если, какое бы значение мы ни выбрали, это значение является истинным; сходным образом мы можем подлинно отрицать её, только если, какое бы значение мы ни выбрали, это значение является ложным. Отсюда, в общем случае, когда некоторые значения являются истинными, а некоторые – ложными, мы не можем ни утверждать, ни отрицать пропозициональную функцию¹⁰.

Если ϕx – пропозициональная функция, то посредством ‘ $(x).\phi x$ ’ мы будем обозначать пропозицию ‘ ϕx всегда истинно’. Сходным образом ‘ $(x, y).\phi(x, y)$ ’ будет обозначать ‘ $\phi(x, y)$ всегда истинно’ и т.д. Тогда различие между утверждением всех значений и утверждением какого-то значения есть различие между (1) утверждением $(x).\phi x$ и (2) утверждением ϕx , где x не определён. Последнее отличается от первого тем, что оно не может трактоваться как одна определённая пропозиция.

Различие между утверждением ϕx и утверждением $(x).\phi x$, я думаю, впервые подчёркнул Фреге¹¹. Его довод в пользу явного введения этого различия совпадает с тем, что является причиной присутствия этого различия в практике математиков; а именно, что дедукция может быть действительной только в случае действительных, а не мнимых переменных. В случае доказательств Евклида это очевидно. Скажем, для рассуждения нам нужен некоторый один треугольник ABC , хотя и безразлично, какой именно. Треугольник ABC является *действительной* переменной; и хотя он представляет собой *какой-то* треугольник, он остаётся *одним и тем же* треугольником на протяжении всего доказательства. Но в общем изложении треугольник является мнимой переменной. Если мы переходим к мнимой переменной, мы не можем осуществить какой-либо вывод и поэтому во всех доказательствах должны использоваться действительные переменные. Предположим (возьмём простейший случай), нам известно, что ‘ ϕx всегда истинно’, т.е. ‘ $(x).\phi x$ ’, и мы знаем, что ‘ ϕx всегда влечёт ψx ’, т.е. ‘ $(x).\{\phi x \text{ влечёт } \psi x\}$ ’. Каким образом мы выведем ‘ ψx всегда истинно’? Мы знаем, что всегда истинно следующее: если ϕx – истинно, и если ϕx влечёт ψx , то ψx – истинно. Но у нас нет

¹⁰ М-р МакКолл говорит, что ‘пропозиции’ делятся на три класса: достоверные, переменные и невозможные. Мы можем принять это деление в применении к пропозициональным функциям. Функция, которую можно утверждать, является достоверной, функция, которую можно отрицать, является невозможной, все другие функции являются (в смысле м-ра МакКолла) переменными.

¹¹ См. его *Grundgesetze der Arithmetik* (Jena, 1893), том I, § 17, С. 31.

посылок в том смысле, что ϕx – истинно, и ϕx влечёт ψx ; у нас есть следующее: ϕx всегда истинно, и ϕx всегда влечёт ψx . Для того чтобы осуществить наш вывод, мы должны перейти от ‘ ϕx всегда истинно’ к ϕx , и от ‘ ϕx всегда влечёт ψx ’ к ‘ ϕx влечёт ψx ’, где этот x , оставаясь каким-то возможным аргументом, должен быть одинаковым в обоих случаях. Тогда из ‘ ϕx ’ и ‘ ϕx влечёт ψx ’ мы выводим ‘ ψx ’; таким образом, ψx является истинным для любого возможного аргумента и, следовательно, истинным всегда. Стало быть, для того чтобы вывести ‘ $(x). \psi x$ ’ из ‘ $(x). \phi x$ ’ и ‘ $(x). \{\phi x \text{ влечёт } \psi x\}$ ’, мы должны перейти от мнимой к действительной переменной, а затем вновь вернуться к мнимой переменной. Эта процедура требуется во всех математических рассуждениях, в которых осуществляется переход от утверждения о всех значениях одной или более пропозициональных функций к утверждению о всех значениях некоторой другой пропозициональной функции, как, например, при переходе от ‘все равнобедренные треугольники имеют равные углы при основании’ к ‘все треугольники, имеющие равные углы при основании, являются равнобедренными’. В частности, этот процесс требуется при доказательстве *Barbara* и других модусов силлогизма. Другими словами, *всякая дедукция оперирует действительными переменными* (или константами).

Можно предположить, что мы могли бы вообще обойтись без мнимых переменных, ограничившись *какой-то* в качестве замены для *все*. Это, однако, не имеет места. Возьмём, например, определение непрерывной функции, процитированное выше. В этом определении σ , ϵ или δ должны быть мнимыми переменными. Мнимые переменные постоянно требуются в определениях. Возьмём, например, такое: ‘Целое число называется *простым*, когда оно не имеет целых делителей, кроме 1 и себя самого’. Это определение неизбежно включает мнимую переменную формы: ‘Если n – целое число, отличное от 1 или заданного целого числа, то n не является делителем данного целого числа для всех возможных значений n ’.

Таким образом, различие между *все* и *какой-то* необходимо для дедуктивного рассуждения и проходит через всю математику; хотя, насколько я знаю, его важность оставалась незамеченной до тех пор, пока на неё не указал Фреге.

Для наших целей это различие имеет разную пользу, которая весьма значительна. В случае таких переменных, как пропозиции или свойства, ‘какое-то значение’ законно, тогда как ‘всякое значение’ – нет. Так, мы можем сказать: ‘ p – истинно или ложно, где p есть какая-то пропозиция’, хотя мы не можем сказать ‘Все пропозиции являются ис-

тинными или ложными'. Причина этого в том, что в первом случае мы просто утверждаем одну неопределённую пропозицию из пропозиций формы ' p – истинно или ложно', тогда как в последнем случае мы утверждаем (если что-то утверждаем) новую пропозицию, отличную от всех пропозиций формы ' p – истинно или ложно'. Таким образом, 'какое-то значение' переменной мы можем принять в случае, где 'всякое значение' вело бы к рефлексивным ошибкам; ибо допущение 'какого-то значения' не создаёт таким способом новых значений. Следовательно, фундаментальные законы логики можно установить, рассматривая *какую-то* пропозицию, хотя мы и не можем осмысленно сказать, что они имеют место для *всех* пропозиций. Эти законы имеют, так сказать, частное, а не общее изложение. Не существует одной пропозиции, которая *является*, скажем, законом противоречия; существуют только различные примеры этого закона. О какой-то пропозиции p мы можем сказать: ' p и не- p не могут быть обе истинными'; но не существует такой пропозиции, как 'Каждая пропозиция p такова, что p и не- p не могут быть обе истинными'.

Сходное объяснение применяется к свойствам. Мы можем говорить о каком-то свойстве x , но не о всех свойствах, поскольку тем самым породились бы новые свойства. Так, мы можем сказать: 'Если n есть конечное целое число, и если 0 обладает свойством ϕ , и $m + 1$ обладает свойством ϕ при условии, что им обладает m , отсюда следует, что n обладает свойством ϕ '. Здесь нам не нужно уточнять ϕ , ϕ обозначает 'какое-то свойство'. Но мы не можем сказать: 'Конечное целое число определяется как число, которое имеет *каждое* свойство ϕ , предполагаемое 0 и числами, следующими за теми числами, которые его предполагают'. Ибо здесь существенно рассмотреть *каждое* свойство¹², а не *какое-то* свойство; и в использовании такого определения мы предполагаем, что оно охватывает *свойство*, отличительное для конечных целых чисел, которое как раз и является разновидностью предпосылки, из которой, как мы видели, вытекают рефлексивные парадоксы.

В указанном выше примере необходимо избегать предположений обыденного языка, который не подходит для выражения требуемых различий. Суть дела может быть далее проиллюстрирована следующим образом: Если для определения конечных целых чисел необходимо использовать индукцию, она должна устанавливать определённые свойства конечных целых чисел, а не свойства двусмысленные. Но если ϕ есть действительная переменная, высказывание ' n имеет свойство ϕ при условии, что ϕ предполагается 0 и числами, следующими за теми числами,

¹² Это выражение не отличается от 'все свойства'.

которые его предполагают⁷ приписывает n свойство, которое изменяется с изменением ϕ , и такое свойство не может использоваться для определения класса конечных целых чисел. Мы хотим сказать: “ n есть конечное целое число” означает “Каким бы ни было свойство ϕ , n обладает свойством ϕ при условии, что ϕ предполагается 0 и числами, следующими за теми числами, которые его предполагают”. Но здесь ϕ стало *мнимой* переменной. Чтобы сохранить её в качестве действительной переменной, мы должны были бы сказать: ‘Каким бы ни было свойство ϕ , “ n есть конечное целое число” означает: “ n обладает свойством ϕ при условии, что ϕ предполагается 0 и числами, следующими за теми числами, которые его предполагают”’. Но здесь значение “ n есть конечное целое число” изменяется с изменением ϕ , и поэтому такое определение невозможно. Этот случай иллюстрирует важный пункт, а именно следующий: ‘Область¹³ действительной переменной никогда не может быть меньше, чем вся пропозициональная функция, в которой встречается данная переменная’. То есть, если наша пропозициональная функция есть, скажем, ‘ ϕx влечёт p ’, утверждение этой функции будет означать ‘какое-то значение “ ϕx влечёт p ” является истинным’, но не “какое-то значение ϕx является истинным” влечёт p ’. В последнем случае в действительности мы имеем ‘Все значения ϕx истинны’ и x является *мнимой* переменной.

III. ЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ОБОБЩЁННЫХ ПРОПОЗИЦИЙ

В этом разделе первым мы должны рассмотреть значение пропозиций, в которых встречается слово *все*, а затем разновидность совокупностей, которые допускают пропозиции о всех их членах.

Название *обобщённые пропозиции* удобно дать не только тем пропозициям, которые содержат слово *все*, но также и тем, которые содержат слово *некоторые* (в неопределённо частном смысле). Пропозиция ‘ ϕx иногда истинно’ эквивалентна отрицанию пропозиции ‘не- ϕx всегда истинно’; ‘Некоторые A суть B ’ эквивалентно отрицанию того, что ‘Все A не суть B ’; т.е. отрицанию того, что ‘Ни одно A не суть B ’. Вопрос о том, можно ли найти интерпретации, которые отличают ‘ ϕx иногда истинно’ от отрицания того, что ‘не- ϕx всегда истинно’, исследовать не нужно; ибо для наших целей мы можем *определить* ‘ ϕx иногда истинно’ как отрицание того, что ‘не- ϕx всегда истинно’. В любом случае два

¹³ *Область* действительной переменной – эта вся функция, относительно которой рассматривается ‘какое-то значение’. Так в ‘ ϕx влечёт p ’ область x – это не ϕx , но ‘ ϕx влечёт p ’.

вида пропозиций требуют один и тот же вид интерпретации и подлежат одинаковым ограничениям. В каждом случае есть мнимая переменная; и наличие мнимой переменной образует то, что я имею в виду под обобщённой пропозицией. (Заметим, что ни в одной пропозиции не может быть *действительной* переменной; ибо то, что содержит действительную переменную, есть пропозициональная функция, а не пропозиция.)

Первый вопрос, который необходимо задать в этом разделе, следующий: Как мы должны интерпретировать слово *все* в таких пропозициях, как ‘Все люди смертны’? На первый взгляд можно подумать, что никаких затруднений нет, что ‘все люди’ – это совершенно ясная идея, и что о всех людях мы говорим, что они смертны. Но на эту точку зрения есть много возражений.

(1) Если эта точка зрения правильна, оказалось бы, что ‘Все люди смертны’ не может быть истинным, если людей нет. Однако, как утверждал м-р Брэдли¹⁴, ‘Правонарушители будут привлекаться к ответственности’ вполне может быть истинным, даже если правонарушителей нет; следовательно, как он доказывает далее, мы вынуждены интерпретировать такие пропозиции как гипотетические, подразумевая ‘Если кто-то является правонарушителем, то он будет привлечён к ответственности’; т.е. ‘если x – правонарушитель, то x будет привлечён к ответственности’, где область значения, которую может иметь x , кем бы он ни был, определённо не ограничивается теми, кто действительно совершил правонарушение. Сходным образом ‘Все люди смертны’ будет означать ‘Если x – человек, то x смертен, где x может обладать каким-то значением в рамках определённой области’. Что представляет собой эта область, остаётся определить; но в любом случае она шире, чем ‘человек’, ибо указанное выше гипотетическое высказывание часто определённо истинно, когда x не является человеком.

(2) ‘Все люди’ – это обозначающая [denoting] фраза; и по причинам, которые я выдвинул в другом месте¹⁵, кажется, что обозначающие фразы никогда не обладают значением в изоляции, но лишь входят в качестве конститuent в вербальное выражение пропозиций, которые не содержат конститuent, соответствующих рассматриваемым обозначающим фразам. Другими словами, обозначающая фраза определяется посредством пропозиций, в вербальном выражении которых она встречается. Следовательно, невозможно, чтобы эти пропозиции приобретали своё значение через обозначающие фразы; мы должны найти независи-

¹⁴ *Logic*, часть I, раздел II.

¹⁵ ‘On Denoting’, *Mind* (October, 1905). [Русский перевод см.: Рассел Б. *Об обозначении* // Язык, истина, существование. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2002.]

мую интерпретацию пропозиций, содержащих такие фразы, и не должны использовать эти фразы в объяснении того, что означают такие пропозиции. Поэтому, мы не можем рассматривать ‘Все люди смертны’ как высказывание о ‘всех людях’.

(3) Даже если бы такой объект как ‘все люди’ существовал, ясно, что это не тот объект, которому мы приписываем смертность, когда говорим ‘Все люди смертны’. Если бы мы приписывали смертность этому объекту, мы должны были бы сказать ‘*Все люди смертны*’. Стало быть, предположение, что такой объект как ‘все люди’ существует, не поможет нам в интерпретации ‘Все люди смертны’.

(4) Кажется очевидным, что если мы встречаем нечто такое, что может быть человеком или замаскированным ангелом, то это нечто входит в сферу ‘Все люди смертны’, чтобы утверждать ‘Если это нечто – человек, то это нечто – смертно’. Таким образом, как и в случае с правонарушителями, вновь становится ясным, что мы на самом деле говорим ‘Если нечто является человеком, то это нечто – смертно’, и что вопрос о том, является то или это человеком не входит в сферу нашего утверждения, как это было бы, если *все* действительно указывало бы на ‘все люди’.

(5) Таким образом, мы пришли к точке зрения, что то, что подразумевается под ‘Все люди смертны’ более явно может быть установлено в какой-то форме, типа следующей: ‘Всегда истинно, что если x – человек, то x смертен’. Здесь мы должны провести исследование относительно слова *всегда*.

(6) Очевидно, что *всегда* включает некоторые случаи, в которых x не является человеком, как мы видели в примере с замаскированным ангелом. Если x был бы ограничен до случая, когда x является человеком, мы могли бы вывести, что x – смертен, поскольку, если x – человек, то x – смертен. Поэтому с тем же самым значением слова *всегда* мы нашли бы ‘Всегда истинно, что x – смертен’. Но ясно, что без изменения значения *всегда* эта новая пропозиция является ложной, хотя другая была истинной.

(7) Можно надеяться, что ‘всегда’ означало бы ‘для всех значений x ’. Но выражение ‘все значения x ’, если оно и законно, включало бы в качестве части выражения ‘все пропозиции’ и ‘все функции’ и соответствующие им не оправданные целостности. Следовательно, значение x должно быть как-то ограничено в рамках некоторой узаконенной целостности. Это, по-видимому, ведёт нас к традиционной доктрине ‘универсума рассуждения’, в рамках которого, как предполагается, расположен x .

(8) Однако весьма существенно, что мы должны обладать некоторым значением слова *всегда*, которое не должно выражаться в ограничительном условии относительно x . Ибо, предположим, что ‘всегда’ означает ‘всякий раз, когда x принадлежит классу i ’. Тогда ‘Все люди смертны’ становится ‘Всякий раз, когда x принадлежит классу i , если x – человек, то x – смертен’. Но что должно означать наше новое *всегда*? По-видимому, для ограничения x до класса i в этой новой пропозиции причин не более, чем их было до этого при ограничении x до класса *людей*. Таким образом, если мы не можем обнаружить некоторое естественное ограничение на возможные значения функции (т.е. некоторое ограничение, заданное функцией) ‘если x – человек, то x – смертен’, и оно не навязывается нам извне, мы перейдём к новому, более широкому универсуму и т.д. *ad infinitum*.

(9) По-видимому, очевидно, что, поскольку все люди смертны, то какой-то *ложной* пропозиции, являющейся значением функции ‘если x – человек, то x – смертен’ быть не может. Ибо, если она вообще является пропозицией, условие ‘ x – человек’ должно быть пропозицией, таковой должно быть и следствие ‘ x – смертен’. Но если условие – ложно, условное высказывание – истинно; а если данное условие истинно, то это условное высказывание – истинно. Следовательно, ложной пропозиции формы ‘если x – человек, то x – смертен’ быть не может.

(10) Отсюда следует, что если какие-то значения x должны быть исключены, они могут быть только такими значениями, для которых нет пропозиции формы ‘если x – человек, то x – смертен’; т.е. для которых эта фраза является бессмысленной. Поскольку, как мы видели в (7), эти значения x должны быть исключены, отсюда следует, что функция ‘если x – человек, то x – смертен’ должна иметь определённую *область значимости* [range of significance]¹⁶, которой не хватает для всех воображаемых значений x , хотя она и превосходит те значения, которые являются людьми. Таким образом, ограничение на x есть ограничение до области значимости функции ‘если x – человек, то x – смертен’.

(11) Итак, мы приходим к выводу, что ‘Все люди смертны’ означает ‘Всегда, если x – человек, то x – смертен’, где *всегда* означает ‘для всех значений функции “если x – человек, то x – смертен”’. Это – *внутреннее* ограничение на x , заданное природой функций; и это ограничение не требует явного высказывания, поскольку для функции невоз-

¹⁶ Функция называется значимой для аргумента x , если она имеет значение для этого аргумента. Таким образом, мы можем кратко сказать ‘ ϕx является значимой’, подразумевая ‘функция ϕ имеет значение для аргумента x ’. Область значимости функции состоит из всех аргументов, для которых функция является истинной, в совокупности со всеми теми аргументами, для которых она является ложной.

можно быть истинной способом более общим, нежели быть истинной для всех её значений. Кроме того, если область значимости функции есть i , то функция ‘если x есть i , то если x – человек, то x – смертен’ имеет ту же самую область значимости, поскольку она не может быть значимой, если значимой не является её конституента ‘если x – человек, то x – смертен’. Но здесь область значимости снова является скрытой, как это было в ‘если x – человек, то x – смертен’. Поэтому мы не можем сделать области значимости явными, поскольку попытка так поступить приводит лишь к возникновению новой пропозиции, в которой эта же самая область значимости является скрытой.

Итак, в общем виде ‘ $(x).\phi x$ ’ должно означать ‘всегда ϕx ’. Это можно интерпретировать, хотя и с меньшей точностью, как ‘ ϕx всегда истинно’, или, более явно, как ‘Все значения функции ϕx истинны’¹⁷. Таким образом, основополагающее *все* есть ‘все значения пропозициональной функции’, и любое другое *все* производно от этого. И каждая пропозициональная функция имеет определённую *область значимости*, в рамках которой расположены аргументы, для которых функция имеет значения. В рамках этой области аргументов функция является истинной или ложной; вне этой области она бессмысленна.

Приведённую выше аргументацию можно суммировать следующим образом.

Затруднение, которое возникает при попытках ограничить переменную, заключается в том, что ограничение естественным образом выражает себя как условие, что переменная относится к такому-то и такому-то виду, и что при таком выражении результирующее условное высказывание свободно от преднамеренного ограничения. Например, попробуем ограничить переменную до *людей* и утверждать (а это подпадает под данное ограничение), что ‘ x – смертен’ всегда истинно. Тогда то, что всегда истинно, состоит в том, что если x – человек, то x – смертен; и это условное высказывание истинно даже тогда, когда x не является человеком. Таким образом, переменная никогда не ограничена рамками определённой области, если пропозициональная функция, в которой встречается переменная, остаётся значимой тогда, когда переменная находится вне этой области. Но если функция перестаёт быть значимой, когда переменная выходит за рамки определённой области, то переменная *ipso facto* заключена в этой области без необходимости в каком-то явном высказывании этого. Этот принцип необходимо прини-

¹⁷ Лингвистически удобное выражение для этой идеи следующее: ‘ ϕx – истинно для всех возможных значений x ’, возможное значение понимается как значение, для которого ϕx является значимой.

мать во внимание при развитии логических типов, к которым мы вскоре перейдём.

Теперь мы можем начать рассмотрение того, каким образом случается так, что ‘все такие-то и такие-то’ иногда является оправданной фразой, а иногда – нет. Предположим, мы говорим: ‘Все элементы, имеющие свойство ϕ , имеют свойство ψ ’. Согласно указанной выше интерпретации это означает ‘ ϕx всегда влечёт ψx ’. При условии, что область значимости ϕx является той же самой, что и область значимости ψx , это высказывание является значимым; таким образом, если задать какую-то определённую функцию ϕx , то существует пропозиция, говорящая о ‘всех элементах, выполняющих ϕx ’. Но иногда (как мы увидим позже) случается так, что то, что вербально проявляется как одна функция, на самом деле представляет собой много аналогичных функций с различными областями значимости. Это, например, применимо к ‘ p – истинно’, которая, как мы найдём, на самом деле есть не одна функция от p , но представляет собой различные функции, соответствующие виду пропозиции, которой является p . В таком случае фраза, выражающая неопределённую функцию может, благодаря этой неопределённости, быть значимой во всём множестве значений аргумента, превосходящем область значимости какой-то одной функции. В этом случае *все* не обоснованно. Стало быть, если мы пытаемся сказать ‘Все истинные пропозиции обладают свойством ϕ ’, т.е. “ p – истинно” всегда влечёт ϕp , возможные аргументы для “ p – истинно” необходимо превышают возможные аргументы для ϕ и, следовательно, рассматриваемое общее высказывание невозможно. По этой причине подлинных общих высказываний о всех истинных пропозициях сделать нельзя. Однако может случиться, что предполагаемая функция ϕ подобно “ p – истинно” является неопределённой, и если случится, что она обладает неопределённостью точно такого же вида, как и “ p – истинно”, мы всегда будем в состоянии задать интерпретацию для пропозиции “ p – истинно” влечёт ϕp . Это произойдёт, например, если ϕp есть ‘не- p – ложно’. Таким образом, в этих случаях мы получаем видимость общих пропозиций, рассматривающих *все* пропозиции; но эта видимость своим появлением обязана систематической неопределённости таких слов, как *истинно* и *ложно*. (Эта систематическая неопределённость вытекает из иерархии пропозиций, которая будет объяснена позднее.) Во всех таких случаях мы можем высказаться о *какой-то* пропозиции, поскольку значение неопределённых слов будет приспособливаться к этой какой-то пропозиции. Но если мы преобразуем нашу пропозицию с помощью мнимых переменных и нечто скажем обо *всём*, мы должны предпола-

гать неопределённость слов, зафиксированную в том или ином возможном смысле, хотя может быть совершенно безразлично то, каким из своих возможных смыслов они должны обладать. Вот так и случается, что высказывания обо *всех* имеют ограничения, которые исключают 'все пропозиции' и, тем не менее, одновременно кажутся истинными высказываниями обо 'всех пропозициях'. Оба этих пункта станут яснее, когда будет объяснена теория типов.

Часто предполагалось¹⁸, что для того, чтобы обоснованно говорить о всех элементах совокупности, требуется, чтобы совокупность была конечной. Так, 'Все люди смертны' обоснованно, поскольку люди образуют конечный класс. Но на самом деле, это не причина, по которой мы можем говорить о 'всех людях'. Как видно из приведённого выше суждения, существенна не конечность, но то, что можно было бы назвать *логической однородностью*. Это свойство должно принадлежать любой совокупности, чьи элементы суть все элементы, содержащиеся в рамках области значимости некоторой одной функции. Если дело не в скрытой неопределённости общих логических терминов, таких как *истинно* и *ложно*, которая придаёт видимость единой функции тому, что на самом деле является конгломератом многих функций с различными областями значимости, то с первого взгляда всегда видно, предполагает совокупность это свойство или же нет.

Выводы этого раздела заключаются в следующем: Каждая пропозиция, содержащая *все*, утверждает, что некоторая пропозициональная функция всегда истинна; и это подразумевает, что все значения указанной функции являются истинными, но это не подразумевает, что функция является истинной для всех аргументов, поскольку есть аргументы, для которых какая-то данная функция является бессмысленной, т.е. не имеет значения. Следовательно, мы можем говорить обо *всех* элементах совокупности тогда и только тогда, когда совокупность образует часть или целое *области значимости* некоторой пропозициональной функции, где область значимости определяется как совокупность тех аргументов, для которых рассматриваемая функция является значимой, т.е. имеет значение [value].

IV. ИЕРАРХИЯ ТИПОВ

Тип определяется как область значимости пропозициональной функции, т.е. как совокупность аргументов, для которых указанная функция имеет значения. Всегда, когда в пропозиции встречается мни-

¹⁸ Например, Пуанкаре. См.: *Revue de Métaphysique et de Morale* (May, 1906).

мая переменная, область значений мнимой переменной является типом; тип фиксируется функцией, относительно которой рассматриваются 'все значения'. Необходимость разделения объектов на типы вызвана рефлексивными недоразумениями, которые возникают, если такого различия не провести. Как мы видели, этих недоразумений следует избегать с помощью того, что может быть названо 'принципом порочного круга'; т.е. 'целостность не может содержать элементы, определённые в терминах её самой'. В нашем техническом языке этот принцип формулируется так: 'То, что содержит мнимую переменную, не должно быть возможным значением этой переменной'. Таким образом, всё, что содержит мнимую переменную, должно относиться к типу, отличному от возможных значений этой переменной; мы будем говорить, что оно относится к *более высокому* типу. Таким образом, мнимые переменные, содержащиеся в выражении, суть то, что определяет его тип. Это – ведущий принцип в дальнейшем изложении.

Пропозиции, которые содержат мнимые переменные, возникают из пропозиций, не содержащих этих мнимых переменных, посредством процессов, один из которых всегда является процессом *обобщения*, т.е. подстановкой переменной вместо одного из терминов пропозиции и утверждением результирующей функции для всех возможных значений этой переменной. Следовательно, пропозиция называется *обобщённой*, когда она содержит мнимую переменную. Пропозицию, не содержащую мнимых переменных, мы будем называть *элементарной* пропозицией. Ясно, что пропозиция, содержащая мнимые переменные, предполагает другие пропозиции, из которых она может быть получена посредством обобщения; следовательно, все обобщённые пропозиции предполагают элементарные пропозиции. В элементарной пропозиции мы можем различить один или более *членов* от одного или более *понятий*; *члены* суть то, что может рассматриваться как *субъект* пропозиции, тогда как понятия являются предикатами или отношениями, утверждаемыми относительно этих терминов¹⁹. Члены элементарных пропозиций мы будем называть индивидами; они образуют первый, или низший, тип.

На практике не обязательно знать, какие объекты принадлежат низшему типу; не обязательно даже знать, является ли низший тип переменных, встречающихся в данном контексте, типом индивидов, или же каким-то другим. Ибо на практике имеют значение только *относительные* типы переменных; поэтому низший тип, встречающийся в данном контексте, может быть назван типом индивидов постольку, поскольку рассматривается этот контекст. Отсюда следует, что приведённое выше рас-

¹⁹ См.: *Principles of Mathematics*, § 48.

смотрение индивидов не существенно для истинности того, что идёт далее; существен только способ, которым из индивидов производятся другие типы. Тем не менее тип индивидов можно образовать.

Применяя процесс обобщения к индивидам, входящим в элементарные пропозиции, мы получаем новые пропозиции. Обоснованность этого процесса требует только того, чтобы индивиды не были пропозициями. То, что это так, должно обеспечиваться смыслом, который мы придаём слову *индивид*. Мы можем определить индивид как нечто, лишённое сложности; тогда очевидно, что он не является пропозицией, поскольку пропозиции существенно комплексны. Следовательно, в применении процесса обобщения к индивидам мы не подвержены риску впасть в рефлексивные недоразумения.

Элементарные пропозиции в совокупности с теми пропозициями, которые в качестве мнимых переменных содержат только индивиды, мы будем называть *пропозициями первого порядка*. Они образуют второй логический тип.

Таким образом, мы имеем новую целостность, целостность *пропозиций первого порядка*. Стало быть, мы можем образовать новые пропозиции, в которые первопорядковые пропозиции входят как мнимые переменные. Их мы будем называть *пропозициями второго порядка*; они образуют третий логический тип. Так, например, если Эпименид утверждает 'Все пропозиции первого порядка, утверждаемые мной, ложны', он утверждает пропозицию второго порядка; он действительно может ею утверждать, не утверждая в действительности какой-то первопорядковой пропозиции и, поэтому, противоречия не возникает.

Указанный выше процесс можно продолжать бесконечно. $n + 1$ -й логический тип будет состоять из пропозиций порядка n , которые будут включать пропозиции порядка $n - 1$, но не более высокого порядка, чем порядок мнимых переменных. Полученные таким образом типы взаимноисключающи, и поэтому рефлексивные недоразумения невозможны до тех пор, пока мы помним, что мнимые переменные должны всегда ограничиваться рамками некоторого одного типа.

На практике иерархия *функций* более удобна, чем иерархия пропозиций. Функции различных порядков могут быть получены из пропозиций различных порядков методом *подстановки*. Если p – пропозиция, и a – конституента p , то пусть ' $p/a'x$ ' означает пропозицию, которая получается при подстановке x вместо a везде, где a входит в p . Тогда p/a , которую мы будем называть матрицей, может занять место функции; её значение для аргумента x есть $p/a'x$, а её значение для аргумента a есть p . Сходным образом, если ' $p/(a, b)'(x, y)$ ' означает результат первой подстановки x вместо a , а затем подстановки y вместо b , мы можем исполь-

звать двухместную матрицу $p/(a, b)$ для того, чтобы представить двухместную функцию. Этим способом мы можем избежать мнимых переменных, отличных от индивидов и пропозиций различных порядков. Порядок матрицы будет определяться, как порядок пропозиции, в которой произведена подстановка, а саму эту пропозицию мы будем называть *прототипом*. Порядок матрицы не определяет её тип: во-первых, потому что она не определяет число аргументов, вместо которых должны быть подставлены другие аргументы (т.е. имеет ли матрица форму p/a , $p/(a, b)$ или $p/(a, b, c)$ и т.д.); во-вторых, потому что, если прототип относится к более высокому, чем первый, порядку, аргументы могут быть либо пропозициями, либо индивидами. Но ясно, что тип матрицы всегда определим посредством иерархии пропозиций.

Хотя и *возможно* заменить функции матрицами, и хотя эта процедура вводит определённое упрощение в объяснение типов, она технически неудобна. Технически удобно заменить прототип p на ϕa и заменить p/a на ϕx ; таким образом, там, где как мнимые переменные появлялись бы p и a , если бы применялась матрица, в качестве нашей мнимой переменной мы теперь имеем ϕ . Для оправдания ϕ в качестве мнимой переменной необходимо, чтобы её значения ограничивались пропозициями некоторого одного типа. Поэтому мы продолжаем следующим образом.

Функция, аргументом которой является индивид и значением которой всегда является пропозиция первого порядка, будет называться функцией первого порядка. Функция, включающая первопорядковую функцию или пропозицию в качестве мнимой переменной будет называться второпорядковой функцией и т.д. Функция от одной переменной, относящаяся к порядку, следующему за порядком её аргумента, будет называться *предикативной* функцией; такое же название будет даваться функции от нескольких переменных, если среди этих переменных есть переменная, в отношении которой функция становится предикативной, когда значения приписываются всем другим переменным. Тогда тип функции определяется типом её значений и числом и типом её аргументов.

Далее иерархия функций может быть объяснена следующим образом. Функция первого порядка от индивида x будет обозначаться как $\phi!x$ (для функций будут также использоваться буквы $\psi, \chi, \theta, f, g, F, G$). Не первопорядковые функции содержат функцию в качестве мнимой переменной; следовательно, такие функции образуют вполне определённую целостность, и ϕ в $\phi!x$ может быть преобразована в мнимую переменную. Любая пропозиция, в которой ϕ появляется как мнимая переменная и в которой нет мнимых переменных более высокого, чем ϕ типа, является пропозицией второго порядка. Если такая пропозиция содер-

жит индивид x , она не является предикативной функцией от x ; но если она содержит первопорядковую функцию ϕ , она является предикативной функцией от ϕ и будет записываться как $f!(\psi! \hat{z})$. Тогда f есть *предикативная функция второго порядка*; возможные значения f снова образуют вполне определённую целостность, и мы можем преобразовать f в мнимую переменную. Таким образом, мы можем определить *предикативные функции третьего порядка*, которые будут представлять собой функции, имеющие в качестве значений пропозиции третьего порядка, а в качестве аргументов второпорядковые предикативные функции. Этим путём мы можем продвигаться до бесконечности. В точности такое же развитие сюжета относится к функциям от нескольких переменных.

Мы будем применять следующие соглашения. Переменные самого низкого типа, встречающиеся в любом контексте, будут обозначаться строчными латинскими буквами (за исключением f и g , которые зарезервированы для функций); предикативная функция от аргумента x (где x может быть любого типа) будет обозначаться как $\phi!x$ (где $\psi, \chi, \theta, f, g, F, G$ могут заменять ϕ); сходным образом предикативная функция от двух аргументов x и y будет обозначаться как $\phi!(x, y)$; общая функция от x будет обозначаться как ϕx , а общая функция от x и y как $\phi(x, y)$. В ϕx нельзя преобразовать в мнимую переменную, поскольку её тип не определён; но в $\phi!x$, где ϕ является предикативной функцией, чей аргумент относится к некоторому заданному типу, ϕ можно преобразовать в мнимую переменную.

Важно заметить, что, поскольку существуют различные типы пропозиций и функций и поскольку обобщение может быть применено только в рамках некоторого одного типа, все фразы, содержащие слова 'все пропозиции' или 'все функции' *prima facie* бессмысленны, хотя в определённых случаях они могут быть интерпретированы как не вызывающие возражений. Противоречия возникают при использовании таких фраз, где нельзя обнаружить простого значения.

Если теперь вернуться к парадоксам, мы сразу же увидим, что некоторые из них разрешаются теорией типов. Всегда, когда упоминаются 'все пропозиции', мы должны подставить 'все пропозиции порядка n ', где безразлично, какое значение мы придаём n , но существенно, чтобы n имело *некоторое* значение. Таким образом, когда человек говорит 'Я сейчас лгу', мы должны интерпретировать сказанное им как означающее: 'Существует пропозиция порядка n , которую я утверждаю и которая является ложной'. Это является пропозицией порядка $n + 1$; следовательно, его высказывание является ложным и, однако, его ложность

не влечёт (как, по-видимому, влечёт ‘Я сейчас лгу’), что он делает истинное высказывание. Это разрешает парадокс лжеца.

Рассмотрим теперь ‘наименьшее целое число, не именуемое менее чем десятью словами’. Прежде всего необходимо заметить, что *именуемость* должна означать ‘именуемо посредством таких-то и таких-то приписанных имён’ и что число приписанных имён должно быть конечно. Ибо если бы оно не являлось конечным, не было бы причин не существования целого числа, не именуемого менее чем десятью словами, и парадокс устранялся бы. Далее мы можем предположить, что ‘именуемый в терминах имён класса N ’ означает ‘является единственным термином, выполняющим некоторую функцию, всецело составленным из имён класса N ’. Решение этого парадокса лежит, я думаю, в простом наблюдении, что ‘именуемый в терминах имён класса N ’ само никогда не именуемо в терминах имён этого класса. Если мы расширяем N , добавляя имя ‘именуемый в терминах имён класса N ’, то расширяется наш основной аппарат имён; если этот новый аппарат назвать N' , то ‘именуемый в терминах имён класса N ’ остаётся не именуемым в терминах имён класса N' . Если мы попытаемся расширять N до тех пор, пока он не охватит *все* имена, то ‘именуемый’ становится (согласно тому, что говорилось ранее) ‘является единственным термином, выполняющим некоторую функцию, всецело составленным из имён’. Но здесь в качестве мнимой переменной фигурирует функция; следовательно, мы ограничены до предикативной функции некоторого одного типа (ибо непредикативные функции не могут быть мнимыми переменными). Следовательно, для того чтобы избежать парадокса, нам нужно лишь видеть, что именуемость с точки зрения таких функций является непредикативной.

Случай с ‘наименьшим неопределимым ординалом’ вполне аналогичен случаю, который мы только что обсуждали. Здесь, как и ранее, ‘определимый’ должно быть соотнесено с некоторым заданным аппаратом основополагающих идей; и есть причина предполагать, что ‘определимый в терминах идей класса N ’ не определимо с точки зрения идей класса N . Верным будет то, что существует некоторый определённый сегмент ряда ординалов, всецело состоящий из определимых ординалов и имеющий в качестве границы наименьший неопределимый ординал. Этот наименьший неопределимый ординал будет определим посредством незначительного расширения нашего основного аппарата; но тогда будет новый ординал, который будет наименьшим ординалом, неопределимым в этом новом аппарате. Если мы расширяем наш аппарат, с тем чтобы включить все возможные идеи, то более нет какой-то причины думать, что существует какой-то неопределимый ординал. Я думаю, что мнимая сила парадокса по большей части лежит в предположении,

что если все ординалы определённого класса определимы, должен быть определен и этот класс, а в этом случае определим также и класс, следующий за ним; но для принятия этого предположения причин нет.

Другие парадоксы, в частности парадокс Бурали-Форти, для своего решения требуют некоторого дальнейшего развития темы.

V. АКСИОМА СВОДИМОСТИ

Пропозициональная функция от x , как мы видели, должна относиться к какому-то порядку; следовательно, любое высказывание о ‘всех свойствах x ’ бессмысленно. (‘Свойство x ’ есть то же самое, что и ‘пропозициональная функция, имеющая силу для x ’.) Но для возможности математики абсолютно необходимо иметь некоторый метод делать высказывания, которые были бы эквивалентны тому, что мы подразумеваем, когда (некорректно) говорим о ‘всех свойствах x ’. Эта необходимость проявляется во многих случаях, но особенно в связи с математической индукцией. Мы можем сказать, используя *какое-то* вместо *все*, ‘Какое-то свойство, предполагаемое 0 и числами, следующими за всеми числами его предполагающими, предполагается всяким конечным числом’. Но мы не можем перейти к ‘Конечное число – это число, которое предполагает *все* свойства, предполагаемые 0 и числами, следующими за всеми числами, их предполагающими’. Если мы ограничиваем это высказывание до всех первопорядковых свойств чисел, мы не можем вывести, что оно имеет силу для всех второпорядковых свойств. Например, мы не в состоянии доказать, что если m и n являются конечными числами, то $m + n$ является конечным числом. Ибо, согласно данному выше определению, ‘ m есть конечное число’ является второпорядковым свойством m ; следовательно, тот факт, что $m + 0$ есть конечное число и что если $m + n$ есть конечное число, то таковым является и $m + n + 1$, не позволяет нам вывести по индукции, что $m + n$ есть конечное число. Очевидно, что такое положение дел представляет многое из элементарной математики невозможным.

Или возьмём определение конечности через несовпадение целого и части, что ничуть не облегчает дело. Ибо это определение состоит в следующем: ‘Говорится, что класс конечен, когда каждое однооднозначное отношение, областью которого является данный класс и конверсная область которого содержится в этом классе, имеет весь класс в качестве своей конверсной области’. Здесь появляется переменное отношение, т.е. переменная функция от двух переменных; мы должны взять *все* значения этой функции, а это требует, что она должна относиться к некоторому приписанному порядку; но никакой приписан-

ный порядок не позволит нам вывести многие из пропозиций элементарной математики.

Следовательно, мы должны отыскать, если возможно, некоторый метод сведения порядка пропозициональной функции, не воздействуя на истинность и ложность её значений. По-видимому, этого достигает здравый смысл введением *классов*. Если взять какую-то пропозициональную функцию ϕx любого порядка, предполагается, что для всех значений x она эквивалентна высказыванию формы ' x принадлежит классу α '. Это высказывание относится к первому порядку, поскольку оно не делает отсылку к 'все функции такого-то и такого-то типа'. И действительно, его единственное практическое преимущество перед первоначальным высказыванием ϕx состоит в том, что оно относится к первому порядку. В предположении, что действительно существуют такие вещи, как классы, преимуществ нет, и противоречие относительно классов, не являющихся членами самих себя это показывает; если классы существуют, они должны быть чем-то радикально отличным от индивидов. Я полагаю, что главная цель, которой служат классы, и главная причина, которая делает их лингвистически удобными, состоит в том, что они обеспечивают метод сведения порядка пропозициональной функции. Следовательно, я не буду допускать ничего, что, по-видимому, подразумевается при допущении классов здравым смыслом, за исключением следующего. Каждая пропозициональная функция для все своих значений эквивалентна некоторой предикативной функции.

Это допущение в отношении функций необходимо принять независимо от типа их аргументов. Пусть ϕx – функция какого-то порядка от аргумента x , который сам может быть либо индивидом, либо функцией какого-то порядка. Если ϕ относится к порядку, следующему за x , мы записываем функцию в форме $\phi!x$, в этом случае мы будем называть ϕ *предикативной* функцией. Таким образом, предикативная функция от индивида является функцией первого порядка; для более высоких типов аргументов предикативные функции занимают место, которое первопорядковые функции занимают в отношении индивидов. Затем мы предполагаем, что каждая функция для всех своих значений эквивалентна некоторой предикативной функции от тех же самых аргументов. Это допущение, по-видимому, является сутью обычного допущения классов; во всяком случае, оно сохраняет от классов столь много, чтобы мы могли их как-то использовать, и достаточно мало, чтобы избежать противоречий, которые охотно предполагают классы. Мы будем называть это допущение *аксиомой классов* или *аксиомой сводимости*.

Мы будем предполагать, что каждая функция от двух переменных эквивалентна для всех своих значений предикативной функции от этих

переменных, где предикативная функция от двух переменных такова, что в отношении одной из переменных функция становится предикативной (в нашем предыдущем смысле), когда значение приписывается другой переменной. Это допущение, по-видимому, и подразумевается, когда говорят, что любое высказывание о двух переменных определяет отношение между ними. Это допущение мы называем *аксиомой отношений* или *аксиомой сводимости*. Если иметь дело с отношениями между более чем двумя элементами, нужны сходные допущения для трёх, четырёх... переменных. Но эти допущения для нашей цели не являются необходимыми, поэтому они и не принимаются в данной статье.

С помощью аксиомы сводимости, высказывания обо 'всех перво-порядковых функциях от x ' или 'всех предикативных функциях от α ' охватывают большинство результатов, которые иначе требовали бы высказываний о 'всех функциях'. Существенный пункт состоит в том, что такие результаты получаются во всех случаях, где уместна только истинность или ложность значений рассматриваемых функций, а этот случай в математике постоянен. Таким образом, математическая индукция, например, нуждается теперь только в том, чтобы быть установленной для всех предикативных функций от чисел; тогда из аксиомы классов следует, что она имеет силу для *любой* функции любого порядка. Можно подумать, что парадоксы, ради которых мы изобрели иерархию типов, появятся вновь. Но это не тот случай, поскольку в таких парадоксах либо затрагивается ещё что-то помимо истинности и ложности значений функций, либо встречаются выражения, которые остаются без значения даже после введения аксиомы сводимости. Например, такое высказывание, как 'Эпименид утверждает ψx ', не эквивалентно 'Эпименид утверждает ϕx ', даже если ψx и ϕx эквивалентны. Таким образом, 'Я сейчас лгу' остаётся без значения, если мы пытаемся включить *все* пропозиции, в совокупность тех, которые я мог бы ложно утверждать, и не затрагивается аксиомой классов, если мы ограничиваем её до пропозиций порядка n . Иерархия пропозиций и функций, стало быть, остаётся уместной как раз в тех случаях, в которых необходимо избежать парадокса.

VI. ИСХОДНЫЕ ИДЕИ И ПРОПОЗИЦИИ СИМВОЛИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

Исходные идеи, которые требуются в символической логике, по-видимому, сводятся к следующим семи:

(1) Какая-то пропозициональная функция от переменной x или нескольких переменных $x, y, z \dots$ Она будет обозначаться как ϕx или $\phi(x, y, z \dots)$

(2) Отрицание пропозиции. Если p – пропозиция, её отрицание будет обозначаться как $\sim p$.

(3) Дизъюнкция, или логическая сумма двух пропозиций, т.е. ‘это или то’. Если p и q суть две пропозиции, их дизъюнкция будет обозначаться как $p \vee q$ ²⁰.

(4) Истинность *какого-то* значения пропозициональной функции; т.е. функции ϕx , где x не уточняется.

(5) Истинность *всех* значений пропозициональной функции. Это обозначается как $(x).\phi x$, или $(x):\phi x$; для заключения пропозиций в скобки может потребоваться и большее число точек²¹. В $(x).\phi x$ x называется мнимой переменной; когда ϕx утверждается, там, где x не уточнён, x называется *действительной переменной*.

(6) Какая-то предикативная функция от аргумента какого-то типа; по обстоятельствам она будет представлена как $\phi!x$, $\phi!a$ или $\phi!R$. Предикативная функция от x – это функция, значения которой являются пропозициями, относящимися к типу, следующему за типом x , если x является индивидом или пропозицией, или за типом значений x , если x является функцией. Она может быть описана как функция, в которой все мнимые переменные, если таковые есть, относятся к одному типу s x или к меньшему типу. Переменная относится к меньшему, чем x , типу, если она может значимо встречаться как аргумент в самом x или как аргумент в аргументе самого x и т.д.

(7) Утверждение; т.е. утверждение, что некоторая пропозиция является истинной или что какое-то значение некоторой пропозициональной функции является истинным. Утверждение требуется для того, чтобы отличить действительно утверждаемую пропозицию от пропозиции, просто рассматриваемой, или от пропозиции, на которую ссылаются как на условие некоторой другой пропозиции. На утверждение будет указывать знак ‘ \vdash ’, предпосланный тому, что утверждается, с достаточным количеством точек, чтобы заключить то, что утверждается, в скобки²².

²⁰ В предыдущей статье для этого журнала в качестве неопределяемой вместо дизъюнкции я брал импликацию. Выбор между ними – это предмет вкуса. Теперь я выбираю дизъюнкцию, поскольку она позволяет нам минимизировать число исходных пропозиций [См.: ‘The Theory of Implication’, *American Journal of Mathematics*, Vol. XXVIII, 1906, P. 159–202.]

²¹ При использовании точек мы следуем Пеано. Это использование полностью объяснено м-ром Уайтхедом; см.: ‘On Cardinal Numbers’, *American Journal of Mathematics*, Vol. XXIV и ‘On Mathematical Concepts of Material World’, *Phil. Trans. A.*, Vol. CCV, P. 472.

²² Этим знаком, как и введением идеи, которую он выражает, мы обязаны Фреге. См. его *Begriffsschrift* (Halle, 1879), С.1 [Русский перевод см.: *Исчисление понятий* // Фреге Г. Логика и логическая семантика. – М.: Аспект Пресс, 2000.] и *Grundgesetze der Arithmetik* (Jena, 1883), Vol. I, C. 9.

Перед тем как перейти к исходным пропозициям, нам нужны некоторые определения. В следующих определениях, так же как и в исходных пропозициях, буквы p, q, r используются для обозначения пропозиций.

$$p \supset q . = . \sim p \vee q \quad \text{Df.}$$

Это определение устанавливает, что ' $p \supset q$ ' (которое прочитывается, как ' p влечёт q ') должно означать ' p – ложно или q – истинно'. Я не намереваюсь утверждать, что 'влечёт' не может иметь другого смысла, но утверждаю только то, что этот смысл наиболее подходит для того, чтобы задать 'влечёт' в символической логике. В определении знак равенства и буквы 'Df' должны рассматриваться как один символ, совместно означая 'значит по определению'. Знак равенства без букв 'Df' имеет иной смысл, который вскоре будет рассмотрен.

$$p . q . = . \sim(\sim p \vee \sim q) \quad \text{Df.}$$

Это определяет логическое произведение двух пропозиций p и q , т.е. ' p и q оба являются истинными'. Приведённое определение устанавливает, что это должно означать 'Ложно, что p – ложно или q – ложно'. Здесь определение снова не даёт единственного смысла, который может быть придан ' p и q оба являются истинными', но задаёт значение, которое наиболее подходит для нашей цели.

$$p \equiv q . = . p \supset q . q \supset p \quad \text{Df.}$$

То есть ' $p \equiv q$ ', которое читается как ' p эквивалентно q ', означает ' p влечёт q и q влечёт p '; откуда, конечно, следует, что p и q являются оба истинными или оба ложными.

$$(\exists x) . \phi x . = . \sim \{ (x) . \sim \phi x \} \quad \text{Df.}$$

Это определяет 'Существует по крайней мере одно значение x , для которого ϕx является истинным'. Мы определяем последнее, как означающее 'Ложно, что ϕx всегда ложно'.

$$x = y . = : (\phi) : \phi!x . \supset . \phi!y \quad \text{Df.}$$

Это – определение равенства. Оно устанавливает, что x и y должны называться равными, когда каждая предикативная функция, выполняющаяся x , выполняется y . Из аксиомы сводимости следует, что если x выполняет ψx , где ψ есть какая-то функция, предикативная или неpredикативная, то y выполняет ψy .

Следующие определения менее важны и вводятся только с целью сокращения.

$$\begin{aligned}
 (x, y) \cdot \phi(x, y) \cdot &=: (x) : (y) \cdot \phi(x, y) \quad \text{Df,} \\
 (\exists x, y) \cdot \phi(x, y) \cdot &=: (\exists x) : (\exists y) \cdot \phi(x, y) \quad \text{Df,} \\
 \phi x \cdot \supset_x \cdot \psi x &=: (x) : \phi x \supset \psi x \quad \text{Df,} \\
 \phi x \cdot \equiv_x \cdot \psi x &=: (x) : \phi x \equiv \psi x \quad \text{Df,} \\
 \phi(x, y) \cdot \supset_{x, y} \cdot \psi(x, y) &=: (x, y) : \phi(x, y) \cdot \supset \cdot \psi(x, y) \quad \text{Df}
 \end{aligned}$$

и т.д. для любого числа переменных.

Требуются следующие исходные пропозиции (в 2, 3, 4, 5, 6 и 10 p , q , r обозначают пропозиции):

- (1) Пропозиция, выведенная из истинной посылки, является истинной.
- (2) $\vdash : p \vee p \cdot \supset \cdot p$.
- (3) $\vdash : q \cdot \supset \cdot p \vee q$.
- (4) $\vdash : p \vee q \cdot \supset \cdot q \vee p$.
- (5) $\vdash : p \vee (q \vee r) \cdot \supset \cdot q \vee (p \vee r)$.
- (6) $\vdash : \cdot q \supset r \cdot \supset : p \vee q \cdot \supset \cdot p \vee r$.
- (7) $\vdash : (x) \cdot \phi x \cdot \supset \cdot \phi y$;

т.е. ‘если все значения $\phi \hat{x}$ являются истинными, то ϕy является истинным, где ϕy есть какое-то значение’²³.

(8) Если ϕy – истинно, где ϕy есть какое-то значение $\phi \hat{x}$, то $(x) \cdot \phi x$ – истинно. Этого нельзя выразить в наших символах; ибо, если мы записываем ‘ $\phi y \cdot \supset \cdot (x) \cdot \phi x$ ’, это означает ‘ ϕy влечёт, что все значения $\phi \hat{x}$ являются истинными, где y может принимать любое значение подходящего типа’, что, в общем, не имеет места. То, что мы намереваемся утверждать, заключается в следующем: ‘Если при любом выбранном y ϕy – истинно, то $(x) \cdot \phi x$ – истинно’, тогда как то, что выражено посредством ‘ $\phi y \cdot \supset \cdot (x) \cdot \phi x$ ’, есть ‘При любом выбранном y , если ϕy – истинно, то $(x) \cdot \phi x$ – истинно’, что является совершенно иным высказыванием, которое, в общем случае, ложно.

- (9) $\vdash : (x) \cdot \phi x \cdot \supset \cdot \phi a$, где a есть какая-то определённая константа.

Это принцип на самом деле представляет собой много различных принципов, а именно столько, сколько существует возможных значений a . Т.е. он устанавливает, например, что то, что имеет силу для всех индивидов, имеет силу для Сократа; а также оно имеет силу для Платона и т.д. Этот принцип состоит в том, что общее правило можно применить к

²³ Удобно использовать запись ϕx , чтобы обозначить саму функцию в противоположность тому или иному значению этой функции.

частному случаю; но чтобы задать его область, необходимо упомянуть отдельные примеры, поскольку в противном случае нам нужен принцип, который сам заверит нас в общем правиле, что общие правила, которые могут применены к частному случаю, могут быть применены к отдельно-му случаю, скажем, к Сократу. Таким образом, этот принцип отличается от (7); данный принцип высказывается о Сократе, Платоне или какой-то другой константе, тогда как (7) высказывается о переменной.

Указанный принцип никогда не используется в символической логике или в чистой математике, поскольку все наши пропозиции являются общими. И даже тогда, когда (как в 'один есть число') мы, по видимости, имеем строго частный случай, при близком рассмотрении он не оказывается таковым. Фактически применение этого принципа является отличительным признаком *прикладной* математики. Стало быть, строго говоря, мы должны исключить его из нашего списка.

$$(10) \vdash : (x) . p \vee \phi x \cdot \supset : p \cdot \vee \cdot (x) \cdot \phi x;$$

т.е., 'если "p или ϕx " – всегда истинно, то или p – истинно или ϕx – всегда истинно'.

(11) Когда $f(\phi x)$ – истинно при любом возможном аргументе x и $F(\phi y)$ – истинно при любом возможном аргументе y, тогда $\{f(\phi x) \cdot F(\phi x)\}$ является истинным при любом возможном аргументе x.

Это – аксиома 'неопределённости переменных'. Она нужна, когда о каждой из двух отдельных пропозициональных функций известно, что они всегда являются истинными, и мы хотим вывести, что их логическое произведение всегда является истинным. Этот вывод оправдан только тогда, когда две функции принимают аргументы одного и того же типа, ибо, в противном случае, их логическое произведение бессмысленно.

(12) Если $\phi x \cdot \phi x \supset \psi x$ – истинно для любого возможного x, то ψx – истинно для любого возможного x.

Эта аксиома требуется для того, чтобы заверить нас в том, что область значимости ψx в предполагаемом случае совпадает с областью значимости $\phi x \cdot \phi x \supset \psi x \cdot \supset \cdot \psi x$; фактически обе области совпадают с областью значимости ϕx . В предполагаемом случае мы знаем, что ψx – истинно везде, где и $\phi x \cdot \phi x \supset \psi x$, и $\phi x \cdot \phi x \supset \psi x \cdot \supset \cdot \psi x$ являются значимыми, но без аксиомы мы не знаем, что ψx – истинно, везде, где ψx является значимым. Следовательно, эта аксиома нам необходима.

Аксиомы (11) и (12) требуются, например, при доказательстве

$$(x) \cdot \phi x : (x) \cdot \phi x \supset \psi x : \supset \cdot (x) \cdot \psi x.$$

По (7) и (11)

$$\vdash : . (x) . \phi x : (x) . \phi x \supset \psi x : \supset : \phi y . \psi y \supset \psi y,$$

отсюда, по (12)

$$\vdash : . (x) . \phi x : (x) . \phi x \supset \psi x : \supset : \psi y,$$

отсюда результат вытекает по (8) и (10).

$$(13) \vdash : . (\exists f) : . (x) : \phi x \equiv . f!x.$$

Это – аксиома сводимости. Она устанавливает, что если задать какую-то функцию $\phi^{\hat{x}}$, то существует такая предикативная функция $f!^{\hat{x}}$, что $f!x$ всегда эквивалентна ϕx . Заметим, что поскольку пропозиция, начинающаяся с ‘ $(\exists f)$ ’ по определению есть отрицание пропозиции, начинающейся с ‘ (f) ’, приведённая аксиома включает возможность рассмотрения ‘всех предикативных функций от x ’. Если ϕx есть *какая-то* функция от x , мы не можем высказать пропозицию, начинающуюся с ‘ (ϕ) ’ или ‘ $(\exists \phi)$ ’, поскольку мы не можем рассматривать ‘все функции’, но только ‘*какую-то* функцию’ или ‘все *предикативные* функции’.

$$(14) \vdash : . (\exists f) : . (x, y) : \phi(x, y) \equiv . f!(x, y).$$

Это – аксиома сводимости для двухместной функции.

В приведённых выше пропозициях наши x и y могут относиться к любому типу. Единственное, где уместна теория типов, состоит в том, что (11) лишь позволяет нам отождествить действительные переменные, встречающиеся в различных содержаниях, когда демонстрируется, что они относятся к одному и тому же типу, поскольку в обоих случаях входят как аргументы одной и той же функции, и что в (7) и (9) y и a , соответственно, должны относиться к типу, подходящему для аргументов $\phi^{\hat{z}}$. Поэтому, если предположить, например, что у нас есть пропозиция формы $(\phi) . f!(\phi^{\hat{z}}, x)$, являющаяся второпорядковой функцией от x , то по (7)

$$\vdash : (\phi) . f!(\phi^{\hat{z}}, x) \supset . f!(\psi^{\hat{z}}, x),$$

где $\psi^{\hat{z}}$ есть *какая-то* функция *первого* порядка. Но $(\phi) . f!(\phi^{\hat{z}}, x)$ нельзя рассматривать так, как если бы она была *первопорядковой* функцией от x , и брать эту функцию как возможное значение $\psi^{\hat{z}}$ в указанном выше выражении. Подобное смешение типов приводит к парадоксу *лжеца*.

Снова рассмотрим классы, которые не являются членами самих себя. Ясно, что, поскольку мы отождествляем классы с функциями²⁴, ни об одном классе нельзя значимо говорить, что он является или не является членом самого себя; ибо члены класса являются аргументами функции, а аргументы функции всегда относятся к типу, более низкому, чем функция. И если мы спросим: 'Как обстоит дело с классом всех классов? Он, что же, не является классом и поэтому членом самого себя?', ответ двойствен. Во-первых, если 'класс всех классов' означает 'класс всех классов любого типа', то такого понятия нет. Во-вторых, если 'класс всех классов' означает 'класс всех классов типа t ', то этот класс относится к типу, следующему за t , а потому снова не является членом себя самого.

Таким образом, хотя приведённые выше пропозиции равным образом применяются ко всем типам, они не позволяют нам вывести противоречия. Поэтому в процессе какой-либо дедукции никогда не нужно рассматривать абсолютный тип переменной; необходимо лишь видеть, что различные переменные, встречающиеся в одной пропозиции, относятся к надлежащим соответствующим типам. Это исключает те функции, из которых было получено наше четвёртое противоречие, а именно: 'Отношение R имеет силу между R и S '. Ибо отношение между R и S необходимо относится к более высокому типу, чем любое из них, так что предполагаемая функция является бессмысленной.

VII. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ КЛАССОВ И ОТНОШЕНИЙ

Пропозиции, в которые входит функция ϕ , могут по своему истинностному значению зависеть от особой функции ϕ или же они могут зависеть от объёма ϕ , т.е. от аргументов, которые выполняют ϕ . Функции последнего сорта мы будем называть *экстенциональными*. Так, например, 'Я верю, что все люди смертны' не может быть эквивалентно 'Я верю, что все беспёрые двуногие смертны', даже если люди по объёму совпадают с двуногими беспёрыми; ибо я могу и не знать, что по объёму они одинаковы. Но 'Все люди смертны' должно быть эквивалентно 'Все беспёрые двуногие смертны', если люди по объёму совпадают с двуногими и беспёрыми. Таким образом, 'Все люди смертны' является экстенсиональной функцией от функции 'x – человек', тогда как 'Я верю, что все люди смертны' не является экстенсиональной функцией; мы будем называть функцию интенсиональной, когда она не является экстенсиональной. Функции от функций, с которыми особо

²⁴ Это отождествление подлежит модификации, которая вскоре будет объяснена.

имеет дело математика, все являются экстенциональными. Признак экстенциональной функции f от функции $\phi! \hat{z}$ состоит в следующем:

$$\phi!x . \equiv_x . \psi!x : \supset_{\phi, \psi} : f(\phi! \hat{z}) . \equiv . f(\psi! \hat{z}) .$$

Из функции f от функции $\phi! \hat{z}$ мы можем вывести соответствующую экстенциональную функцию следующим образом. Пусть

$$f\{\hat{z}(\psi z)\} . = : (\exists \phi) : \phi!x . \equiv_x . \psi x : f\{\phi! \hat{z}\} \quad \text{Df.}$$

Функция $f\{\hat{z}(\psi z)\}$ фактически есть функция от $\psi \hat{z}$, хотя она и не совпадает с функцией $f(\psi! \hat{z})$, предполагая, что эта последняя является значимой. Но трактовать так $f\{\hat{z}(\psi z)\}$ технически удобно, хотя она и содержит аргумент $\hat{z}(\psi z)$, который мы называем ‘класс, определяемый посредством ψ ’. Мы имеем

$$\vdash : . \phi x . \equiv_x . \psi x : \supset : f\{\hat{z}(\phi z)\} . \equiv . f\{\hat{z}(\psi z)\},$$

следовательно, применяя данное выше определение тождества к фиктивным объектам $\hat{z}(\phi z)$ и $\hat{z}(\psi z)$ мы находим, что

$$\vdash : . \phi x . \equiv_x . \psi x : \supset . \hat{z}(\phi z) = \hat{z}(\psi z).$$

Это утверждение, а также его конверсия (что также можно доказать), указывает отличительное свойство классов. Следовательно, мы вполне можем трактовать $\hat{z}(\phi z)$ как класс, определяемый посредством ϕ . Тем же самым способом мы устанавливаем

$$f\{\hat{x} \hat{y} \psi(x, y)\} . = : (\exists \phi) : \phi!(x, y) . \equiv_{x, y} . \psi(x, y) : f\{\phi!(\hat{x}, \hat{y})\} \quad \text{Df.}$$

Здесь необходимо несколько слов относительно различия между $\phi!(\hat{x}, \hat{y})$ и $\phi!(\hat{y}, \hat{x})$. Мы будем принимать следующее соглашение. Когда функция (в противоположность своим значениям) представлена в форме, включающей \hat{x} и \hat{y} (или какие-то другие две буквы алфавита), значение этой функции для аргументов a и b должно обнаруживаться подстановкой a вместо \hat{x} и b вместо \hat{y} ; т.е. аргумент, упоминающийся первым, должен подставляться вместо буквы, которая встречается в алфавите раньше, а аргумент, упоминающийся вторым, – вместо буквы,

которая встречается позднее. И это вполне удовлетворительно проводит различие между $\phi!(\hat{x}, \hat{y})$ и $\phi!(\hat{y}, \hat{x})$. Например:

Значение $\phi!(\hat{x}, \hat{y})$ для аргументов a и b есть $\phi!(a, b)$.

Значение $\phi!(\hat{x}, \hat{y})$ для аргументов b и a есть $\phi!(b, a)$.

Значение $\phi!(\hat{y}, \hat{x})$ для аргументов a и b есть $\phi!(b, a)$.

Значение $\phi!(\hat{y}, \hat{x})$ для аргументов b и a есть $\phi!(a, b)$.

Мы устанавливаем:

$$x \in \phi! \hat{z} . = . \phi!x \quad \text{Df.},$$

следовательно,

$$\vdash : . x \in \hat{z} (\psi z) . = : (\exists \phi) : \phi!y . \equiv_y . \psi y : \phi!x.$$

К тому же по аксиоме сводимости мы имеем

$$(\exists \phi) : \phi!y . \equiv_y . \psi y,$$

следовательно,

$$\vdash : x \in \hat{z} (\psi z) . \equiv . \psi x.$$

Это имеет силу при любом x . Предположим теперь, что мы хотим рассмотреть $\hat{z} (\psi z) \in \hat{\phi} f \{ \hat{z} (\phi!z) \}$. Согласно изложенному выше, мы имеем

$$\vdash : . \hat{z} (\psi z) \in \hat{\phi} f \{ \hat{z} (\phi!z) \} . \equiv . f \{ \hat{z} (\psi z) \} : \equiv : (\exists \phi) : \phi!y . \equiv_y . \psi y : f(\phi!z),$$

отсюда

$$\vdash : . \hat{z} (\psi z) \in \hat{z} (\chi z) . \supset : \hat{z} (\psi z) \in x . \equiv_x . \hat{z} (\chi z) \in x,$$

где x записывается вместо любого выражения формы $\hat{\phi} f \{ \hat{z} (\phi!z) \}$.

Мы устанавливаем:

$$cls = \hat{\alpha} \{ (\exists \phi) . \alpha = \hat{z} (\phi!z) \} \quad \text{Df.}$$

Здесь cls обладает значением, которое зависит от типа мнимой переменной ϕ . Следовательно, пропозиция ' $cls \in cls$ ', например, являющаяся следствием приведённого выше определения, требует, что ' cls '

должно обладать различным значением в двух местах, где оно встречается. Символ 'cls' может использоваться только там, где необходимо знать тип; он обладает неопределённостью, которая приспособливается к обстоятельствам. Если мы вводим как неопределяемую функцию 'Indiv!x', означающую 'x – индивид', мы можем установить

$$Kl = \hat{\alpha} \{(\exists \phi) . \alpha = \hat{z} (\phi!z . \text{Indiv!}z)\} \quad \text{Df.}$$

Тогда Kl – это определённый символ, означающий 'класс индивидов'.

Мы будем использовать строчные буквы греческого алфавита (иные, чем $\epsilon, \phi, \psi, \chi, \theta$), чтобы представлять классы любого типа, т.е. обозначать символы формы $\hat{z} (\phi!z)$ или $\hat{z} (\phi z)$.

С этого пункта теория классов во многом развивается, как в системе Пеано; $\hat{z} (\phi z)$ заменяет $z \mathcal{A} (\phi z)$. Также я устанавливаю:

$$\alpha \subset \beta . = : x \in \alpha . \supset . x \in \beta \quad \text{Df.},$$

$$\exists! \alpha . = . (\exists x) . x \in \alpha \quad \text{Df.},$$

$$\forall = \hat{x} (x = x) \quad \text{Df.},$$

$$\Lambda = \hat{x} \{ \sim (x = x) \} \quad \text{Df.},$$

где Λ , как и у Пеано, есть нуль-класс. Символы $\exists, \Lambda, \forall$, как и символы cls и ϵ , не определены и приобретают значение, когда рассматриваемый тип указан иным способом.

Отношения мы трактуем точно таким же способом, устанавливая

$$a \{ \phi! (\hat{x}, \hat{y}) \} b . = . \phi!(a, b) \quad \text{Df.},$$

(порядок предопределён алфавитным порядком x и y и типографским порядком a и b); отсюда

$$\vdash : . a \{ \hat{x} \hat{y} \psi(x, y) \} b . \equiv : (\exists \phi) : \psi(x, y) . \equiv_{x, y} . \phi!(x, y) : \phi!(a, b),$$

откуда, по аксиоме сводимости,

$$\vdash : a \{ \hat{x} \hat{y} \psi(x, y) \} b . \equiv . \psi(a, b).$$

Используя прописные буквы латинского алфавита в качестве сокращения для таких символов, как $\hat{x} \hat{y} \psi(x, y)$, мы находим, что

$$\vdash : . R = S . \equiv : x R y . \equiv_{x, y} . x S y,$$

где

$$R = S \cdot = : \hat{f}R \cdot \supset_f \cdot \hat{f}S \quad \text{Df.}$$

Мы устанавливаем:

$$\text{Rel} = \hat{R} \{ \exists \phi \} \cdot R = \hat{x} \hat{y} \phi!(x, y) \quad \text{Df}$$

и находим, что всё, что доказывается для классов, имеет свой аналог для двухместных отношений. Следуя Пеано, мы устанавливаем:

$$\alpha \cap \beta = \hat{x} (x \in \alpha \cdot x \in \beta) \quad \text{Df.},$$

определяя произведение, или общую часть, двух классов;

$$\alpha \cup \beta = \hat{x} (x \in \alpha \cdot \vee \cdot x \in \beta) \quad \text{Df.},$$

определяя сумму двух классов; и

$$- \alpha = \hat{x} \{ \sim(x \in \alpha) \} \quad \text{Df.},$$

определяя отрицание класса. Сходным образом для отношений мы устанавливаем:

$$\overset{\cdot}{R} \cap S = \hat{x} \hat{y} (xRy \cdot xSy) \quad \text{Df.},$$

$$\overset{\cdot}{R} \cup S = \hat{x} \hat{y} (xRy \cdot \vee \cdot xSy) \quad \text{Df.},$$

$$\overset{\cdot}{-} R = \hat{x} \hat{y} \{ \sim(xRy) \} \quad \text{Df.}$$

VIII. ДЕСКРИПТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

Функции, рассмотренные до сих пор, за исключением нескольких

отдельных функций, таких как $\overset{\cdot}{R} \cap S$, были пропозициональными. Но обычные функции математики, такие как x^2 , $\sin x$, $\log x$, не являются пропозициональными. Функции этого вида всегда означают ‘элемент, имеющий такое-то и такое-то отношение к x ’. По этой причине они могут быть названы *дескриптивными* [descriptive] функциями, поскольку они *описывают* [describe] определённый элемент через его отношение к их аргументам. Так, ‘ $\sin \pi/2$ ’ описывает число 1; однако пропозиции, в которых встречается $\pi/2$, не останутся теми же самыми, если бы в них было подставлено 1. Это, например, обнаруживается из пропозиции ‘ $\sin \pi = 1$ ’, которая содержит значимую информацию, тогда как ‘ $1 = 1$ ’ –

тривиально. Дескриптивные функции имеют значение не сами по себе, но только как конститuentы пропозиций; и это вообще применяется к фразам формы ‘элемент, имеющий такое-то и такое-то свойство’. Следовательно, имея дело с такими фразами, мы должны определять какую-то пропозицию, в которую они входят, а не фразу саму по себе²⁵. Таким образом, мы приходим к следующему определению, в котором ‘ $(\lambda x)(\phi x)$ ’ должно читаться, как ‘данный [the] элемент x , который выполняет ϕx ’.

$$\psi\{(\lambda x)(\phi x)\} . = : (\exists b) : \phi x . =_x . x=b : \psi b \quad \text{Df.}$$

Это определение устанавливает, что ‘элемент, который выполняет ϕ , выполняет ψ ’ должно означать: ‘Существует термин b , такой, что ϕx – истинно тогда и только тогда, когда x есть b , и ψb – истинно’. Таким образом, все пропозиции о ‘данном таком-то и таком-то’ будут ложными, если такого-то и такого-то не существует или их существует несколько.

Общее определение дескриптивной функции является следующим:

$$R^4y = (\lambda x)(xRy) \quad \text{Df.};$$

т.е. ‘ R^4y ’ должно означать ‘элемент, который имеет отношение R к y ’. Если же существует несколько или не существует ни одного элемента, имеющего отношение R к y , то все пропозиции о R^4y будут ложными. Мы устанавливаем:

$$\mathbf{E}!(\lambda x)(\phi x) . = : (\exists b) : \phi x . \equiv_x . x=b \quad \text{Df.}$$

Здесь ‘ $\mathbf{E}!(\lambda x)(\phi x)$ ’ может прочитываться ‘Существует такой элемент, как x , который выполняет ϕx ’, или ‘тот x , который выполняет ϕx , существует’. Мы имеем

$$\vdash : . \mathbf{E}!R^4y . \equiv : (\exists b) : xRy . \equiv_x . x=b.$$

Кавычка в R^4y может прочитываться. Так, если R – отношение отца к сыну, то ‘ R^4y ’ есть ‘отец y ’. Если R – отношение сына к отцу, все пропозиции о R^4y будут ложными, если y не имеет ни одного или у него больше чем один сыновей.

Из сказанного выше обнаруживается, что дескриптивные функции получаются из отношений. Определяемые теперь отношения главным

²⁵ См. упомянутую выше статью ‘On Denoting’, где причины этого представлены более пространно.

образом важны для рассмотрения дескриптивных функций, которым они дают начало.

$$\text{Cnv} = \hat{Q} \hat{P} \{xQy \cdot \equiv_{x,y} \cdot yPx\} \quad \text{Df.}$$

Здесь Cnv есть сокращение для ‘конверсия’. Это определяет отношение некоего отношения к своей конверсии; например, отношение отношения *больше* к отношению *меньше*, отношения отцовства к отношению сыновства, отношение предшественника к отношению наследника и т.д. Мы имеем

$$\vdash \cdot \text{Cnv}'P = (\mathcal{R}Q) \{xQy \cdot \equiv_{x,y} \cdot yPx\}.$$

Для сокращения записи, что часто более удобно, мы устанавливаем:

$$\overset{\cup}{P} = \text{Cnv}'P \quad \text{Df.}$$

Нам требуется ещё одна запись для класса терминов, имеющих отношение R к y . С этой целью мы устанавливаем:

$$\vec{R} = \hat{\alpha} \hat{y} \{ \alpha = \hat{x} (xRy) \} \quad \text{Df.},$$

отсюда

$$\vdash \cdot \vec{R} 'y = \hat{x} (xRy).$$

Сходным образом мы устанавливаем:

$$\overset{\leftarrow}{R} = \hat{\beta} \hat{x} \{ \beta = \hat{y} (xRy) \} \quad \text{Df.},$$

отсюда

$$\vdash \cdot \overset{\leftarrow}{R} 'x = \hat{y} (xRy).$$

Далее нам требуется *область* R (т.е. класс элементов, имеющих отношение R к чему-либо), *конверсная область* R (т.е. класс элементов, к которым что-либо имеет отношение R) и *поле* R , представляющее собой сумму области R и конверсной области R . С этой целью мы определяем отношения области, конверсной области и поля к R . Определения таковы:

$$D = \hat{\alpha} \hat{R} \{ \alpha = \hat{x} \{ (\exists y) \cdot xRy \} \} \quad \text{Df.},$$

$$[D] = \hat{\beta} \hat{R} \{ \beta = \hat{y} \{ (\exists x) \cdot xRy \} \} \quad \text{Df.},$$

$$C = \hat{\gamma} \hat{R} \{ \gamma = (\exists y) : xRy \cdot \vee \cdot yRx \} \quad \text{Df.}$$

Заметим, что третье из этих определений значимо только тогда, когда R есть то, что можно было бы назвать *однородным* отношением; т.е. отношением, в котором, если xRy имеет место, x и y относятся к одному и тому же типу. В противном случае, как бы мы ни выбирали x и y , либо xRy , либо yRx были бы бессмысленными. Это наблюдение важно в связи с парадоксом Бурали-Форти.

На основании приведённых определений мы получаем:

$$\vdash \cdot D^*R = \hat{x} \{ (\exists y) \cdot xRy \},$$

$$\vdash \cdot [D]^*R = \hat{y} \{ (\exists x) \cdot xRy \},$$

$$\vdash \cdot C^*R = \hat{x} \{ (\exists y) : xRy \cdot \vee \cdot yRx \},$$

последнее будет значимо только тогда, когда R однородно. ' D^*R ' читается как 'область R '; ' $[D]^*R$ ' читается как 'конверсная область R '; ' C^*R ' читается как 'поле R '.

Далее нам требуется запись для отношения класса членов, к которым некоторый элемент из α имеет отношение R , к классу α , содержащемуся в области R , а также запись для отношения класса членов, которые имеют отношение R к некоторому элементу из β , к классу β , содержащемуся в конверсной области R . Для второй из них мы устанавливаем:

$$R_\epsilon = \hat{\alpha} \hat{\beta} \{ \alpha = \hat{x} \{ (\exists y) \cdot y \in \beta \cdot xRy \} \} \quad \text{Df.}$$

Поэтому

$$\vdash \cdot R_\epsilon^* \beta = \hat{x} \{ (\exists y) \cdot y \in \beta \cdot xRy \}.$$

Так, если R есть отношение отца к сыну, а β — это класс выпускников Итона, то $R_\epsilon^* \beta$ будет классом 'отцы выпускников Итона'; если R есть отношение 'меньше', а β — это класс правильных дробей формы $1-2^{-n}$ для целых значений n , то $R_\epsilon^* \beta$ будет классом дробей, меньших чем некоторая дробь формы $1-2^{-n}$; т.е. $R_\epsilon^* \beta$ будет классом правильных дробей.

Другое вышеупомянутое отношение есть $(\hat{R})_\epsilon$.

В качестве альтернативной записи, часто более удобной, мы устанавливаем:

$$R \hat{=} \beta = R \hat{=} \beta \quad \text{Df.}$$

Относительное произведение двух отношений R и S есть отношение, которое имеет место между x и z всегда, когда имеется элемент y , такой, что и xRy , и yRz имеют место. Относительное произведение обозначается как $R | S$. Так,

$$R | S = \hat{x} \hat{z} \{(\exists y) . xRy . yRz\} \quad \text{Df.}$$

Мы также устанавливаем:

$$R^2 = R | R \quad \text{Df.}$$

Часто требуются произведение и сумма класса классов. Они определяются следующим образом:

$$s \hat{=} \kappa = \hat{x} \{(\exists \alpha) . \alpha \in \kappa . x \in \alpha\} \quad \text{Df.}$$

$$p \hat{=} \kappa = \hat{x} \{\alpha \in \kappa . \supset_{\alpha} . x \in \alpha\} \quad \text{Df.}$$

Сходным образом для отношений мы устанавливаем:

$$s \hat{=} \lambda = \hat{x} \hat{y} \{(\exists R) . R \in \lambda . xRy\} \quad \text{Df.}$$

$$p \hat{=} \lambda = \hat{x} \hat{y} \{R \in \lambda . \supset_R . xRy\} \quad \text{Df.}$$

Нам нужна запись для классов, чьим единственным элементом является x . Пеано использует ιx , поэтому мы будем использовать $\iota'x$. Пеано показал (это подчёркивал и Фреге), что этот класс нельзя отождествить с x . При обычном взгляде на классы необходимость такого различия остаётся загадочной; но с точки зрения, выдвинутой выше, она становится очевидной.

Мы устанавливаем:

$$\iota = \hat{\alpha} \hat{x} \{\alpha = \hat{y} (y = x)\} \quad \text{Df.}$$

отсюда

$$\vdash . \iota'x = \hat{y} (y = x)$$

и

$$\vdash : \mathbf{E}! \iota' \alpha . \supset . \iota' \alpha = (\kappa)(x \in \alpha);$$

т.е. если α – это класс, который имеет только один элемент, то этим элементом является $\overset{\cup}{I} \alpha^{26}$.

Для класса классов, содержащихся в данном классе, мы устанавливаем:

$$Cl' \alpha = \hat{\beta} (\beta \subset \alpha) \quad \text{Df.}$$

Теперь мы можем перейти к рассмотрению кардинальных и ординальных чисел и того, как их затрагивает учение о типах.

IX. КАРДИНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Кардинальное число класса α определяется как класс всех классов, *сходных* с α ; два класса являются сходными, когда между ними имеется одно-однозначное отношение. Класс одно-однозначных отношений обозначается как $|\rightarrow|$ и определяется следующим образом:

$$|\rightarrow| = \hat{R} \{xRy \cdot x'Ry' \cdot xRy' \cdot \exists x, y, x', y' \cdot x = x' \cdot y = y'\} \quad \text{Df.}$$

Сходство обозначается как Sim и определяется так:

$$\text{Sim} = \hat{\alpha} \hat{\beta} \{(\exists R) \cdot R \in |\rightarrow| \cdot D'R = \alpha \cdot D'R = \beta\} \quad \text{Df.}$$

Тогда $\overset{\rightarrow}{\text{Sim}} \alpha$ есть, по определению, кардинальное число α ; его мы будем обозначать как $\text{Nc}' \alpha$; следовательно, мы устанавливаем:

$$\text{Nc} = \overset{\rightarrow}{\text{Sim}} \quad \text{Df.,}$$

отсюда

$$\vdash \cdot \text{Nc}' \alpha = \overset{\rightarrow}{\text{Sim}} \alpha.$$

Класс кардинальных чисел мы будем обозначать как NC ; таким образом,

$$\text{NC} = \text{Nc}' \text{'cls} \quad \text{Df.}$$

²⁶ Таким образом, $\overset{\cup}{I} \alpha$ есть то, что Пеано называет 1α .

0 определяется как класс, чьим единственным элементом является нуль-класс (т.е. Λ), поэтому

$$0 = t^* \Lambda \quad \text{Df.}$$

Определение 1 следующее:

$$1 = \hat{\alpha} \{(\exists c) : x \in \alpha . \equiv_x . x = c\} \quad \text{Df.}$$

Легко доказать, что, согласно определению, 0 и 1 являются кардинальными числами.

Однако необходимо отметить, что, согласно приведённым выше определениям, 0, 1 и все другие кардинальные числа являются неопределёнными символами типа *cls* и имеют столь много значений, сколько существует типов. Начнём с 0; значение 0 зависит от значения Λ , а значение Λ различается согласно типу, нуль-классом которого он является. Таким образом, существует столько же 0, сколько существует типов; то же самое применяется ко всем другим кардинальным числам. Тем не менее, если два класса α и β относятся к различным типам, мы можем говорить о них, как об имеющих одно и то же кардинальное число, или что один из них имеет кардинальное число большее, чем другой, поскольку одно-однозначное отношение может иметь место между элементами α и β даже тогда, когда α и β относятся к различным типам. Например, пусть β будет $t^* \alpha$, т.е. классом, чьими элементами являются классы, состоящие из единственного члена α . Тогда $t^* \alpha$ относится к более высокому типу, чем α , но подобно α , поскольку соотнесено с α посредством одно-однозначного отношения t .

Иерархия типов имеет важные следствия в отношении сложения. Предположим, у нас есть класс из α членов и класс из β членов, где α и β являются кардинальными числами; может случиться так, что их совершенно невозможно объединить, чтобы получить класс, состоящий из членов α и из членов β , поскольку, если классы не относятся к одному и тому же типу, их логическая сумма бессмысленна. Только там, где рассматриваемое число классов конечно, мы можем устранить практические следствия этого благодаря тому факту, что мы всегда можем применить к классу, который увеличивает свой тип до любой требуемой степени без изменения своего кардинального числа. Например, при любом классе α класс $t^* \alpha$ имеет то же самое кардинальное число, но относится к типу, идущему за α . Следовательно, для любого конечного числа классов различных типов мы можем увеличить все их до типа, который мы можем назвать наименьшим общим множителем всех рассмат-

риваемых типов; и можно показать, что это может быть сделано таким способом, что результирующие классы не будут иметь общих элементов. Затем мы можем образовать логическую сумму всех полученных таким образом классов, и её кардинальное число будет арифметической суммой кардинальных чисел изначальных классов. Но там, где у нас есть бесконечные последовательности классов восходящих типов, этот метод применить нельзя. По этой причине мы не можем доказать, что должны быть бесконечные классы. Ибо, предположим, что было бы вообще только n индивидов, где n – конечно. Тогда было бы 2^n классов индивидов, 2^{2^n} классов классов индивидов и т.д. Таким образом, кардинальное число членов каждого типа было бы конечно; и хотя эти числа превосходили бы любое заданное конечное число, не было бы способа сложить их так, чтобы получить бесконечное число. Следовательно, нам необходима (и, по всей видимости, так оно и есть) аксиома в том смысле, что ни один конечный класс индивидов не содержит все индивиды; однако, если кто-то отдаст предпочтение тому, что общее число индивидов в универсуме равно, скажем, 10367, то, по-видимому, нет априорного способа опровергнуть его мнение.

На основании предложенного выше способа рассуждения ясно, что доктрина типов избегает всех затруднений относительно наибольшего кардинального числа. Наибольшее кардинальное число есть в каждом типе; но его всегда превосходит кардинальное число следующего типа, поскольку, если α – кардинальное число одного типа, то кардинальное число следующего типа есть 2^α , которое, как показал Кантор, всегда больше чем α . Поскольку не существует метода сложения различных типов, мы не можем говорить о ‘кардинальном числе всех объектов каких бы то ни было типов’, и поэтому абсолютно наибольшего кардинального числа не существует.

Если принимается, что ни один конечный класс индивидов не содержит всех индивидов, отсюда следует, что существуют классы индивидов, имеющие любое конечное число. Следовательно, все конечные кардинальные числа имеют место как кардинальные числа индивидов; т.е. как кардинальные числа классов индивидов. Отсюда следует, что существует класс \aleph_0 кардинальных чисел, а именно класс конечных кардинальных чисел. Следовательно, \aleph_0 имеет место как кардинальное число класса классов классов индивидов. Образуя все классы конечных кардинальных чисел, мы находим, что 2^{\aleph_0} имеет место как кардинальное число класса классов классов классов индивидов; и так мы можем продолжать неопре-

делённо долго. Можно также доказать существование \aleph_n для каждого конечного n ; но это требует рассмотрения ординалов.

Если вдобавок к предположению, что ни один из конечных классов не содержит всех индивидов, мы предполагаем мультипликативную аксиому (т.е. аксиому, что для заданного множества взаимно исключающих классов, ни один из которых не является нулевым, есть по крайней мере один класс, включающий один элемент из каждого класса этого множества), то мы можем доказать, что существует класс, содержащий \aleph_0 элементов, так что \aleph_0 будет иметь место как кардинальное число индивидов. Это несколько уменьшает тип, до которого мы должны прийти, чтобы доказать теорему о существовании для любого заданного кардинального числа, но не даёт нам какой-либо теоремы о существовании, которая раньше или позже не может быть получена иначе.

Многие элементарные теоремы, включающие кардинальные числа, требуют мультипликативную аксиому²⁷. Необходимо отметить, что эта аксиома эквивалентна аксиоме Цермело²⁸ и, следовательно, допущению, что каждый класс может быть вполне упорядочен²⁹. Эти эквивалентные предпосылки, по-видимому, доказать невозможно, несмотря на то, что мультипликативная аксиома выглядит достаточно правдоподобной. В отсутствие доказательства, видимо, лучше не принимать мультипликативную аксиому как допущение, но устанавливать её как условие в каждом случае, в котором она используется.

Х. ОРДИНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

Ординальное число есть класс ординально сходных вполне упорядоченных рядов, т.е. отношений, образующих такие ряды. Ординальное сходство, или *подобие*, определяется следующим образом:

²⁷ Ср.: часть III моей статьи 'On some Difficulties in the Theory of Transfinite Numbers and Order Types', *Proc. London Math. Soc.* Ser. II, Vol. IV, Part I.

²⁸ Об аксиоме Цермело и о доказательстве того, что эта аксиома влечёт мультипликативную аксиому см. предыдущую сноску. Обратный вывод выглядит так: Обозначим как Prod^*k мультипликативный класс k , рассмотрим

$$Z^*\beta = \hat{R} \{(\exists x) . x \in \beta . D^*R = t^*\beta . [D]^*R = t^*x\} \text{ Df.}$$

и предположим, что

$$\gamma \in \text{Prod}^*Z^*cl^*a . R = \hat{\xi} \hat{X} \{(\exists S) . S \in \gamma . \xi Sx\}.$$

Тогда R – это соответствие Цермело. Следовательно, если $\text{Prod}^*Z^*cl^*a$ не является нулевым, то для a существует по крайней мере одно соответствие Цермело.

²⁹ См.: Zermelo, 'Beweis, dass jede Menge wohlgeordnet werden kann'. *Math. Annalen*, Vol. LIX, S.514–16.

$$\text{Smor} = \hat{P} \hat{Q} \{(\exists S) . S \in 1 \rightarrow 1 . [D] S = C'Q . P = S | Q | \hat{S}\} \text{ Df.},$$

где ‘Smor’ есть сокращение для ‘сходны ординально’.

Класс отношений ряда, которые мы будем называть ‘Ser’, определяется так:

$$\text{Ser} = \hat{P} \{xPy . \supset_{x,y} . \sim (x = y) : xPy . yPz . \supset_{x,y,z} . xPz : x \in C'P . \supset_x . \vec{P}'x \cup \leftarrow{P}'x = C'P\} \text{ Df.}$$

Т.е. если читать P как ‘предшествует’, то отношение является отношением ряда, если: (1) нет ни одного элемента, предшествующего самому себе; (2) предшественник предшественника есть предшественник; (3) если x есть какой-то член поля отношения, то предшественники x вместе с x в совокупности с его предшественниками образуют всё поле отношения.

Вполне упорядоченные отношения ряда, которые мы будем называть Ω , определяются следующим образом:

$$\Omega = \hat{P} \{P \in \text{Ser} : \alpha \subset C'P . \exists ! \alpha . \supset_{\alpha} . \exists ! (\alpha - \vec{P}'\alpha)\} \text{ Df.};$$

т.е. P порождает вполне упорядоченные ряды, если P есть отношение ряда, и любой класс α , содержащийся в поле P и не являющийся нулевым, имеет первый член. (Отметим, что $\vec{P}'\alpha$ суть члены, входящие после некоторого члена α).

Если как $No'P$ обозначить ординальное число вполне упорядоченного отношения P , а как NO класс ординальных чисел, то мы получим:

$$No = \hat{\alpha} \hat{P} \{P \in \Omega . \alpha = \vec{Smor}'P\} \text{ Df.},$$

$$NO = No'\Omega.$$

Из определения No мы получаем:

$$\vdash : P \in \Omega . \supset . No'P = \vec{Smor}'P,$$

$$\vdash : \sim (P \in \Omega) . \supset . \sim E! No'P.$$

Если теперь мы проверим наши определения с точки зрения их связи с теорией типов, мы увидим, прежде всего, что определения ‘Ser’ и Ω включают поля отношений ряда. Поле же значимо только тогда, когда

отношение является однородным; следовательно, отношения, которые не являются однородными, не порождают ряд. Например, можно подумать, что отношение ι порождает ряд ординального числа ω типа

$$x, \iota'x, \iota'\iota'x, \dots \iota^n x, \dots,$$

и этим способом мы можем попытаться доказать существование ω и \aleph_0 . Но x и $\iota'x$ относятся к различным типам, и, следовательно, согласно нашему определению, такого ряда нет. Ординальное число ряда индивидов, согласно приведённому выше определению \aleph_0 , есть класс отношений индивидов. Следовательно, он по типу отличается от любого индивида, и не может образовывать часть какого-то ряда, в котором встречаются индивиды. Опять же, предположим, что все конечные ординалы имеют место как ординальные числа индивидов; т.е. как ординалы рядов индивидов. Тогда конечные ординалы сами образуют ряд, чьё ординальное число есть ω ; таким образом, ω существует как ординальное число ординалов, т.е. как ординал ряда ординалов. Но тип ординального числа ординалов – это тип классов отношений классов отношений индивидов. Таким образом, существование ω доказывалось в рамках более высокого типа, чем тип конечных ординалов. Опять-таки, кардинальное число ординальных чисел вполне упорядоченного ряда, который может быть создан из конечных ординалов, есть \aleph_1 ; следовательно, \aleph_1 имеет место в типе классов классов классов отношений классов отношений индивидов. К тому же ординальные числа вполне упорядоченных рядов, составленных из конечных ординалов, могут быть упорядочены в порядке величины, и результатом будет вполне упорядоченный ряд, ординальное число которого есть ω_1 . Следовательно, ω_1 имеет место как ординальное число ординалов ординалов. Этот процесс можно повторить любое конечное число раз и, таким образом, мы можем в соответствующих типах установить существование \aleph_n и ω_n для любого конечного значения n .

Но вышеуказанный процесс порождения более не ведёт к какой-то целостности *всех* ординалов, поскольку, если мы возьмём все ординалы какого-то заданного типа, всегда существуют более высокие ординалы в более высоких типах; и мы не можем объединить множество ординалов, тип которого превышает любую конечную границу. Таким образом, ординалы в каком-то типе могут быть упорядочены в порядке величины во вполне упорядоченный ряд, который имеет ординальное число более высокого типа, чем тип ординалов, составляющих ряд. В новом типе этот новый ординал не является наибольшим. Фактически не существу-

ет наибольшего ординала в каком-то типе, но в каждом типе все ординалы меньше, чем некоторый ординал более высокого типа. Невозможно завершить ряд ординалов, поскольку это приводило бы к типам, превышающим каждую приписываемую конечную границу; таким образом, хотя каждый сегмент ряда ординалов вполне упорядочен, мы не можем сказать, что вполне упорядочен весь ряд, поскольку 'весь ряд' является фикцией. Следовательно, парадокс Бурали-Форти исчезает.

Из двух последних разделов обнаруживается, что если принять, что число индивидов не является конечным, то можно доказать существование всех канторовских кардинальных и ординальных чисел, за исключением \aleph_ω и ω_ω . (Хотя вполне возможно, чтобы их существование было доказуемым.) Существование всех конечных кардинальных и ординальных чисел можно доказать без предпосылки о существовании чего бы то ни было. Ибо, если кардинальное число членов в каком-то типе есть n , число членов в следующем типе есть 2^n . Таким образом, если бы индивидов не существовало, то был бы один класс (а именно нуль-класс), два класса классов (а именно тот, что не содержит классов, и тот, что содержит нуль-класс), четыре класса классов классов, и в общем 2^{n-1} классов n -го порядка. Но мы не можем объединить члены различных типов и поэтому не можем этим способом доказать существование какого-то бесконечного класса.

Теперь мы можем подвести итог всему рассмотрению. После установления некоторых парадоксов логики, мы нашли, что все они вырастают из того факта, что выражение, указывающее на *всё* из некоторой совокупности, по-видимому, обозначает само себя как одно из этой совокупности; как, например, 'все пропозиции являются либо истинными, либо ложными' само, по видимости, является пропозицией. Мы решили, что там, где это, судя по всему, встречается, мы имеем дело с ложной целостностью, и что фактически ничего вообще нельзя значимо сказать обо *всём* из предполагаемой совокупности. Чтобы дать ход этому решению, мы объяснили доктрину типов переменных, придерживающуюся принципа, что любое выражение, которое указывает на *всё* из некоторого типа, должно, если оно что-либо обозначает, обозначать нечто более высокого типа, чем всё то, на что оно указывает. Там, где указывается на всё из некоторого типа, есть *мнимая переменная*, принадлежащая этому типу. Таким образом, *любое выражение, содержащее мнимую переменную, относится к более высокому типу, чем эта переменная*. Это – фундаментальный принцип доктрины типов. Изменение в способе, которым конструируются типы, (это следует доказать с необходимостью) оставило бы решение противоречий незатронутым до тех пор, пока соблюдается этот фундаментальный принцип. Метод конструиро

вания типов, объяснённый выше, продемонстрировал нам, как возможно установить все фундаментальные определения математики и в то же время избежать всех известных противоречий. И оказалось, что на практике доктрина типов уместна лишь там, где затрагиваются теоремы о существовании, или там, где необходимо перейти к некоторому частному случаю.

Теория типов ставит ряд трудных философских вопросов, касающихся её интерпретации. Однако эти вопросы, в сущности, отделены от математического развития этой теории и подобно всем философским вопросам вводят элемент неопределённости, который не относится к самой теории. Следовательно, по-видимому, лучше формулировать эту теорию без ссылки на философские вопросы, оставляя их для независимого исследования.

ФРЭНК ПЛАМТТОН РАМСЕЙ**КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ О
«ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКОМ ТРАКТАТЕ» Л. ВИТГЕНШТЕЙНА***

Это – наиболее важная книга, содержащая оригинальные идеи в широком диапазоне тем и образующая согласованную систему, которая, вне зависимости от того, дала ли она, по существу, окончательное решение проблем, как утверждает её автор, вызывает экстраординарный интерес и заслуживает внимания всех философов. И даже если эта система вместе с тем ненадёжна, книга содержит огромное количество глубоких *obiter dicta* и критику других теорий. Её, однако, очень трудно понять, несмотря на тот факт, что она напечатана с английским переводом, параллельным немецкому тексту на противоположной стороне страницы. М-р Витгенштейн пишет не последовательной прозой, но короткими афоризмами, пронумерованными с тем, чтобы подчеркнуть их важность в его экспозиции. Это придаёт его работе прелесть, свойственную афоризмам, и, вероятно, делает её более точной в деталях, поскольку каждое предложение должно заслуживать отдельного рассмотрения. Но, по-видимому, это предохраняет его от того, чтобы дать адекватное объяснение многим из его технических терминов и идей, вероятно, потому, что объяснение, если стремиться к тщательности рассмотрения, требует некоторой жертвенности.

Этот недостаток отчасти скомпенсирован *Введением* м-ра Рассела. Но, возможно, и м-р Рассел не является столь уж непогрешимым гидом в том, что подразумевает м-р Витгенштейн. «Чтобы понять книгу м-ра Витгенштейна, – говорит м-р Рассел, – необходимо осознать проблему, которая его занимает. В разделе своей теории, посвящённом символизму, он рассматривает условия, которые должны были бы соблюдаться логически совершенным языком». Это, по-видимому, является весьма сомнительным обобщением. Действительно, есть пассажи, в которых м-р Витгенштейн явно имеет дело с логически совершенным, а не с любым языком, например, при обсуждении ‘логического синтаксиса’ в 3.325 и далее. Но, в общем, он, по-видимому, утверждает, что его доктрины применимы к обычным языкам, несмотря на видимость противоположного (см. особенно 4.002 и далее). Последнее, очевидно, составляет важный пункт, ибо это более широкое применение в высшей

* *Ramsey F.P. Critical Notice of L. Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus // Ramsey F.P. The Foundation of Mathematics and other Logical Essays. – Routledge and Kegan Paul, London, 1931, P. 270–286.*

степени повышает интерес и уменьшает привлекательность любого тезиса, типа того, который м-р Рассел провозглашает наиболее фундаментальным в теории м-ра Витгенштейна: «Чтобы некоторое предложение могло утверждать некоторый факт, должно быть нечто общее – как бы ни был построен язык – между структурой предложения и структурой факта».

Эта доктрина зависит от сложных понятий ‘образа’ и его ‘формы отображения’, которые я сейчас попытаюсь объяснить и критически рассмотреть.

Образ есть факт, факт, что его элементы скомбинированы один с другим определённым способом. Эти элементы скоординированы с определёнными объектами (конституентами факта, образом которого является данный образ). Эти координации конституируют отношение отображения, которое делает образ образом. Данное отношение отображения “принадлежит образу” (2.1513). Последнее, я думаю, подразумевает, что где бы мы ни говорили об образе, мы имеем в виду некоторое отношение отображения, посредством которого он является образом. При этих обстоятельствах мы говорим, что образ отображает то, что объекты скомбинированы один с другим как элементы образа, и это есть смысл данного образа. И, я думаю, это должно рассматриваться как определение ‘отображает’ и ‘смысла’. Иными словами, когда мы говорим, что образ отображает то, что определённые объекты скомбинированы определённым способом, мы подразумеваем просто то, что элементы образа скомбинированы этим способом и скоординированы с объектами посредством отношения отображения, которое принадлежит образу. (Я думаю, что это определение следует из 5.542.)

На ‘форму отображения’ могут пролить свет следующие замечания, сделанные ранее в рассматриваемой книге о структуре и форме фактов. «Тот способ, каким связываются объекты в атомарном факте, есть структура атомарного факта. Форма есть возможность структуры. Структура факта состоит из структур атомарных фактов» (2.032, 2.033, 2.034). Единственно важный момент, который я могу увидеть в разведении структуры и формы, состоит в том, что введение ‘возможности’ допускает случай, при котором якобы утверждаемый факт, чью форму мы рассматриваем, не является фактом, так что мы можем говорить о форме факта aRb вне зависимости от того, является ли aRb истинным, при условии, что он является логически возможным. К сожалению, данные выше определения не проясняют, могут ли два факта иметь одну и ту же структуру или одну и ту же форму. Всё выглядит так, как если бы два атомарных факта вполне могли бы иметь одну и ту же структуру в виду того, что объекты связаны вместе одним и тем же способом в каждом из них. Но из замечаний, следующих ниже, кажется, что структура

факта – это не просто способ, которым объекты связаны вместе, но также зависит от того, чем являются объекты, так что два различных факта никогда не обладают одной и той же структурой.

Образ есть факт и как таковой имеет структуру и форму. Однако в 2.15 и 2.151 мы задаём следующие новые определения его ‘структуры’ и его ‘формы отображения’: «То, что элементы образа соединяются друг с другом определённым способом, показывает, что так же соединяются друг с другом и вещи. Эта связь элементов образа называется его структурой, а возможность этой структуры – формой отображения этого образа. Форма отображения есть возможность того, что предметы соединены друг с другом так же, как элементы образа». Это пассаж загадочен, во-первых, потому, что у нас здесь есть два различных определения формы отображения, и во-вторых, в виду отсутствия очевидности, как интерпретировать “эта связь” в первом из двух определений. Последнее может указывать на определённый способ, которым соединены элементы, или на всё предшествующее предложение, т.е. “эта связь элементов” может заключаться в том, что их соединение отображает сходное соединение вещей. По-видимому, ни по одной интерпретации первое определение не совпадает со вторым. Мы можем только попытаться выбрать одно из этих возможных значений ‘формы отображения’, рассматривая вещи, о которых говорит м-р Витгенштейн. Её главное свойство, которое придаёт ей фундаментальную важность в его теории, содержится в том, что утверждается в 2.17: «То, что образ должен иметь общим с действительностью, чтобы он мог отображать её на свой манер – правильно или ложно, – есть его форма отображения». И далее: «То, что каждый образ, какой бы формы он ни был, должен иметь общим с действительностью, чтобы он вообще мог её отображать – правильно или ложно, – есть логическая форма, т.е. форма действительности. Если форма отображения является логической формой, то образ называется логическим. Каждый образ есть *также* логический образ. (Напротив, не каждый образ есть, например, пространственный образ.)» (2.18, 2.181, 2.182). Тогда, представляется, что образ может иметь несколько форм отображения, но один из них должен быть *определённой* логической формы. И при этом не утверждается, что образ должен иметь ту же самую логическую форму, как и то, что он отображает, но что все образы должны иметь определённую логическую форму. Это также делает более правдоподобным вывод, что логическая форма отображения не может быть отображена, ибо то, что было общим у одного образа и реальности, не может предоставить основания для предположения, что оно не может быть отображено в другом образе.

Итак, мы можем легко увидеть смысл, в котором образ может иметь пространственную и должен иметь логическую форму, а именно рассматривая форму, являющуюся способом (или возможностью способа), которым соединены элементы образа. (Одна из интерпретаций первого определения, данного выше.) Этот смысл может быть логическим, когда цвет участков на карте отображает высоту над уровнем моря соответствующих участков страны. Элементы образа соединены как предикат и субъект, и это отображает, что соответствующие вещи также соединены как предикат и субъект. С другой стороны, форма может быть пространственной, когда одна точка, будучи расположенной между двумя другими точками, отображает, что определённый город расположен между двумя другими городами. Но в этом случае мы можем также рассматривать *расположенность-между* не как способ, которым соединены точки, но как другой элемент образа, который соответствует самому себе. Тогда поскольку *расположенность-между* и точки соединены не пространственно, но как трёхместное отношение и его члены, т.е. логически, то форма является логической. Тогда здесь мы получаем нечто такое, что может быть пространственным и к тому же должно быть логическим. Но отсюда не следует, что последнее есть форма отображения, ибо форма отображения может быть несколько более усложнённой сущностью, включающей это последнее, а потому, производно, пространственной или логической. Если же на самом деле изложенное выше и есть то, что подразумевалось формой отображения, тогда, говоря об образе, что он должен иметь логическую форму, м-ру Витгенштейну следовало бы сказать не более того, что он должен быть фактом. И говоря это, мы можем отобразить логическую форму отображения или сказать о ней ничуть не больше, чем мы можем говорить о том, что делает факт фактом, или, наконец, говорить о фактах вообще, поскольку каждое высказывание, кажущееся высказыванием о фактах, на самом деле говорит об их конституентах. В этом он действительно уверен, но, как мне кажется, маловероятно, что его трудные для понимания суждения о форме отображения сводятся только к этому. Вероятно, он использует этот термин путано и непоследовательно, и если мы вернёмся ко второму из данных выше определений («Форма отображения есть возможность того, что предметы соединены друг с другом так же, как элементы образа.»), мы можем обнаружить другой смысл, в котором образ имеет общую форму отображения с изображаемым, а именно, что вещи, с которыми соотнодированы его элементы посредством отношения отображения, относятся к той разновидности, что они *могут* быть соединены тем же самым способом, как и элементы образа. Так мы приходим к важному принципу, что «образ содержит возможность того

положения вещей, которое он изображает» (2.203). По причинам, объяснённым ниже, мне кажется, что непредубеждённое принятие этого принципа будет оправдывать почти все не относящиеся к мистическому выводы, которые м-р Витгенштейн делает из необходимости наличия чего-то общего между образом и миром, чего-то такого, что само не может быть отображено. И эти выводы могут быть даны, таким образом, на более строгом основании, чем то, что обеспечивается природой ускользающей сущности, формой отображения, которую, по сути, невозможно обсуждать.

Чтобы получить какое-то дальнейшее понимание того, что думает м-р Витгенштейн, или что, в действительности, говорит большая часть его книги, о том, что предложение должно иметь общим с фактом, который оно утверждает, необходимо понять его употребление слова 'пропозиция'. Я думаю, это легко сделать введением двух терминов, используемых Ч.С. Пирсом. Один из них – это словосочетание, употребляемое в том смысле, в котором существует множество определённых артиклей на странице, которое он называет 'случаем употребления', и все из этого множества случаев употребления являются примерами одного типа, примерами определённого артикля. Помимо определённого артикля есть другие слова, которые имеют эту двусмысленность, связанную с типом и случаями употребления. Так, ощущение, мысль, эмоция или идея могут быть либо типом, либо случаем употребления. И использование м-ром Витгенштейном слова 'пропозиция' в противовес, например, его использованию м-ром Расселом в *Principles of Mathematics* также имеет эту двусмысленность.

Пропозициональный знак есть предложение; но это высказывание должно быть сделано с оговоркой, ибо под 'предложением' может подразумеваться нечто той же самой природы, как и слова, из которых оно составлено. Но пропозициональный знак сущностно отличается от слова, поскольку он является не объектом или классом объектов, а фактом, что «его элементы, слова, соединяются в нём определённым образом» (3.14). Таким образом, 'пропозициональный знак' обладает двусмысленностью, связанной с типом и случаями употребления. Случаи употребления (как случаи употребления любого знака) группируются в типы по физическому сходству (и по основанной на соглашении ассоциации определённых звуков с определёнными очертаниями), так же как примеры слов. Но пропозиция есть тип, чьи примеры состоят из всех случаев употребления пропозициональных знаков, которые общим имеют не определённое проявление, но определённый *смысл*.

Что касается отношения между пропозицией и мыслью, здесь у м-ра Витгенштейна скорее нет ясности. Но я думаю, он подразумевает,

что мысль есть тип, случаи употребления которого имеют общим определённый смысл, и который включает случаи употребления соответствующей пропозиции, а также включает другие невербальные случаи употребления. Невербальные случаи употребления, по существу, однако, не отличаются от вербальных, так что вполне достаточно рассмотреть последние. Он говорит: «Но ясно, что “*A* верит, что *p*”, “*A* мыслит *p*”, “*A* говорит *p*” являются предложениями формы “‘*p*’ говорит *p*”» (5.542), – и, таким образом, явно сводит вопрос относительно анализа суждения, на который м-р Рассел в разное время давал разные ответы, к вопросу “Что значит для случая употребления пропозиции иметь определённый смысл?” Это сведение кажется мне важным улучшением и, поскольку вопрос, к которому оно ведёт, имеет фундаментальную важность, я предлагаю тщательно исследовать, что, отвечая на него, говорит м-р Витгенштейн.

Во-первых, нужно отметить, что если мы сможем ответить на наш вопрос, мы, между прочим, решим проблему истины или, скорее, станем очевидным, что такой проблемы нет. Ибо если мысль или случай употребления пропозиции ‘*p*’ говорит *p*, то она называется истинной, если *p*, и ложной, если $\sim p$. Мы можем сказать, что она является истинной, если её смысл согласуется с реальностью или если возможное состояние дел, которое она отображает, является действительным состоянием дел. Но эти формулировки только выражают данное выше определение другими словами.

Согласно м-ру Витгенштейну, случай употребления пропозиции есть логический образ, и поэтому его смысл был бы задан определением смысла образа. Соответственно, смысл пропозиции состоит в том, что вещи, обозначаемые её элементами (словами), соединены одна с другой тем же самым способом, как и сами её элементы, т.е. логически. Но очевидно, это определение, говоря без преувеличений, очень неполно. Оно может применяться буквально только в одном случае, в случае полностью проанализированной пропозиции. (Следует объяснить, что элементарная пропозиция – это пропозиция, которая утверждает существование атомарного факта, и что случай употребления пропозиции полностью проанализирован, если в нём есть элемент, соответствующий каждому объекту, входящему в его смысл.) Так, если ‘*a*’ обозначает *a*, ‘*b*’ обозначает *b*, а ‘*R*’ (или более точно – отношение, которое мы устанавливаем между ‘*a*’ и ‘*b*’, записывая ‘*aRb*’) обозначает *R*, тогда то, что ‘*a*’ находится в этом отношении к ‘*b*’, говорит, что *aRb*, и это есть смысл пропозиции. Но эта простая схема должна быть, очевидно, изменена, если, например, одно слово используется для ‘иметь *R* к *b*’, так что пропозиция не полностью проанализирована, или если мы имеем дело с

более усложнённой пропозицией, содержащей логические константы типа 'не' и 'если', которые не отображают объектов по типу имён. М-р Витгенштейн не вполне проясняет, как он предполагает иметь дело как с тем, так и с другим затруднением. Относительно первого, которое он почти игнорирует, он может резонно сослаться на то, что оно вытекает из чудовищной усложнённости разговорного языка, которую нельзя разрешить *a priori*, ибо в совершенном языке все пропозиции были бы полностью проанализированы за исключением тех случаев, когда мы определили, какое место знак занимает в ряду простых знаков. Тогда, как он говорит, определяемый знак обозначал бы *через* знаки, посредством которых он определён. Но другое затруднение следует рассмотреть непосредственно, поскольку нас не может удовлетворить теория, имеющая дело только с элементарными пропозициями.

Смысл пропозиций, в общем, объясняется ссылкой на элементарные пропозиции. В отношении n элементарных пропозиций существует 2^n возможностей их истинности и ложности, которые называются истинностными возможностями элементарных пропозиций. Сходным образом существует 2^n возможностей существования и несуществования соответствующих атомарных фактов. М-р Витгенштейн говорит, что любая пропозиция есть выражение согласования и несогласования с истинностными возможностями определённых элементарных пропозиций и её смысл есть её согласование и несогласование с возможностями существования и несуществования соответствующих атомарных фактов (4.4, 4.2).

Это иллюстрируется следующим способом записи для истинностных функций. *И* обозначает истину, *Л* обозначает ложь, и мы записываем четыре возможности для двух элементарных пропозиций так:

<i>p</i>	<i>q</i>
<i>И</i>	<i>И</i>
<i>Л</i>	<i>И</i>
<i>И</i>	<i>Л</i>
<i>Л</i>	<i>Л</i>

Теперь, ставя *И* напротив возможностей для согласования и оставляя пробел для несогласования, мы можем выразить, например, $p \supset q$ следующим образом:

p	q	
I	I	I
L	I	I
I	L	
L	L	I

Или, применяя принятый по соглашению порядок для возможностей, $(III-I)(p, q)$. Очевидно, что эта запись ни в коем случае не требует, чтобы p и q были элементарными пропозициями. Таким образом, p и q могут быть заданы не перечислением, но как все значения пропозициональной функции, т.е. всех пропозиций, содержащих определённое выражение (определяемое как «каждая часть предложения, характеризующая его смысл» (3.31)), и $(-----I)(\xi)$, где единственное I выражает согласование только с возможностью того, что все аргументы являются ложными, и ξ есть множество значений $f^{\wedge}x$, что обычно записывается как $\sim:(\exists x).fx$. Поэтому каждая пропозиция является истинностной функцией элементарных пропозиций и множество по-разному сконструированных пропозициональных знаков представляют собой одну и ту же пропозицию, поскольку, выражая согласование и несогласование с одними и теми же истинностными возможностями, они имеют один и тот же смысл и являются одной и той же истинностной функцией элементарных пропозиций. Так, $q \supset p : \sim q \supset p$ и $\sim(\sim p \vee \sim p)$ суть то же самое, что и p . Это ведёт к крайне простой теории вывода. Если мы называем те истинностные возможности, с которыми согласуется пропозиция, основаниями её истинности, то q следует из p , если основания истинности p содержатся среди оснований истинности q . В этом случае м-р Витгенштейн также говорит, что смысл q содержится в смысле p , что в утверждении p мы между тем утверждаем q . Я думаю, что это высказывание на самом деле есть определение содержащихся, как считается, смыслов и объёма значения утверждения, отчасти соответствующее обычному употреблению, которое, вероятно, согласовывает $p \cdot q$ и p или $(x).fx$ и fa , но не наоборот.

Есть два крайних случая, имеющих большое значение. Если мы выражаем несогласование со всеми истинностными возможностями, мы получаем *противоречие*, если согласование со всеми ними, то *тавтологию*, которая не говорит ничего. Пропозиции логики являются тавтологиями. И то, что эта их сущностная характеристика становится ясной, значительное достижение.

Теперь мы должны рассмотреть, является ли изложенное выше адекватным рассмотрением того, что значит для случая употребления

пропозиции иметь определённый смысл. И мне кажется, что это определённо не так. Ибо на самом деле это только предусматривает, какие смыслы есть, но не то, какой именно пропозициональный знак какой именно имеет смысл. Это позволяет нам вместо “ p ” говорить p ” представлять “ p ” выражает согласование с одними истинностными возможностями и несогласование с другими”. Но последняя формулировка не может рассматриваться как окончательный анализ первой, и она, вообще-то, не проясняет, как продолжать дальнейший анализ. Следовательно, мы должны где-то ещё искать ответ на наш вопрос. Касательно этого ответа м-р Витгенштейн предельно ясен. В 5.542 он говорит, что в “ p ” говорит p ” мы имеем координацию фактов посредством координации их объектов. Но это рассмотрение неполно, поскольку смысл не полностью определяется объектами, которые в него входят. И пропозициональные знаки не вполне определены входящими в них именами, ибо в них могут также встречаться логические константы, которые не соотношены с объектами и дополняют смысл способом, остающимся неясным.

Если бы мы имели дело только с логическим символизмом, я не думаю, что здесь были бы какие-то затруднения. Ибо помимо вариаций в используемых именах существовали бы правила, задающие все пропозициональные знаки, которые в этом символизме имеют определённый смысл, и мы могли бы дополнить определение ‘смысла’ добавлением к нему этих правил. Так, “ p ” говорит, что $\sim aRb$ ” анализировалось бы (предположим, что мы имеем дело с символизмом *Principia Mathematica*) следующим образом: Назовём какое-то значение a как ‘ a ’ и т.д. и назовём ‘ a ’ ‘ R ’ ‘ b ’ как ‘ q ’. Тогда ‘ p ’ есть ‘ $\sim q$ ’, или ‘ $\sim\sim q$ ’, или ‘ $\sim q \vee \sim q$ ’, или любые другие символы конструировались бы согласно определённым правилам. (Можно, конечно, сомневаться в способности сформулировать это правило, что, по-видимому, предполагается целостностью символической логики. Но в любой совершенной записи это должно быть возможным, например, в нотации м-ра Витгенштейна с I и L затруднений не было бы.) Но, очевидно, этого недостаточно. Это давало бы не анализ ‘ A утверждает p ’, но только ‘ A утверждает p , используя такую-то и такую-то логическую запись’. Но мы, конечно же, знаем, что у китайца есть определённое мнение, даже если он не имеет представления об используемой им логической записи. Очевидно также, что осмысленное высказывание об использовании немцем ‘nicht’ для нет становится частью определения таких слов, как ‘верит’ и ‘думает’, когда они используются в немецком языке.

Очень сложно обойти это затруднение. Один способ, вероятно, можно найти в предположении м-ра Рассела в его книге *Analysis of Mind*

(стр. 250), что могут быть особые ощущения уверенности, входящие в дизъюнкцию и импликацию. Тогда логические константы были бы значимы как подстановки вместо этих чувств. Но всё выглядит так, как если бы м-р Витгенштейн был уверен в другом решении, выходящем за его более раннее высказывание, что смысл образа есть то, что вещи соединены одна с другой как элементы образа. Естественная интерпретация этого в нашем нынешнем контексте состоит в том, что мы можем только отобразить, что a не имеет определённого отношения к b , отмечая, что ' a ' не имеет определённого отношения к ' b ', или, в общем, что только отрицательный факт может утверждать отрицательный факт, только имплицитивный факт – имплицитивный факт и т.д. Это – абсурдно и, очевидно, не то, что он имеет в виду, но, по-видимому, он считает, что случай употребления пропозиции имеет сходство со своим смыслом каким-то таким способом. Так, он говорит: «То, что отрицает в ' $\sim p$ ', есть, однако, не ' \sim ', но то, что является общим для всех знаков этого способа записи, отрицающих p . Отсюда общее правило, по которому образуются ' $\sim p$ ', ' $\sim\sim p$ ', ' $\sim p \vee \sim p$ ' и т.д. (до бесконечности). И это общее вновь отражает отрицание» (5.512). Я не могу понять, как это отражает отрицание. Это определённно не осуществляется простым методом, в котором конъюнкция двух пропозиций отражает конъюнкцию их смыслов. Различие между конъюнкцией и другими истинностными функциями можно усмотреть в том факте, что верить в p и q значит верить в p и верить в q . Но верить в p или q – это не то же самое, что верить в p или верить в q , как не одно и то же верить в не- p и не верить в p .

Теперь мы должны обратиться к одной из наиболее интересных теорий м-ра Витгенштейна, согласно которой существуют определённые вещи, которые не могут быть высказаны, но только показаны, и они образуют *Мистическое*. Причина, по которой они не могут быть высказаны, состоит в том, что они имеют дело с логической формой, общей для пропозиций и реальности. Сорт вещей, которыми они являются, объясняется в 4.122: «Мы можем говорить в некотором смысле о формальных свойствах объектов и атомарных фактов, или о свойствах структуры фактов, и в этом же смысле – о формальных отношениях и отношениях структур. (Вместо 'свойство структуры' я также говорю 'внутреннее свойство'; вместо 'отношения структур' – 'внутреннее отношение'. Я привожу эти выражения, чтобы показать причину очень распространённого у философов смешения внутренних отношений и собственно (внешних) отношений)». Существование подобных внутренних свойств и отношений не может, однако, утверждаться предложениями, но оно проявляется в предложениях, которые изображают факты и говорят о рассматриваемых объектах». Как я уже говорил, мне

не кажется, что природа логической формы совершенно ясна, для того чтобы обеспечить какие-то убедительные аргументы в пользу таких выводов, я думаю, что лучшее введение в трактовку внутренних свойств может быть задано следующим критерием: «Свойство является внутренним, если нелегко, что его объект им не обладает» (4.123).

В этом принципе м-ра Витгенштейна, в случае его истинности, важным открытием является то, что каждая подлинная пропозиция утверждает нечто возможное, но не необходимое. Это вытекает из его рассмотрения пропозиции как выражения согласования и несогласования с истинностными возможностями независимых элементарных пропозиций, так что единственная необходимость – это необходимость тавтологий, а единственная невозможность – эта невозможность противоречий. Придерживаться этой точки зрения довольно трудно, ибо м-р Витгенштейн признаёт, что точка в зрительном поле *не может* быть и красной, и синей. Действительно, в противном случае, поскольку он считает, что индукция не имеет логического основания, у нас не было бы причин считать, что мы не можем достичь визуальной точки, которая является и красной, и синей. Следовательно, он говорит, что “Это и красное, и синее” есть противоречие. А из последнего вытекает, что кажущиеся простыми понятия красного и синего цвета (допустим, мы подразумеваем за этими словами отличающиеся друг от друга оттенки) на самом деле являются комплексными и формально несовместимыми. Он пытается показать, как это возможно, анализируя их с точки зрения колебательных движений. Но даже предполагая, что физик таким образом обеспечивает анализ того, что мы подразумеваем под ‘красное’, м-р Витгенштейн только сводит это затруднение к затруднению с *необходимыми* свойствами пространства, времени и материи или чего-то ещё. Он явно ставит это в зависимость от *невозможности* частицы быть в двух местах одновременно. Эти необходимые свойства пространства и времени едва ли можно подвергнуть дальнейшей редукции такого рода. Например, рассмотрим *расположенность-между* с точки зрения пространства и времени: если *B* расположено между *A* и *D*, а *C* – между *B* и *D*, тогда *C* должна быть расположена между *A* и *D*. Но трудно представить, каким образом это может быть формальной тавтологией.

Но относительно не всех кажущихся необходимыми истин предполагается (или предполагается м-ром Витгенштейном), что они являются тавтологиями. Есть также внутренние свойства, относительно которых невозможно представить, что объекты их не предполагают. Предложения, по видимости, утверждающие такие свойства объектов, считаются м-ром Витгенштейном бессмысленными, но находятся в некоторых неясных отношениях к чему-то невыразимому. В пользу того, что эти по-

следние бессмысленны, говорит его аргумент, что то, что они стремятся утверждать, утверждать нельзя. Но, мне кажется, можно привести аргументы, почему эти предложения являются бессмысленными, и дать общий анализ их источника и мнимой осмысленности, который не имеет мистических следствий.

Предложения этого вида, которые мы называем ‘псевдопропозициями’, возникают разными способами, зависящими от нашего языка. Одним источником является грамматическая необходимость в таких существительных, как ‘объект’ и ‘вещь’, которые в отличие от обычных общих существительных не соответствуют пропозициональным функциям. Так, из ‘Это – красный объект’, как кажется, следует псевдопропозиция ‘Это – объект’, которая в символизме *Principia Mathematica* вообще не может быть записана. Но наиболее общим и наиболее важным источником является подстановка имён или условных имён вместо дескрипций. (Я употребляю выражение ‘условное имя’, чтобы использовать ‘ p ’ как выражение для данного смысла p , в противовес описанию этого смысла по типу ‘то, что я сказал’.) Обычно это оправданно, ибо, если у нас есть пропозициональная схема, содержащая пробелы, значение схемы, когда пробелы заполняются дескрипциями, предполагает, в общем-то, тот смысл, когда они заполняются именами вещей, соответствующих дескрипциям. Так, анализом ‘Это ϕ есть красное’ является ‘Существует одна и только одна вещь, которая есть ϕ , и она является красной’, и вхождение в последнее высказывание ‘Она является красной’ показывает, что смысл нашей пропозиции предполагает смысл ‘ a есть красное’, где a относится к типу ϕ . Но иногда это не тот случай, поскольку пропозиция, содержащая дескрипцию, должна анализироваться несколько иначе. Так ‘ ϕ существует’ не является ‘Существует одна и только одна вещь, которая есть ϕ , и она существует’, но просто ‘Существует одна и только одна вещь, которая есть ϕ ’. Так что значение последнего высказывания не предполагает, что ‘ a существует’, поскольку это является бессмысленным, ибо истинность данного высказывания можно видеть простым наблюдением без сравнения с реальностью, чего никогда не бывает в случае с подлинной пропозицией. Но отчасти потому, что мы иногда ошибаемся, не отличая ‘ a существует’ от ‘Объект подразумеваемый “ a ” существует’, и отчасти потому, что ‘– существует’ всегда осмысленно, когда пробел заполняется дескрипцией, и мы недостаточно чувствительны к различию между дескрипциями и именами, ‘ a существует’ иногда воспринимается так, как если бы оно было осмысленным. М-р Витгенштейн поддается этому обманчивому чувству, поскольку считает, что существование имени ‘ a ’ показывает, что a

существует, но что это не может быть утверждаемо. Однако, по-видимому, это и есть главная составляющая мистического: «Мистическое не то, как мир есть, но то, что он *есть*» (6.44).

Наш следующий пример связан с равенством, относительно которого м-р Витгенштейн приводит важную и разрушительную критику: «Расселовское определение '=' не годится, так как согласно ему нельзя сказать, что два объекта имеют общими все свойства. (Даже если это предложение никогда не верно, оно всё же имеет *смысл*.)» (5.532). И ' $a = b$ ' должно быть псевдопропозицией, поскольку оно *a priori* истинно или ложно согласно тому, являются ' a ' и ' b ' именами одной и той же или разных вещей. Если теперь мы применяем новое соглашение, что два различных знака в одной пропозиции должны иметь разные значения, мы получаем новый анализ дескрипций, не включающий равенство. Для $f(x)(\phi x)$, вместо

$$(\exists c) : \phi x \supset_x x = c . fc,$$

мы имеем

$$(\exists x) . \phi x . fx : \sim (\exists x, y) . \phi x . \phi y.$$

И поскольку $(x)(\phi x) = c$ анализируется как $\phi x : \sim (\exists x, y) . \phi x . \phi y$ мы видим, что ' $- = -$ ' осмысленно только тогда, когда по крайней мере один пробел заполнен дескрипцией. Между прочим, такое отбрасывание равенства может иметь серьёзные последствия для теории множеств и кардинальных чисел. Например, едва ли правдоподобно заявление, что два класса равночисленны, только если существует однозначное соответствие, чьей областью является один класс, а конверсной областью – другой, если такие отношения не могут быть построены посредством равенства.

Далее я покажу, как это рассмотрение применяется к внутренним свойствам смысла пропозиций или, если последние являются истинными, к соответствующим фактам. Примером является ' p есть об a '. Можно подумать, что значимость примера следует из значимости 'Он говорит нечто об a '. Но если мы поразмыслим над анализом последней пропозиции, то увидим, что это не тот случай, ибо он, очевидно, сводится не к 'Существует p , которое он утверждал и которое об a ', но к 'Существует функция ϕ такая, что он утверждал ϕa ', которая не включает псевдопропозицию ' p есть об a '. Сходным образом ' p противоречит q ' может мыслиться как входящее в 'Он противоречит мне'. Но оно выглядит псевдопропозицией, когда мы анализируем 'Он противоречит мне' как 'Существует p такое, что я утверждал p , а он – $\sim p$ '. Конечно, это не

полный анализ, но он является первым шагом, вполне подходящим для нашей нынешней цели, и показывает, почему ‘– противоречит –’ значимо только тогда, когда по крайней мере один пробел заполнен дескрипцией.

Другие псевдопропозиции суть псевдопропозиции математики, которые, согласно м-ру Витгенштейну, являются равенствами, получаемыми написанием ‘=’ между двумя пропозициями, которые могут быть подставлены вместо друг друга. Я не вижу, как этот подход предполагает охватить всю математику, и он, очевидно, неполон, поскольку существует также неравенства, которые труднее объяснить. Легко, однако, заметить, что ‘Я имею более двух пальцев’ не предполагает значимость ‘ $10 > 2$ ’, ибо, если вспомнить, что различные знаки должны иметь различные значения, оно просто представляет собой ‘ $(\exists x, y, z) : x, y, z$ есть мои пальцы’.

Подобно тому как объяснение некоторых очевидно необходимых истин, типа тавтологий, встретилось с затруднением в области цвета, точно так же с затруднением встречается и объяснение упомянутого как псевдопропозиции. «Этот голубой цвет и тот, – говорит м-р Витгенштейн, – стоят *eo ipso* (тем самым) во внутреннем отношении более светлого и более тёмного. Немыслимо, чтобы *эти* два объекта не стояли в этом отношении друг к другу» (4.123). Согласно этому предложение, казалось бы, утверждающее, что один названный цвет является более светлым, чем другой названный цвет, должно быть псевдопропозицией. Но трудно представить, как это можно примирить с несомненной значимостью предложения о том, что один описываемый цвет светлее другого, типа ‘Покрытие в моём доме светлее, чем мой ковёр’. Но в этом случае затруднение может быть полностью устранено предположением, что реально значение слова ‘красное’ анализируется физиком, ибо его анализ цвета в итоге доходит до числа, такого как длина волны и т.д. И это затруднение сводится к затруднению с согласованием отсутствия значимости у неравенства двух данных чисел со значимостью неравенства двух описываемых чисел, которое, очевидно, каким-то образом возможно, если следовать в направлении, предполагаемом выше для ‘Я имею более двух пальцев’.

Перейдём теперь к подходу м-ра Витгенштейна к философии. «Цель философии, – говорит он, – логическое прояснение мыслей. Философия не теория, а деятельность. Философская работа состоит, по существу, из разъяснений. Результат философии – не некоторое количество “философских предложений”, но прояснение предложений. Философия должна прояснять и строго разграничивать мысли, которые без этого являются как бы тёмными и расплывчатыми» (4.112). Мне кажется, что нас не может удовлетворить этот подход без некоторого даль-

нейшего объяснения 'ясности', и я попытаюсь дать объяснение в согласии с системой м-ра Витгенштейна. Я считаю, что записанное предложение является 'ясным' постольку, поскольку оно обладает *видимыми* свойствами, согласованными с внутренними свойствами его смысла или показывающими их. Согласно м-ру Витгенштейну, последнее всегда показывает себя во внутренних свойствах пропозиции, но благодаря двусмысленности 'пропозиции', связанной с типом и случаем употребления, непосредственно не ясно, что это подразумевает. Свойства пропозиции, я думаю, должны подразумевать свойства всех случаев её употребления. Но внутренние свойства пропозиции суть те свойства случаев употребления, которые, так сказать, являются внутренними не для случаев употребления, но для типа, т.е. те свойства, которыми должен обладать один из случаев употребления, если он должен быть случаем употребления этого типа, а не те свойства, относительно которых невозможно представить, что он их каким-то образом мог бы не иметь. Мы должны помнить, что нет *необходимости* для предложения иметь смысл, который оно фактически имеет, так что если предложение говорит *fa*, внутренним свойством предложения не является то, что в нём есть нечто связанное с *a*, но это есть внутреннее свойство пропозиции, поскольку иначе предложение не могло бы принадлежать пропозициональному типу, т.е. иметь этот смысл. Таким образом, мы видим, что внутренние свойства пропозиции, которые показывают внутренние свойства её смысла, являются, в общем, не непосредственно зримыми свойствами, но усложнёнными свойствами, включающими понятие значения. Но в совершенном языке, в котором каждая вещь имеет своё собственное, и причём единственное имя, то, что в смысл предложения входит определённый объект, было бы также зримо показано вхождением в предложение имени этого объекта. И можно ожидать, что это происходит в отношении всех внутренних свойств смыслов. Например, то, что один смысл содержится в другом (т.е. одна пропозиция следует из другой), можно всегда зримо обнаружить в выражающих их предложениях. (Это почти достигается в *И*-записи м-ра Витгенштейна). Таким образом, в совершенном языке все предложения или мысли были бы совершенно ясными. Чтобы дать общее определение 'ясного', мы должны заменить 'зримое свойство предложения' на 'внутреннее свойство пропозиционального знака', что мы интерпретируем аналогично 'внутреннему свойству пропозиции' как свойство, которое должен иметь случай употребления, если он должен быть этим знаком, которое, если случай употребления записан, есть то же самое, что и зримое свойство. Мы говорим тогда, что пропозициональный знак является ясным постольку, поскольку внутренние свойства его смысла показаны не только

внутренними свойствами пропозиции, но также внутренними свойствами пропозиционального знака.

(Вероятно, может произойти смешение внутренних свойств пропозиции и внутренних свойств пропозиционального знака, которое даёт повод к идее, что доктрины м-ра Витгенштейна утверждаются, в общем, только относительно совершенного языка.)

С точки зрения не мистического подхода к внутренним свойствам, данного выше, мы можем легко интерпретировать эту идею философии. Во-первых, отметим и объясним факт, что мы часто, по-видимому, осознаём или не осознаём, что нечто имеет внутреннее свойство, хотя это и является псевдопропозицией и не может быть осознано таким образом. Реально же мы осознаём то, что 'Этот объект или смысл, подразумеваемый или утверждаемый находящимися перед нами словами, имеет это свойство', и это значимо, поскольку мы подставили дескрипцию вместо имени. Таким образом, как результат логического доказательства мы осознаём не то, что p является тавтологией, так как это является псевдопропозицией, но то, что ' p ' не говорит ничего. Делать пропозиции ясными – значит способствовать осознанию их логических свойств, выражая их в языке таким образом, чтобы эти свойства соотносились со зримыми свойствами предложения.

Но, я думаю, эта деятельность будет результатом философских пропозиций везде, где мы открываем нечто новое относительно логической формы смыслов любой интересной конструкции предложений, типа предложений, выражающих факты восприятия и мысли. Мы должны согласиться с м-ром Витгенштейном, что ' p есть такой-то и такой-то формы' бессмысленно, но " p " имеет смысл такой-то и такой-то формы' может, тем не менее, быть осмысленно. И неважно, зависит ли оно от анализа " p " осмысленно', который, как мне кажется, вероятно является дизъюнктивной пропозицией, альтернативы которой вырастают из различных возможных форм смысла ' p '. Если это так, мы можем, исключая некоторые из этих альтернатив, образовывать пропозицию относительно формы смысла ' p '. И она в определённых случаях, таких как когда ' p ' есть 'Он думает q ' или 'Он видит a ', может быть названа собственно философской пропозицией. Это не было бы несовместимо с более умеренным утверждением м-ра Витгенштейна, что «Большинство предложений и вопросов, высказанных по поводу философских проблем, не ложны, а бессмысленны. Поэтому мы вообще не можем отвечать на такого рода вопросы, мы можем только установить их бессмысленность. Большинство вопросов и предложений философов вытекает из того, что мы не понимаем логики нашего языка» (4.003).

В заключение я хочу затронуть общий взгляд м-ра Витгенштейна на мир. «Мир, – говорит он, – есть совокупность фактов, а не вещей» (1.1), и «очевидно, что, как бы ни отличался воображаемый мир от реального, он должен иметь нечто – некоторую форму – общее с действительным миром. Эта постоянная форма состоит из объектов» (2.022, 2.023). Представление, что любой вообразимый мир должен содержать все объекты реального мира, необычно, но, по-видимому, оно вытекает из его принципов, ибо, если ‘*a* существует’ бессмысленно, мы не можем вообразить и то, что *a* не существует, но только то, что оно имеет или не имеет некоторые свойства.

М-р Рассел в своём *Введении* находит затруднение в том факте, что $(x) \cdot \phi x$ включает общность значений ϕx и т.д., явно являющиеся значениями x , о которых, согласно м-ру Витгенштейну, не может быть сказано, ибо согласно его собственному фундаментальному тезису «ничего нельзя сказать о мире как целом, и то, что как-то может быть сказано, должно быть сказано об ограниченной части мира». Однако вне зависимости от того, является ли это точным выражением точки зрения м-ра Витгенштейна, по одной причине это кажется сомнительным, поскольку предполагает, что невозможно сказать $(x) \cdot \phi x$, но вероятно только ‘Все S суть P ’, которое рассматривается как ничего не утверждающее о не- S , что он определённо не поддерживает. Тогда, быть может, интересно рассмотреть, что он говорит такого, что делает допустимой интерпретацию м-ра Рассела. Он несомненно отрицает, что мы можем говорить о числе всех объектов (4.1272). Но это не потому, что все объекты образуют запрещённую общность, но потому, что ‘объект’ есть псевдопонятие, выраженное не функцией, а переменной x . (Кстати, я не вижу, почему число всех объектов не может быть определено как сумма чисел вещей, имеющих какое-то специфическое свойство, и число вещей, не имеющих это свойство.) Также он говорит, что «чувствование мира как органического целого есть мистическое» (6.45). Но я не думаю, что мы можем следовать м-ру Расселу, выводящему из этого, что совокупность значений x есть мистическое, только из-за того, что «мир есть совокупность фактов, а не вещей» (1.1). И я думаю, что ‘ограниченное’ даёт ключ к предложениям, цитированным выше. Мистическое чувство есть чувство, что мир – это не всё, что существует нечто вне его, его ‘смысл’ или ‘значение’.

Не нужно думать, что темы, которые я обсуждал, практически исчерпывают интерес к рассматриваемой книге. М-р Витгенштейн делает замечания всегда интересные, иногда крайне пронизательные относительно многих предметов, таких как теория типов, наследственные отношения, вероятность, философия физики и этика.

II. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ЗНАЧЕНИЯ

УИЛЛАРД ВЭН ОРМАН КУАЙН

О ПРИЧИНАХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ПЕРЕВОДА^{*1}

В дискуссиях о неопределённости перевода в качестве центрального фигурировал мой пример с *gavagai*. Читатели рассматривают этот пример как основание данной доктрины и надеются разрешением этого примера подвергнуть её сомнению. На самом же деле основание доктрины совершенно иное, оно гораздо шире и глубже.

Пока оставим перевод в стороне и рассмотрим физическую теорию. Естественно, что она недостаточно определена прошлыми данными; будущее наблюдение может ей не соответствовать. Естественно, что она недостаточно определена комбинацией прошлых и будущих данных, поскольку некоторые наблюдаемые события, которые ей не соответствуют, могут остаться незамеченными. Кроме того, многие, помимо всего, согласятся, что физическая теория недостаточно определена даже всеми *возможными* наблюдениями. В этом типе возможности нет ничего загадочного, я лишь подразумеваю следующее. Рассмотрим в языке все предложения наблюдения, т.е. все подходящие предложения, которые могут использоваться в отчёте о наблюдаемых событиях во внешнем мире². Снабдим их датами и местоположениями во всех комбинациях безотносительно к каким-либо наблюдателям, которые находились бы в этом месте и в это время. Некоторые из этих пространственно-временных предложений будут истинными, другие – ложными, просто посредством наблюдаемости, несмотря на то, что прошлые и будущие события в мире не наблюдаются. Моя точка зрения на физическую теорию состоит в том, что физическая теория недостаточно определена даже всеми этими истинами. Несмотря на то, что все эти возможные

* *Quine W.V. On the Reason for Indeterminacy of Translation // The Journal of Philosophy, vol. LXVII, № 6, 1970, P. 178–183.*

¹ Выражаю признательность Бартону Дребену за полезную критику первоначальной версии этой статьи.

² Понятие предложения наблюдения, которое я развил в §10 своей книги *World and Object*, получает некоторое дальнейшее прояснение на стр. 85–89 моей книги *Ontological Relativity and Other Essays* (New York: Columbia University Press, 1969).

наблюдения зафиксированы, теория всё ещё может изменяться. Физические теории могут расходиться друг с другом и, однако, быть совместимыми со всеми возможными данными даже в самом широком смысле. Одним словом, они могут быть логически несовместимыми и эмпирически эквивалентными. В этом пункте я ожидал широкого согласия, хотя бы потому, что критерии наблюдения для теоретических терминов обычно слишком изменчивы и фрагментарны. Те, кто соглашается с этим общим пунктом, не обязательно согласны в том, как много в физической теории эмпирически не фиксировано в этом строгом смысле; некоторые будут допускать такое ослабление только для самых продвинутых и наиболее спекулятивных выводов физической теории, тогда как другие считают, что это ослабление распространяется даже на общепринятую трактовку макроскопических объектов.

Вернёмся теперь к радикальному переводу теории физика радикально чуждых взглядов. Как всегда при радикальном переводе исходным пунктом является уравнивание предложений наблюдения двух языков посредством индуктивного уравнивания стимульных значений. Для того чтобы впоследствии объяснить незнакомые теоретические предложения, мы должны сконструировать аналитические гипотезы, чьё окончательное подтверждение, по существу, и заключается как раз в том, что соответствует вытекающим предложениям наблюдения. Но теперь то же самое прежнее эмпирическое ослабление старой неопределённости между физическими теориями повторяется во втором содержании термина. В той мере, в которой истина физической теории является недостаточно определённой данными наблюдения, перевод физической теории чужака недостаточно определён посредством перевода его предложений наблюдения. Если наша физическая теория может варьироваться, несмотря на фиксированность всех возможных наблюдений, то может варьироваться и наш перевод его физической теории, несмотря на то, что фиксированы переводы всех возможных отчётов о наблюдении с его стороны. Наш перевод его предложений наблюдения фиксирует наш перевод его физической теории не в большей степени, чем наши собственные возможные наблюдения фиксируют нашу собственную физическую теорию.

Неопределённость перевода как раз и не является примером недостаточно эмпирически определённого характера физики. Дело как раз не в том, что лингвистика, будучи частью науки о поведении и, следовательно, в конечном итоге физики, разделяет недостаточную эмпирическую определённость физики. Наоборот, неопределённость перевода добавочна. Там, где теории *A* и *B* обе совместимы со всеми возможными данными, мы можем выбрать для себя *A* и всё же оставаться свободны-

ми в том, чтобы при переводе рассматривать чужака как уверенного в *A* или как уверенного в *B*.

При переводе такой выбор между *A* и *B* мог бы руководствоваться простотой. Вменяя чужаку *B*, мы могли бы исходить из более кратких и непосредственных переводов и меньших затрат на разработку контекстуальных парафраз, нежели вменяя ему *A*. Это – одна возможность. Вторая возможность состоит в том, что оба выбора, выбор *A* или выбор *B*, требуют окольных и громоздких правил перевода. В этом случае мы можем считать, что чужак не придерживается ни *A*, ни *B*; скорее мы можем приписать ему некоторую ложную физическую теорию, которую можно отвергнуть, или неясную физическую теорию, в которую мы отчаиваемся проникнуть, или мы даже можем считать, что он придерживается теории, которая вообще не относится к физике. Но, в-третьих, можно также представить возможность, что ему допустимо приписать как *A*, так и *B*. Может оказаться, что *A* и *B* могут быть вменены равным образом, пусть и при условии усреднённого перевода некоторых моментов, причём различных моментов. В этом случае основания для выбора нельзя получить, обратив чужака к новым физическим данным и записав его вербальный ответ, поскольку теории *A* и *B* равным образом соответствуют всем возможным наблюдениям. Основание нельзя получить, задавая вопросы в теоретическом стиле, поскольку такая проблематизация имела бы место в языке чужака и поэтому сама могла бы быть интерпретирована в соответствии как с тем, так и с другим планом. В этом случае наш выбор был бы предопределён просто тем, что мы случайно наткнулись на одну из двух систем перевода первой.

Метафора чёрного ящика, часто столь полезная, здесь может ввести в заблуждение. Проблема не в скрытых фактах, которые могли бы быть обнаружены дальнейшим изучением психологии мыслительных процессов, имеющих место в мозге. Рассчитывать на то, что за каждым особым ментальным состоянием стоит иной физический механизм, – это одно; рассчитывать на особый механизм для каждого предполагаемого различия, которое может быть выражено в традиционном менталистском языке – это другое. Вопрос, *действительно* ли чужак верит в *A* или скорее верит в *B*, описанный в данной ситуации последним, это вопрос, саму значимость которого я подверг бы сомнению. На это я выхожу, обосновывая неопределённость перевода.

Мой аргумент на этих страницах я адресовал и буду адресовать тому, кто уже согласился с тем, что могут быть логически несовместимые и эмпирически эквивалентные физические теории *A* и *B*. Степень неопределённости перевода, которую вы должны тогда осознать, принимая во внимание силу моего аргумента, будет зависеть от общей суммы эм-

пирических послаблений, которые вы готовы признать за физикой. Если вы – один из тех, кто рассматривал физику как эмпирически недостаточно определённую только в её наиболее продвинутых теоретических разделах, то, основываясь на имеющемся в распоряжении аргументе, я могу утверждать о вашем совпадении в неопределённости перевода только для продвинутой теоретической физики. Что касается меня, я думаю, что эмпирическая слабость в физике распространяется на обычные особенности обычных тел и, следовательно, неопределённость перевода также воздействует на этом уровне универсума рассуждений. Но для тех, кто не заходит так далеко, важно отметить градацию обязательств.

Gavaagai, затруднения с которым я сейчас рассмотрю, находятся на самом краю шкалы. Это было предложением наблюдения. Мы предполагали, что его стимульное значение вполне установлено индуктивно, совпадая со стимульным значением ‘Кролик’³. Угроза неопределённости возникла при попытке принять решение относительно обнаруживающего разногласие референта *gavaagai*, рассматриваемого как термин: кролик ли это, состояние кролика или неотъемлемые части кролика. Читатели отозвались предположением, каким образом с помощью ширм или других приспособлений мы могли бы надеяться склонить туземца к требуемым различиям и таким образом установить референт.

Изобретательность в этом стиле доказывает бесполезность из-за неопределённости цели. Цель не может вклиниться между стимульными значениями предложений наблюдения, связывая тем самым *Gavaagai* скорее с ‘Кролик’, а не с ‘Состояние кролика’ или ‘Неотъемлемая часть кролика’, ибо стимульные значения всех этих предложений бесспорно идентичны. Они охватывают стимулы, которые заставили бы человека думать, что представлен кролик. Цель может заключаться только в том, чтобы установить, что *gavaagai* обозначает для туземца как термин. Но понятие терминов и их денотации целиком связано с нашим собственным грамматическим анализом предложений нашего собственного языка. Этот грамматический анализ может быть проецирован на туземный язык только в связи с тем, что мы устанавливаем в туземном языке как аналоги наших местоимений, тождества, множественного числа и соответствующего аппарата; и в книге *Слово и объект* я утверждал, что в этом случае должна быть некоторая свобода выбора. С другой стороны,

³ Строго говоря, даже эта индукция скромно предполагает нечто подобное аналитической гипотезе: решение относительно того, что принять за знаки согласия и несогласия. См.: *Word and Object*, p. 30; а также книгу под редакцией Д. Дэвидсона и Я. Хинтикки *Words and Objections* (Dordrecht: Reidel, 1968), p. 312, 317 или *Synthese*, том XIX, ½ (December 1968): pp. 284, 289.

как только этот выбор, пусть и произвольно, сделан, вопрос, является ли *gavagai* кроликом, состоянием кролика или его частью, также можно решить посредством опроса.

Большинство надеется, что ширмы и сходные приспособления дадут опосредованный намёк относительно того, как различные аналитические гипотезы, рассматривающие местоимения, тождество, множественное число и т.д., могут в конце работы выглядеть наиболее естественно. Когда доступен подобный намёк, должны ли мы говорить, что предполагаемое многообразие выборов при всём этом не открыто? Или мы должны сказать, что выбор открыт, но что мы нашли практическое рассмотрение того, что поможет нам в выборе? Нереальность такого исследования очевидна, и доктрина неопределённости перевода никак от него не зависит.

Пример с *gavagai* в лучшем случае был примером лишь непрозрачности терминов, а не неопределённости перевода предложений. Как предложение *Gavagai* имело перевод, который был единственным в своём роде в рамках стимульной синонимии, ибо возможные предложения 'Кролик', 'Состояние кролика' и 'Неотъемлемая часть кролика' являются стимульно синонимичными и голофрастически взаимозаменяемыми. Пример с *gavagai* только непрямым образом воздействовал на неопределённость перевода предложений; некто с определённым правдоподобием мог бы вообразить, что можно было бы найти некоторые распространённые предложения, не являющиеся предложениями наблюдения и содержащие *gavagai*, которые переводимы на английский содержательно иными способами, где *gavagai* уравнивалось бы с тем или иным термином: 'кролик', 'состояние кролика' и т.д. Все эти усилия были нацелены не на доказательство, но чтобы помочь читателю примирить в воображении неопределённость перевода с конкретной реальностью радикального перевода. Как было видно ранее в этой статье, аргумент в пользу неопределённости есть нечто иное.

Помимо непрозрачности самих терминов места для дебатов остаётся немного. Ясный пример из реальной жизни наблюдается в связи с классификаторами в японском языке⁴. Более того, этот пример делает совершенно ясным, что непрозрачность терминов не всегда с необходимостью приносит с собой неопределённость перевода предложения, каким бы, в частности, не был случай с *gavagai*. Опять же вопросы, поставленные отсроченной остензией (*там же*), как, например, между выражениями и их гёделевскими номерами, в строгом смысле являются

⁴ *Ontological Relativity and Other Essays*, p.35 и далее. А также в этом журнале том LXV, № 7 (April 4, 1968): 191 и далее.

предметом непрозрачности терминов. В этом суть онтологической отнесенности, а не неопределённости перевода.

Есть два способа усложнить доктрину неопределённости перевода, чтобы максимизировать её точку зрения. Я могу усложнять сверху, а могу усложнять снизу, разыгрывая обе крайности, а не середину. На верхней грани – это аргумент (он был представлен ранее в этой статье), который ориентирован на того, кто признаёт неопределённость перевода в той части естествознания, которую он желает рассматривать как недостаточно определённую посредством всех возможных наблюдений. Если под моим влиянием человек увидит, что эти эмпирические просчёты воздействуют не только на продвинутую теоретическую физику, но в известной степени и на обыденный разговор о телах, то я могу привести его к тому, что он в известной степени допустит неопределённость перевода в обыденном разговоре о телах. Это я называю давлением сверху.

Под давлением снизу я подразумеваю давление любых аргументов в пользу неопределённости перевода, которые могут быть основаны на непрозрачности терминов. Я полагаю, что пример Хармана⁵, рассматривающий натуральные числа, несмотря на теоретический характер, проходит под этой рубрикой. Он состоит в том, что предложение ' $3 \in 5$ ' является истинным предложением теории множеств при способе конструирования натуральных чисел, предложенном фон Нейманом, но оказывается ложным при способе, предложенном Цермело. Однако ограничение этого примера, как обращает внимание Харман, состоит в том, что ' $3 \in 5$ ' расценивается как бессмысленное вне теоретико-множественной экспликации натуральных чисел.

На этих страницах я предпочитаю не спекулировать тем, где можно получить наилучший результат, исходя снизу или же исходя сверху. Моя цель здесь состоит в том, чтобы отграничить проблему и отождествить аргументы; а наиболее эффективно это можно организовать, если то, что может быть доказано в большей степени, оставить на рассмотрение читателя.

⁵ Gilbert Harman, "An Introduction to Translation and Meaning", см.: *Words and Objections*, p. 14 или указанный выше *Synthese* p.14.

УИЛЛАРД ВЭН ОРМАН КУАЙН

ЕЩЁ РАЗ О НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ПЕРЕВОДА*

Уже двадцать пять лет моя книга *Слово и объект* подвергается постоянной критике относительно моего тезиса о неопределённости перевода, и во всех этих случаях есть очевидное непонимание, на которое я отвечал спорадически и в разрозненных местах. Бартон Дребен вынудил меня вернуться к продуктивной дискуссии на эту тему и побудил дать сжатое, но всеобъемлющее объяснение.

Критики говорили, что этот тезис является следствием моего бихевиоризма. Некоторые говорили, что он является *reductio ad absurdum* моего бихевиоризма. Я не согласен со второй точкой зрения, но согласен с первой. Более того, я придерживаюсь мнения, что бихевиористский подход обязателен. В психологии можно быть или не быть бихевиористом, но в лингвистике выбора нет. Каждый из нас изучает свой язык наблюдая вербальное поведение других людей и следя за своим собственным неуверенным вербальным поведением, подкрепляемым или корректируемым другими. Строго говоря, мы зависим от открытого поведения в наблюдаемых ситуациях. Всё идёт хорошо, пока команды нашего языка соответствуют всем внешним ориентирам, где наши речевые действия или наши реакции на чьи-то речевые действия могут быть оценены в свете некоторой совместно разделяемой ситуации, до тех пор всё хорошо. Для носителей языка наша ментальная жизнь помимо внешних критериев во внимание не принимается.

Тогда в лингвистическом значении нет ничего, помимо того, что должно быть тщательно отобрано из публичного поведения в наблюдаемых обстоятельствах. Чтобы выявить эти ограничения, я предложил на обсуждение мысленный эксперимент с радикальным переводом. Пусть «языком-источником» – воспользуемся жаргонным выражением – будет джангл; «языком перевода» является английский. Джангл недоступен через какой-либо известный промежуточный язык, так что нашими единственными данными являются туземные выражения и сопутствующие им обстоятельства наблюдения. Это – скудный базис, но и у самого туземца другого нет.

Наш лингвист составил бы своё руководство по переводу с помощью предполагаемых объяснений таких данных, но подтверждения были бы редки. Обычно сопутствующая, публично наблюдаемая ситуация

*Quine W.V. Indeterminacy of Translation Again // The Journal of Philosophy, vol. LXXXIV, № 1, 1987, P. 5–10.

неспособна нам предсказать, что сообщит говорящий даже в нашем собственном языке, ибо выражения обыкновенно в малой степени подходят к обстоятельствам, наблюдаемым в этот момент извне, поскольку имеют место продолжающиеся в настоящее время проекции и неразделённые в прошлом переживания. В самом деле, язык именно так и служит какой-то полезной коммуникативной цели; прогнозируемые предложения не несут ничего нового.

Однако есть предложения, которые довольно строго зависят от сопутствующей публично наблюдаемой ситуации: предложения типа 'Идёт дождь' или 'Это – кролик', которые я называю *предложениями наблюдения*. Предложения джангла, относящиеся к этому типу, суть опорные клинья нашего лингвиста. Он предварительно ассоциирует то, что произносит туземец, с наблюдаемой сопутствующей ситуацией, надеясь, что, быть может, предложения наблюдения просто привязаны к этой ситуации. Чтобы проверить это, он проявляет инициативу и, когда ситуация повторяется вновь, сам предлагает предложение с тем, чтобы туземец согласился или же нет.

Исследовательский приём и согласие или несогласие в миниатюре воплощают преимущество таких экспериментальных наук, как физика, над такими чисто наблюдательными науками, как астрономия. Чтобы применить его, лингвист должен быть в состоянии распознать, хотя бы предположительно, знаки согласия и несогласия в обществе носителей джангла. Если он ошибётся в предположении об этих знаках, его дальнейшее исследование утратит силу, и он предпримет новую попытку. Но есть многое и в том, чтобы продолжать идентификацию этих знаков. Прежде всего, говорящий будет выражать согласие с произнесённым выражением при любом обстоятельстве, в котором он проявил инициативу.

Тогда наш лингвист ориентировочно продолжит идентификацию и перевод предложений наблюдения. Некоторые из них, вероятно, составятся из других таких предложений способами, намекающими на наши логические частицы 'и', 'или', 'но', 'не'. Сопоставляя ситуации, в которых команда туземца согласуется с составными предложениями, с ситуациями, в которых команда согласуется с компонентами, и сходным образом в случае несогласия, лингвист может получить правдоподобный контур таких связей.

В отличие от предложений наблюдения большинство выражений противятся соотносению с сопутствующими стимулами, которые может разделять наш лингвист. Взяв всё на себя, он может проявить инициативу и уточнить такое предложение относительно согласия или несогласия в различных ситуациях, однако соответствия с сопутствующей стимуляцией в предстоящем случае нет. Ну и что дальше?

Он может вести учёт этих необъяснённых предложений и расчленять их. Некоторые из сегментов будут встречаться также и в уже объяснённых предложениях наблюдения. Он будет трактовать их как слова и пытаться уравнивать их с английскими выражениями способами, которые предполагаются этими предложениями наблюдения. Это – то, что я назвал аналитическими гипотезами. Здесь работа идёт вслепую, а придётся угадывать ещё больше. Лингвист будет обращаться к необъяснённым предложениям, не являющимся предложениями наблюдения, в которых встречаются те же самые слова, и будет проектировать предположительные интерпретации некоторых из этих предложений в составе данных спорадических фрагментов. Он будет накапливать предполагаемый словарь джангла с английским переводом и предполагаемый аппарат грамматических конструкций. Затем начнётся рекурсия, определяющая предполагаемые переводы потенциальной бесконечности предложений. Работая с туземцами, наш лингвист проводит проверку эффективности своей системы и продолжает обдумывать и разгадывать её снова. Рутинная уточнения и согласования, которая была его подстраховкой при переводе предложений наблюдения, продолжает оказывать неоценимую услугу и на этих более продвинутых и более предположительных уровнях.

Ясно, что цель труднопреодолима, а свобода предположений грандиозна. На практике радикальный перевод избегают, находя того, кто может интерпретировать язык, хоть и сбивчиво, в каком-то знакомом языке. Но только радикальный перевод выставляет напоказ скудость исходных данных для идентификации значений.

Рассмотрим тогда, какие ограничивающие условия может пустить в ход наш радикальный переводчик с тем, чтобы помочь сориентировать свои предположения. Полезна преемственность: от тех выражений, которые произносятся одно за другим, можно ожидать, что они соотносятся друг с другом. Кроме того, когда несколько таких выражений могут быть предварительно интерпретированы, их соотношение само может предполагать перевод соединения слов, которые помогут в обнаружении сходных связей в других местах.

Рано или поздно переводчик будет зависеть от психологических предположений относительно того, во что, возможно, верит туземец. Эта стратегия уже управляла его переводами предложений наблюдения. Она будет продолжать действовать за рамками уровня наблюдения, удерживая его от перевода туземного утверждения в слишком уж вопиющую ложь. Он будет оказывать предпочтение переводам, приписывающим туземцу убеждения, которые само собой разумеются или созвучны наблюдаемому образу жизни туземца. Но он не будет развивать

эти оценки, если структура, придаваемая грамматике и семантике туземца, будет чрезмерно усложняться, ибо это снова отдавало бы плохой психологией. Язык должен быть достаточно простым для овладения самими туземцами, о сознании которых, впадая, очевидно, в противоположность, предполагается, что оно в значительной степени подобно нашему собственному. Практическая психология поддержит нашего радикального переводчика на этом пути, метод его психологии – эмпатия; он в меру своих сил воображает себя в ситуации туземца.

Наш радикальный переводчик непрерывно использовал бы своё руководство для перевода и продолжал бы пересматривать его в свете своего успешного и ошибочного общения. Но в чём бы состояли эти достижения и неудачи, или каким образом они могли бы быть осознаны? Успешная торговля с туземцами рассматривалась бы как доказательство того, что руководство совершенствуется удачно. Гладко текущий разговор был бы дальнейшим подходящим доказательством. Реакция удивления или замешательства со стороны туземца или очевидно неподходящий ответ вели бы к предположению, что с руководством неладит.

Мы без труда воображаем подъёмы и падения переводчика. Вероятно, он предварительно переводил два туземных предложения в английские предложения, которые близки друг другу семантически, и он находил то же самое сродство, отражённое в туземном использовании двух туземных предложений. Это ободряет его в том, как он подбирает пары предполагаемых переводов. Так он и продолжает, беспечно полагая, что он понят, пока его не прервут. Это может склонить его к тому, что его пара переводов всё же была ошибочна. И он удивляется, почему ещё совсем недавно в предшествующем разговоре, который тёк так гладко, он считал, что всё в порядке.

Исследования рассмотренного нами типа – это всё, с чем должен продолжать радикальный переводчик. Это связано не с тем, что значения предложений неуловимы и непроницаемы; это связано с тем, что в них нет ничего, помимо того, что могут выработать эти неуклюжие процедуры. Нет надежды на то, чтобы даже кодифицировать эти процедуры и затем *определить*, что, ссылаясь на них, считать за перевод; ибо эти процедуры сравнивают несоизмеримые значения. Сколько, например, нелепого мы можем допустить в убеждениях туземца для того, чтобы уклониться от стольких же нелепостей в его грамматике и семантике?

Эта размышления оставляют нам мало причин ожидать, что два радикальных переводчика, независимо работающих с джанглом, пришли бы к руководству, приемлемому для обоих. Их руководства могут быть неразличимы с точки зрения любого поступка туземца, которого они имеют основание ожидать, и, однако, каждое руководство может пред-

писывать некоторые переводы, которые другой переводчик отрицал бы. Таков тезис неопределённости перевода.

Мой широко обсуждаемый пример с *gavaagai*¹ иллюстрирует неопределённость перевода только относительно терминов, а не предложений. Рассматриваемое скорее как предложение наблюдения, “Гавагаи” непосредственно служит ключом к тому, чтобы определить стимульные ситуации, которые открыты эмпирическому исследованию и предоставляют самые устойчивые ориентиры. Точно так же мои примеры с японскими классификаторами² есть лишь предмет терминов, а не предложений. Более экстравагантные примеры, предоставленные приближёнными функциями, всё ещё имеют дело с терминами³. Но мой тезис о неопределённости перевода применяется прежде всего и по преимуществу к предложениям, рассмотренным голофрагмически; и это я не берусь задокументировать. Радикальный перевод похож на чудо, и он не делается дважды в одном и том же языке. Но, конечно, когда мы размышляем о границах возможных данных для радикального перевода, неопределённость несомненна.

Суть моего мысленного эксперимента относительно радикального перевода была философской: критика некритического понятия значений и тем самым интроспективной семантики. Меня заботило обнаружение её эмпирических границ. Предложение имеет значение, содержит человеческую мысль, другое предложение является его переводом, если оно имеет то же самое значение. Но это, как мы видели, не проходит.

Критика значения, нивелированная моим тезисом о неопределённости перевода, подразумевает устранение недоразумений, но результатом не является нигилизм. Перевод остаётся и является неизбежным. Неопределённость подразумевает не то, что нет приемлемого перевода, но то, что их существует много. Хорошее руководство для перевода соответствует всем ориентирам вербального поведения, и то, что не на поверхности какого-то ориентира, не может нанести ущерб.

Я ведь не отвергаю семантику, разбирая старое понятие значений слов и предложений. Есть много полезной работы, делающейся и уже сделанной, которая рассматривает метод и обстоятельства использования слов. Лексикография есть её очевидное проявление. Есть также много возможностей для усовершенствования семантической теории. Но я не искал бы научной реабилитации чего-то подобного старому понятию обособленных и отчётливых значений; это понятие лучше рас-

¹ *World and Object* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1960), pp. 29–45.

² *Ontological Relativity and Other Essays* (New York: Columbia, 1969), pp. 35–38.

³ *Theory and Things* (Cambridge, Mass.: Harvard, 1981), pp. 19–22.

смагивать как устранённый камень преткновения. В действительности, в последние годы оно является камнем преткновения в большей степени для философов, чем для учёных-лингвистов, которые по понятным причинам просто находят его технически бесполезным.

У некоторых из моих читателей возникают затруднения с видением того, каким образом тезис о неопределённости перевода есть нечто большее, чем специальный случай тезиса о том, что естествознание недостаточно определено всеми возможными наблюдениями. Это, в свою очередь, предполагается представлением Пьера Дюгема о том, что когда мы проверяем теорию в свете противодействующего наблюдения, мы свободны в выборе того, какой компонент предложений теории отменить.

Неопределённость перевода отличается от недостаточной обоснованности науки тем, что только вербальное поведение туземца определяет правильность и ошибочность руководства по переводу; претензий относительно механизмов, касающихся нервной системы, нет. Если переводчики расходятся относительно перевода предложения джангла, но поведение носителя джангла к разногласию не ведёт, то предмета для обсуждения просто нет. С другой стороны, в случае естествознания предмет для обсуждения есть, даже если все возможные наблюдения недостаточны, чтобы раскрыть его единообразно. Факты природы выходят за рамки наших теорий, так же как и всех возможных наблюдений, тогда как традиционная семантика не выходит за рамки фактов языка.

В таком противопоставлении недостаточной определённости естествознания с неопределённостью перевода я принял реалистический взгляд на природу, которого действительно придерживаюсь. Но я везде провожу различие, не опираясь на реализм, следующим образом. Мы снова допускаем, что естествознание недостаточно определено всяким возможным наблюдением. Однако предположим, что мы обосновали одну из многих всеобъемлющих теорий природы, которой соответствует всякое возможное наблюдение. Перевод остаётся неопределённым как раз относительно этой выбранной теории природы. Таким образом, неопределённость перевода есть неопределённость, дополнительная к недостаточной определённости природы.

В заключение я хочу добавить не относящееся к основной проблеме замечание относительно неопределённости в свете очевидно повторяющейся неверной интерпретации. Моя неопределённость применяется только к переводу, и ни в коем случае – к грамматической правильности. Я представлял грамматическую правильность как подлежащую совершенствованию и законченную в своих границах, но помимо этого я рассматриваю грамматическую правильность, а не перевод, как адекватно предопределённую поведенческими установками. Структурно

непохожие кодификации грамматики на самом деле в итоге могут быть эквивалентными, но это подразумевается само собой. В связи с этим, я повторяю, семантика также продолжает оставаться жизненной областью исследования. То, что я оспаривал, есть лишь непродуманное понятие в рамках традиционной семантики, а именно, понятие сходства значения.

МАЙКЛ ДАММИТ

ЧТО ТАКОЕ ТЕОРИЯ ЗНАЧЕНИЯ? (I)*

Согласно одной хорошо известной точке зрения, лучший метод формулировки философских проблем, возникающих вокруг концепции значения и относящихся к ней понятий, заключается в вопросе, что же образует то, что следует принять за так называемую ‘теорию значения’ для какого-то целостного языка, т.е. за подробное определение для этого языка значения всех слов и образующих предложения операций, задающее спецификацию значения каждого выражения и каждого предложения этого языка. Дело не в том, что построение теории значения для какого-то одного языка в этом смысле рассматривается как практически осуществимый проект, но считается, что как только мы сможем сформулировать общие принципы, согласно которым такое построение можно было бы выполнить, мы придём к решению проблем, касающихся значения, которыми озабочены философы.

Я разделяю убеждение, что такой подход к проблемам в рамках данной области философии наиболее продуктивен, хотя и не чувствую себя способным доказать, что это так, тому, кто его отрицает. Но если сопоставить какие-то другие случаи, этому можно обнаружить определённые причины. Насколько я знаю, никто и нигде не предлагал аналогичного подхода к проблемам эпистемологии. Никто не предлагал, чтобы правильный способ поиска решения философских проблем, относящихся к понятию знания, заключался бы в рассмотрении того, как построить теорию знания в смысле детального определения всего того, о чём можно было бы сказать как о том, что знает какой-то один индивидуум или сообщество. Причина, я думаю, в том, что наше схватывание понятия знания гораздо более надёжно, чем наше схватывание понятия значения. Мы сомневаемся относительно того, что нужно рассматривать как знание. Ещё больше мы сомневаемся относительно того, каким образом сформулировать принципы, которые мы молчаливо применяем, решая, действительно ли нечто должно рассматриваться как знание. Мы также несколько не уверены относительно семантического анализа предложения, приписывающего знание чего-то кому-то. Но мы, по крайней мере, совершенно уверены, *каковы* те предложения, логическую форму и условия истинности которых мы намерены анализировать. И, наоборот, в то время как большинство из нас, включая меня

*Dummett M. What is a Theory of Meaning? (I) // Dummett M. The Seas of Language. – Oxford University Press, 1996, P. 1–33.

самого, согласилось бы, что понятие значения – это фундаментальное и незаменимое понятие, нам неясна даже поверхностная структура высказываний, затрагивающих это понятие. Какую разновидность предложений естественного языка следовало бы рассматривать как характерную форму приписывания особого значения некоторому данному слову или выражению? Мы не только не знаем ответа на этот вопрос, мы даже не знаем, правильно ли так его ставить. Быть может, вообще невозможно *установить* значение выражения. Возможно, мы скорее должны выяснить, посредством каких лингвистических или, быть может, даже нелингвистических средств можно передать значение выражения иначе, нежели устанавливая его явно. Возможно, и это ошибочно. Быть может, вопрос должен заключаться не в том, как мы выражаем то, что отдельное выражение имеет некоторое значение, но в том, как мы должны анализировать предложения, затрагивающие понятие значения, каким-то иным способом. Это связано как раз с тем, что в этой области философии мы знаем, что представляет собой то, о чём мы говорим, ещё меньше, чем мы знаем, что представляет собой то, о чём мы говорим в других областях. Предложение подойти к нашим проблемам, рассматривая, как мы могли бы попытаться определить значения выражений целостного языка, не является пустой тратой времени, каковым представлялось бы аналогичное предложение в рамках эпистемологии.

Как хорошо известно, некоторые, и прежде всего Куайн, предпочли обойти это затруднение, исследуя принципы, лежащие в основании построения не теории значения для языка, а руководства для перевода этого языка в некоторый известный язык. Преимущество заключается в том, что мы точно знаем, какую форму должно принимать руководство для перевода, а именно, оно должно быть эффективным множеством правил для отображения предложений переводимого языка в предложения языка, в котором осуществляется перевод. Поэтому, мы можем полностью сконцентрироваться на вопросах, каким образом мы должны прийти к системе перевода, воплощённой в таком руководстве, и какие условия должны быть выполнены, чтобы такая система была приемлемой. Неудобство связано с тем, что хотя интерес к такому исследованию должен быть мотивирован светом, который оно проливает на понятие значения, мы не в состоянии определить, какие следствия результатов исследования в области перевода оказывают влияние на понятие значения именно потому, что они устанавливаются без прямого обращения к этому понятию. Схватить значение выражения – значит понять его роль в языке. Целостная теория значения для языка есть, таким образом, целостная теория того, каким образом язык функционирует как язык. Наш интерес к значению как общему понятию есть поэтому интерес к тому,

как работает язык. Прямое описание способа, которым работает язык (т.е. всего того, что необходимо выучиться делать, когда изучается язык), соответственно решило бы наши затруднения способом, которым косвенный подход через перевод решить не может. Было бы совершенно правильным сказать, что интерес в исследовании перевода относится не к самому переводу, но к критериям, предложенным для оценки приемлемости схемы перевода, и что они должны относиться к тому, что может наблюдаться при работе переводимого языка. Действительно, можно было бы правдоподобно утверждать, что ничего, кроме полной теории значения для языка (полного описания способа, которым он работает), не может быть адекватным основанием для оценки правильности предложенной схемы перевода. Я не буду пытаться судить о здравости этого утверждения. Если оно здраво, то кажущееся преимущество подхода через перевод, а не через прямой вопрос, какую форму должна принимать теория значения для языка, совершенно иллюзорно. Если оно неразумно (и действительная процедура того, кто в основном практикует подход через перевод, предполагает, что он рассматривает его как необоснованный), то отсюда следует, что нет никакого непосредственного вывода, позволяющего перейти от результатов, касающихся перевода, к заключениям относительно значения.

Я сказал, что цель теории значения для языка – дать описание того, как работает этот язык, т.е. как его носители общаются посредством него (здесь “общаются” имеет не более точное значение, чем “то, что может быть сделано произнесением одного или более предложений этого языка”). И здесь я повторю то, что утверждал в другом месте, что теория значения – это теория понимания, т.е. теория значения должна дать описание того, что представляет собой то, что некто знает, когда он знает язык, то есть когда он знает значения выражений и предложений языка. Один вопрос относительно формы, которую должна принимать теория значения, состоит в том, должна ли она заключаться в прямых приписываниях значения, то есть в пропозициях формы “Значение слова/предложения X есть...” или формы “Слово/предложение X означает...”. Если ответ на этот вопрос утвердителен, то может показаться, что такая теория значения не будет явно обращаться к понятию знания. Если эта теория позволяет нам сказать, что значение данного слова или предложения есть то или иное нечто, скажем Q , то, предположительно, мы также захотим сказать, что некто знает значение этого слова или предложения, если он знает, что Q есть то, что означает слово или предложение. Позже мы увидим повод сомневаться в этом, но пока позвольте нам воздержаться от оценок. Если теория значения позволяет нам получать такие прямые приписывания значения и если эти прямые при-

писывания таковы, что могут привести этим простым способом к характеристике того, что значит знать значение каждого слова или предложения в этом языке, то, действительно, мое утверждение, что теория значения должна быть теорией понимания, не имеет в виду столь сильный смысл, чтобы исключить такую теорию просто на том основании, что сама эта теория не разрабатывала понятие знания. Было бы правильным принять такую теорию за теорию понимания. Если, с другой стороны, несмотря на то, что теория значения разрешает получение прямых приписываний значения, эти приписывания созданы так, что не предоставляют непосредственной характеристики того, что значит, что человек знает, когда он знает значение данного слова или предложения, то, по предположению, теория неадекватна, чтобы объяснить тот чрезвычайно важный тип контекста, в котором мы предрасположены использовать слово “значение”. Если, однако, теория значения вообще не обеспечивает таких прямых приписываний значения, и если далее она не содержит в своих рамках какое-то явное описание того, что некто должен знать, чтобы знать или схватить значение каждого выражения языка, но просто обеспечивает объяснение других контекстов, в которых мы используем слово “значение”, типа “*X* означает то же самое, что и *Y*” или “*X* имеет значение”, тогда, мне кажется, она снова будет неадекватна для построения из неё какой-то теории понимания. То есть, если возможно дать описание, например, того, когда два выражения имеют одно и то же значение, которое явно не опиралось бы на описание того, что означает знать значение выражения, тогда не было бы возможности вывести из этого описания знание значения. Действительно, есть серьезная причина предполагать, что невозможно дать описание синонимии, кроме как через описание понимания, поскольку это прежде всего требует, чтобы любой, кто знает значения двух синонимичных выражений, должен был также знать, что они синонимичны. Но я просто говорю, что если бы такое описание синонимии было возможно, не было бы никакого пути, чтобы перейти от него к описанию понимания.

Любая теория значения, которая не является теорией понимания или непосредственно не производит её, не удовлетворяла бы цели, для которой по философским мотивам нам требуется теория значения. Ибо я доказывал, что теория значения требуется для того, чтобы сделать работу языка открытой для нашего взора. Знать язык – значит быть способным его применять. Следовательно, как только у нас есть явное описание того, в чём состоит знание языка, тем самым у нас есть описание работы этого языка, и ничто кроме этого не может дать нам то, что мы имеем впоследствии. Наоборот, мне также кажется, что, как только мы можем сказать, что значит для кого-то знать язык в смысле знания зна-

чений всех выражений языка, мы, по существу, решили каждую проблему, которая может возникнуть относительно значения. Например, как только нам становится ясно, что значит знать значение выражения, тогда проблема относительно того, изменилось ли значение слова в таком-то и таком-то случае, может быть решена, если задать вопрос, должен ли тот, кто первоначально понимал это слово, приобрести новое знание, чтобы понять его теперь.

Если теория значения даёт описание работы языка, к которому она относится, то, по-видимому, она должна содержать объяснение всех понятий, выразимых в этом языке, по крайней мере, единичными выражениями. Мы не должны прекращать задаваться вопросом, можно ли (и в каких случаях) о том, кто не владеет лингвистическими средствами, чтобы выразить понятие, или у кого отсутствует язык вообще, тем не менее сказать, что он схватил это понятие. Достаточно признать, что относящийся к прототипу случай схватывания понятия – это случай, при котором схватывание состоит в понимании определённого слова, выражения или диапазона выражений в некотором языке. Следовательно, если теория значения есть теория понимания, как я утверждал, отсюда, по-видимому, следовало бы, что такая теория значения должна при объяснении того, что нужно знать, чтобы знать значение каждого выражения в языке, одновременно объяснять, что значит иметь понятия, выразимые посредством этого языка.

Теория значения будет, конечно, давать нечто большее. Она явно не может просто объяснять понятия, выразимые в языке, так как эти понятия могут быть схвачены тем, кто совершенно несведущ в этом специфическом языке, но кто знает другой язык, в котором они выразимы. Следовательно, теория значения должна также связать понятия со словами этого языка, показать, какими словами какие понятия выразимы. И альтернативный взгляд будет заключаться в том, что только эта последняя цель, собственно, и принадлежит теории значения, что требовать от теории значения того, что она должна способствовать объяснению новых понятий тому, кто ещё ими не владеет, значит возложить на неё слишком тяжкое бремя, и что всё, что мы можем требовать от такой теории, заключается в том, чтобы она давала интерпретацию языка тому, кто уже владеет требуемыми понятиями. Назовём теорию значения, которая претендует на выполнение только этой ограниченной задачи, *скромной* [modest] теорией значения, а теорию, которая действительно стремится объяснить понятия, выраженные примитивными терминами языка, – *полнокровной* [full-blooded] теорией. Один вопрос, на который я хочу попытаться ответить, – это вопрос о том, возможна ли

скромная теория вообще, или же всё, что расценивается как теория значения, должно быть полнокровным.

Если принять хорошо известную, предложенную Дэвидсоном, концепцию формы, которую должна принимать теория значения, то, я думаю, необходимо утверждать, что скромная теория значения – это всё, о чём мы вправе спросить. Согласно этой концепции, ядром теории значения будет теория истины, созданная по модели определения истины по типу Тарского (о языке-объекте, в общем, не предполагается, что он является фрагментом метаязыка). Однако такой теории истины будет недоставать аппарата, требуемого для преобразования её в явное определение, и она, во всяком случае, не будет служить объяснению понятия истины, но будет брать его как уже известное, чтобы дать интерпретацию языка-объекта. Теория истины даст T -предложение для каждого предложения языка-объекта, а именно, или би-условное предложение, чья левая сторона имеет форму “Предложение S истинно”, или универсальное замыкание би-условного предложения, чья левая сторона имеет форму “Произнесение предложения S говорящим x во время t истинно”. Однако в суждении о том, являются ли T -предложения, которые даёт теория, истинными, не обращаются к понятию перевода. Скорее есть ограничения, относящиеся к предложениям, принимаемым за истинные носителями языка (предполагается, что мы можем задать адекватные критерии того, считает ли говорящий данное предложение истинным), которым теория должна удовлетворять, чтобы быть приемлемой. Вообще говоря, прежде всего, чтобы T -предложения, получаемые в теории истины, устанавливали на своих правых сторонах условия, при которых говорящий фактически считает истинными предложения, названные на их левых сторонах.

Аксиомы теории истины, когда она образует часть теории значения для языка при такой концепции, будут устанавливать предметные значения собственных имён этого языка, задавать условия выполнимости примитивных предикатов и т.д. Если примитивный предикат языка выражает определённое понятие, представлялось бы вполне уместным утверждать, что теория значения этого вида или, в частности, аксиома теории истины, управляющая этим предикатом, обеспечивает какое-то объяснение этого понятия. Скорее теория была бы понятна только тому, кто уже схватил понятие. Дэвидсоновская теория значения – это скромная теория.

Я уже отмечал, что руководство для перевода должно быть противопоставлено теории значения и само не может утверждаться в качестве таковой. Теория значения прямо описывает способ, которым функционирует язык; руководство для перевода просто проецирует этот язык на

другой, функционирование которого, если перевод должен иметь практическое использование, должно быть принято как уже известное. На этом пункте равным образом настаивал Дэвидсон, который выразил это, говоря, что руководство для перевода сообщает нам только, что некоторые выражения одного языка означают то же самое, что и некоторые выражения другого языка, не сообщая нам, что определенно означают выражения и того, и другого языка. В принципе, говорит он, о каждом предложении данного языка можно знать, что оно означает то же самое, что и некоторое отдельное предложение другого языка, вообще не зная, какое значение имеет каждое из этих предложений. Это возражение на рассмотрение руководства для перевода как самоконституирующей теорию значения как раз очевидно. Но мы можем задать вопрос, почему столь сильный акцент ставится на различии между руководством для перевода и теорией значения, когда от теории значения требуется быть не полнокровной, но только скромной. Руководство для перевода ведёт к пониманию переводимого языка только через понимание языка, на который делается перевод. Само оно не снабжает пониманием. Следовательно, мы можем сказать, что оно непосредственно не показывает, в чём состоит понимание переводимого языка. Но скромная теория значения сходным образом ведёт к пониманию языка-объекта только через схватывание понятий, выраженных его примитивными выражениями, которые она сама не объясняет. Поэтому кажется, что нам сходным образом следует говорить, что такая теория значения не полностью показывает, в чём состоит понимание языка-объекта. Это действительно так, особенно потому, что наша лучшая “модель”, и во многих случаях наша единственная “модель” для схватывания понятия, обеспечивается совершенством владения некоторым выражением или диапазоном выражений в некотором языке. Таким образом, руководство для перевода предполагает совершенство владения каким-то другим языком, на который делается перевод, если мы должны произвести из него понимание переводимого языка. Но скромная теория значения предполагает совершенство владения *некоторым, хотя и неспецифицированным*, языком, если мы должны вывести из него понимание языка-объекта. Значимый контраст, однако, проявился бы не между теорией, которая (подобно руководству для перевода) делает определенное предположение, и теорией, которая (подобно скромной теории значения) делает столь сильное, хотя и менее определённое предположение, но между теориями, которые (подобно обеим этим теориям) полагаются на внешние предположения, и теориями, которые (подобно полнокровной теории значения) не прибегают к такому предположению вообще. Вернёмся к вопросу, должна ли теория значения снабжать прямыми приписывания-

ми значений? Теория значения должна, конечно, сказать нам для каждого выражения языка, что оно означает. Но было бы весьма поверхностно заключить отсюда, что должно, следовательно, быть возможным выведение из этой теории высказываний, начинающихся с “Выражение *X* означает...”. Возьмём шуточный пример. Успешная теория преступления, скажем, убийства, должна говорить нам о личности убийцы, но из этого не вытекает, что мы должны быть способны вывести из этой теории высказывание, начинающееся с “Личность убийцы есть...”; на самом деле (где “есть” является знаком тождества) не существует правильно построенных высказываний, начинающихся таким образом. В качестве более серьезного примера мы можем отметить, что понятие “химия” само не является понятием химической теории. Действительно, мы требуем от химической теории, чтобы она давала нам способность сказать, какие свойства вещества являются химическими свойствами, какие взаимодействия являются химическими, и т.д. Сходным образом от теории значения можно требовать, чтобы она позволяла нам сказать, какие свойства выражения являются семантическими, т.е. зависят от и только от его значения. Но мы не можем требовать, чтобы само “значение” было понятием теории значения, по крайней мере, если оно берётся как влекущее, что мы способны с его помощью охарактеризовать семантические свойства выражения посредством высказывания, начинающегося с “Значение этого выражения есть...” или “Это выражение означает...”.

Для выражений, меньших чем предложения, и, в частности, для союзов, предлогов и т.д. есть определённое затруднение даже в формулировке грамматически правильной формы прямого приписывания значения (если, конечно, мы не хотим воспользоваться в качестве объекта глагола “означает” термином, обозначающим такое выражение, чтобы “означает” стало заменимым на “означает то же самое, что и”). Однако моя цель не в том, чтобы исследовать, как, или даже могут ли, такие затруднения быть разрешены. Мы можем ограничить наше внимание случаем предложений, для которых это затруднение не возникает. Сам Дэвидсон допускает, что из теории значения того вида, который он одобряет, прямое приписывание значения можно будет получить, по крайней мере, для предложений. Если взять полученное в теории истины *T*-предложение, удовлетворяющее требуемым ограничениям, например, предложение “‘La terra si muove’ истинно, если и только если Земля вертится”, мы можем вполне законно преобразовывать его в то, что мы можем называть *M*-предложением, в данном случае “‘La terra si muove’ означает, что Земля вертится”. Итак, ранее мы рассмотрели вопрос, может ли теория значения, которая никак явно не прибегала к знанию, по-

зволить нам вывести из неё описание каждого выражения того, в чём состоит знание значения выражения, и, в частности, мы предполагали доказать, что если теория допускает вывод для каждого выражения прямого приписывания значения, то она должна также обеспечить нас описанием того, что значит знать значение данного выражения, а именно, что значило бы знать то, что было установлено прямым приписыванием значения выражению. Но теперь, если нас спрашивают, выражает ли *M*-предложение “‘La terra si muove’ означает, что Земля вертится” то, что некто должен знать, чтобы знать, что подразумевает итальянское предложение “La terra si muove”, мы едва ли можем сделать что-то иное, нежели ответить утвердительно. Знать, что “La terra si muove” означает, что Земля вертится, *значит* знать как раз то, что означает “La terra si muove”, ибо это как раз то, что оно означает. С другой стороны, когда нас спрашивают, задаётся ли адекватное описание того, в чём состоит знание значения “La terra si muove”, если сказать, что нужно знать то, что устанавливается соответствующим *M*-предложением, то, равным образом, мы вынуждены ответить отрицательно, ибо *M*-предложение, взятое само по себе, хотя оно и не является неинформативным, явно ничего не объясняет. Если эти реакции правильны, то отсюда следует, что тот факт, что теория значения снабжает прямыми приписываниями значений, сам по себе не является достаточным основанием для утверждения, что она даёт адекватное описание того, в чём состоит знание значения.

Одна из наших пока еще не решенных проблем должна была обнаружить, какое преимущество скромная теория значения могла бы иметь перед простым руководством по переводу. Руководство по переводу сообщит нам, например, что “La terra si muove” означает то же самое, что и “Земля вертится”, но говорилось, что несоответствие этого покоится на том факте, что можно знать о синонимичности двух предложений, не зная, что подразумевает каждое из них. Чтобы получать из знания того, что два предложения являются синонимичными, знание, что означает итальянское предложение, нужно, очевидно, вдобавок знать, что означает русское предложение. Равным образом, очевидно, что в дополнение к знанию, что два предложения являются синонимичными, нужно знать (чтобы знать, что итальянское предложение означает, что Земля вертится), что русское предложение означает именно это. Отсюда следует, что, если мы должны были считать, что знание значения итальянского предложения состояло в знании того, что оно означает, что Земля вертится, мы должны также считать, что знание того, что означает русское предложение “Земля вертится”, состоит в знании, что *оно* означает, что Земля вертится. *M*-предложение типа “‘Земля вертится’

означает, что Земля вертится” для языка-объекта, который является частью метаязыка, совершенно ничего не объясняет, поскольку на сей раз оказывается совершенно неинформативным, хотя всё еще кажется невозможным отрицать, что некто знает, что означает “Земля вертится”, как раз в случае, когда он знает, что оно означает, что Земля вертится.

В этом контексте важно наблюдать различие, которым во многих контекстах можно пренебречь, различие между знанием о предложении, что оно истинно, и знанием пропозиции, выраженной предложением. Используя фразу “знать пропозицию, выраженную предложением” я не стремлюсь признать пропозиции за сущности и не принимаю обязательств к онтологии пропозиций. Я принимаю эту фразу просто как удобное средство выразить обобщение различия между, например, высказыванием о ком-то, что он знает, что предложение “19 – простое число” является истинным, и высказыванием о нём же, что он знает, что 19 – простое число. Причина, по которой *M*-предложение “‘Земля вертится’ означает, что Земля вертится”, кажется совершенно неинформативным, состоит в том, что нельзя было бы утверждать, что знание значения выражения “Земля вертится” состояло в знании того, что это *M*-предложения было истинным. Любой, кто схватил самые простые принципы, управляющие использованием глагола “означать”, и кто знает, что “Земля вертится” является русским предложением, должен знать, что это *M*-предложение истинно, даже если он может и не знать, что именно означает “Земля вертится”. Этот случай аналогичен примеру Крипке с предложением “Лошади называются ‘лошадьми’”. Крипке говорит, что тот, кто знает, как используется выражение “называется” в русском языке, должен знать, что это предложение выражает истину независимо от того, знает ли он, чем непосредственно являются лошади. Всё, что ему нужно знать, так это то, что “лошадь” является осмысленным общим термином русского языка, и непосредственный смысл выражения “знание, чем являются лошади” – это смысл, в котором оно синонимично выражению “знание, что означает ‘лошадь’”. Крипке допускает, однако, что тот, кто не знает, чем являются лошади, не будет знать, *какую* истину выражает предложение “Лошади называются ‘лошадьми’”. По-видимому, разумно предположить, что этой уступкой Крипке намерен отрицать, что мы можем говорить о таком человеке, что он знает, что лошади называются ‘лошадьми’, хотя он явно не говорит этого. То есть в моей терминологии такой человек может знать, что предложение “Лошади называются ‘лошадьми’” истинно, без того, чтобы знать пропозицию, выраженную этим предложением.

Можно было бы возразить, что тот, кто знает, что предложение является истинным, должен также знать пропозицию, выраженную этим

предложением, на том основании, что если он знает достаточно относительно значения слова “истинно” и знает, что это предложение является истинным, он должен знать связь между знанием чего-то и знанием, что это что-то является истинным (и между уверенностью в чём-то и уверенностью в том, что оно истинно и т.д.), связь, которая показана *T*-предложениями. Например, он должен знать, что предложение “Лошади называются ‘лошадьми’” является истинным, если и только если лошади называются ‘лошадьми’. Следовательно, по предположению он знает, что предложение “Лошади называются ‘лошадьми’” является истинным, он будет, если он способен к осуществлению простого вывода, также способен знать, что лошади называются ‘лошадьми’. Но это возражение становится правдоподобным лишь потому, что в его посылке игнорируется различие, несущественность которого оно намеревалось продемонстрировать, а именно, различие между знанием, что предложение истинно, и знанием пропозиции, которую оно выражает. Мы можем вполне оправданно приписать тому, кто не знает, что означает “лошадь”, но кто знает, что это – значимый общий термин, знание того, что *T*-предложение “‘Лошади называются ‘лошадьми’” является истинным, если и только если лошади называются ‘лошадьми’” является истинным. Но допускать, как требует аргумент, что он знает, что “Лошади называются ‘лошадьми’” истинно, если и только если лошади называются ‘лошадьми’, значит уклониться от сути дела.

Сказать о том, кто не знает, что означает “Земля вертится”, что он не знает, что “Земля вертится” означает, что Земля вертится, но знает только, что *M*-предложение истинно, вовсе не значит сказать, что он не готов произнести это *M*-предложение утвердительно, но только предложение “Предложение “‘Земля вертится’ означает, что Земля вертится” истинно”. Это даже не значит сказать, что он не мог бы привести достаточные основания в пользу предыдущего произнесения, напротив, он может дать вполне последовательные основания, а именно, обращаясь к использованию слова “означает” в русском языке. Но из парадокса Геттиера мы усвоили, что не каждое озвученное оправдание истинного убеждения достаточно, чтобы давать право носителю убеждения притязать на знание. Оправдание должно быть соответствующим образом соотносено с тем, что делает убеждение истинным. Оправдание произнесения *M*-предложения, которое обосновывало бы приписывание говорящему знание пропозиции, выраженной этим *M*-предложением, должно было бы зависеть от определенного значения предложения, к которому обращается *M*-предложение, в нашем случае от предложения “Земля вертится”, даже если при обычных обстоятельствах никто не

подумал бы об оправдании такого произнесения столь усложнённым способом.

Всё это показывает, что мы были совершенно правы, первоначально склоняясь рассматривать его как необходимое и достаточное условие знания кем-то того, что означает “Земля вертится”, когда он знает, что оно означает, что Земля вертится, т.е. что он знает пропозицию, выраженную соответствующим *M*-предложением. Но это равным образом показывает, что мы были также правы, рассматривая *M*-предложения как то, что вообще не объясняет, что значит знать значение предложения “Земля вертится”. Простейший способ, которым мы должны установить, что оно ничего не объясняет, заключается в наблюдении, что мы пока не обнаружили никакой независимой характеристики, что же большее должен знать тот, кто знает, что *M*-предложение истинно, чтобы знать выраженную им пропозицию, кроме того, что он должен знать, что означает “Земля вертится”. Знание этой пропозиции не может поэтому играть какой-то роли в описании того, в чём состоит понимание этого предложения. И если *M*-предложение, для которого метаязык содержит язык-объект, ничего не объясняет, то и *M*-предложение для языка-объекта, обособленное от метаязыка, точно так же ничего не объясняет. В последнем случае *M*-предложение действительно обеспечивает некоторую информацию, но знание истинности такого *M*-предложения (в противоположность знанию пропозиции, которую оно выражает) не требует владения какой-то информацией, не содержащейся также в соответствующем предложении из руководства для перевода.

Соображения относительно связи между знанием и оправданием, которые, как мы видели, лежат в основании различия между знанием истинности предложения и знанием выраженной им пропозиции, могут быть обобщены до случаев, где оно не является именно этим рассматриваемым различием. Конечно, выражение “знает, что” часто используется в повседневном дискурсе и в философских контекстах, в которых внимание не сосредоточено на понятии знания, просто как синонимичное с “известно, что”. Однако там, где “знание” используется в более строгом смысле, знание факта превосходит простую осведомлённость о нём тем, что знание включает то, что осведомлённость о факте была достигнута некоторым твёрдо установленным способом, т.е. что оно было получено некоторым специальным образом. Если затем мы пытаемся объяснить, в чём состоит определённая способность, говоря, что она состоит в обладании некоторой частью знания, и если правдоподобность этого описания зависит от того, что “знание” берётся в строгом смысле, а не как простая осведомлённость, попытка репрезентации этой способности остаётся неадекватной до тех пор, пока она останавливается на простой констатации *объекта* знания, на том,

ся на простой констатации *объекта* знания, на том, что он есть то, что должно быть известно в строгом смысле слова “знаю” тому, кто имеет эту способность. Чтобы дать адекватное объяснение рассматриваемой способности, описание должно делать нечто большее, чем просто определять факт, который должен быть известен, оно должно указать, как, в частности, должна быть достигнута осведомлённость об этом факте, т.е. какая процедура получения требуется для того, чтобы учитывать его как *знание* в строгом смысле.

Можно возразить, что никто никогда не предполагал, что адекватное объяснение значения или понимания предложения могло бы быть дано простой ссылкой на относящееся к нему *M*-предложение. В терминах, в которых я только что обсуждал эту тему, вся суть теории значения состоит в том, что она показывает твёрдо установленные средства, с помощью которых должно быть получено *M*-предложение. Только о том, кто способен к его получению таким способом, можно сказать, что он знает его в строгом смысле, или, как я выражался ранее, можно сказать, что он знает выраженную им пропозицию. Такое возражение вполне обосновано. Моя цель при обсуждении *M*-предложений здесь состояла не в том, чтобы опровергнуть никем не поддерживаемый тезис, но в том, чтобы проанализировать интуитивные причины, которые все мы разделяем, отклоняя его, чтобы обнаружить некоторые общие места, которые можно применить в другом месте.

Тогда, чтобы видеть, в чём, согласно описанию Дэвидсона, состоит знание значения предложения, мы должны обратиться к способу, которым в теории значения получено относящееся к нему *M*-предложение. *M*-предложение, как мы отмечали, получается заменой “истинно, если и только если” в соответствующем *T*-предложении на “означает, что”, а *T*-предложение, в свою очередь, получается из аксиом теории истины, управляющих составляющими предложение словами, и аксиом, управляющих методами образования предложений, иллюстрируемых этим предложением. Это, конечно, полностью согласовывается с нашим интуитивным убеждением, что говорящий получает своё понимание предложения из своего понимания составляющих его слов и способа, которым они соединены. В рамках теории значения дэвидсонианского типа знание аксиом, управляющих этими словами, играет роль схватывания значений слов. В нашем примере они могут быть установлены как “‘Земля’ обозначает Землю” и “Истинно сказать относительно чего-то, что ‘Оно вертится’, если и только если эта вещь вертится”. (Эта последняя формулировка аксиомы, управляющей словом “вертится”, избегает обращения к техническому приспособлению выполнения бесконечной последовательностью и является только приблизительным указанием на

то, что требуется, но если мы стремимся к серьезной репрезентации того, что известно тому, кто способен говорить по-русски, мы не можем в буквальном смысле приписать ему понимание этого технического приспособления.)

Тому, кто знает, что означает предложение “Земля вертится”, не достаточно знать, что относящееся к нему *M*-предложение является истинным. Он должен знать пропозицию, выраженную этим *M*-предложением. И естественный способ охарактеризовать, что дополнительно должен знать тот, кто знает, что *M*-предложение истинно, чтобы знать выраженную им пропозицию, – это значения составляющих его слов. Если теперь мы объясняем понимание составляющих его слов как состоящее в знании аксиом теории истины, которые управляют этими словами, возникает тот же самый вопрос. Достаточно ли для него знать, что эти аксиомы являются истинными, или же он должен знать пропозиции, которые они выражают? Возражение на требование, чтобы он знал только то, что аксиомы истинны, параллельно возражению, которое мы допускали в случае *M*-предложения. Тот, кто знает употребление выражения “обозначает” и знает, что “Земля” является сингулярным термином русского языка, должен знать, что предложение “‘Земля’ обозначает Землю” является истинным, даже если он не знает, что именно фраза “Земля” означает или обозначает.

Однако на это можно возразить на том основании, что, если бы мы должны были изменить пример “Земля вертится” на “Гомер был слепым”, стало бы очевидно, что для того, чтобы знать, что “‘Гомер’ обозначает Гомера” является истинным, нужно знать более того, что “Гомер” является собственным именем, нужно знать также, что оно не является пустым именем. Такое возражение едва ли можно принять, поскольку для любого языка, в котором открыта возможность того, что “Гомер” является пустым именем, соответствующая аксиома теории истины не будет принимать простую форму “‘Гомер’ обозначает Гомера”. По крайней мере, она не будет принимать простую форму, если бы имя, являющееся пустым, лишало бы истинности предложение “‘Гомер’ обозначает Гомера”. Эту простую форму аксиома, управляющая каждым именем собственным, будет принимать только в теории истины для языка фрегеанского типа, в котором все сингулярные термины понимаются как гарантирующие обозначение. Для языков других типов аксиома, управляющая таким именем, как “Гомер”, должна будет принимать иную форму. Например, для любого языка, в котором предикат “... есть Гомер” берётся как истинный для референта “Гомер”, если таковые вообще имеются, и как ложный для всего остального, аксиома могла бы принять форму “Для каждого *x*, ‘Гомер’ обозначает *x*, если и только ес-

ли x есть Гомер”. Если бы язык был расселовским, так что наличие пустого имени в атомарном предложении делало бы его ложным, подходящие дальнейшие аксиомы давали бы T -предложение “‘Гомер был слепым’ истинно, если и только если Гомер был слепым”. Если, с другой стороны, язык был бы таким, что наличие пустого имени в предложении (за исключением, когда за ним следует знак тождества) давало бы, что предложение не является не истинным и не ложным, то мы не должны стремиться к образованию T -предложения, поскольку, если бы “Гомер” было пустым именем, левая сторона была бы ложной, тогда как правая сторона не была бы ложной. Вместо этого нам требовалось бы нестандартное T -предложение “‘Гомер был слепым’ истинно, если и только если для некоторого x , x есть Гомер и x был слепым”. Поэтому требование, что для того, чтобы быть способным получить T -предложение, относящееся к “Гомер был слепым”, прежде следовало бы знать, действительно ли “Гомер” является пустым именем, совершенно необоснованно.

Это можно было бы отрицать, только если бы считалось, что для того, чтобы знать значение “Гомер”, нужно знать, действительно ли существовал такой человек, как Гомер, ибо теория истины – это часть теории значения для языка, и она может воплощать только то, что требуется для понимания языка. Совершенно очевидно, для того, чтобы знать, как употребляется имя “Гомер” в нашем языке, нет необходимости знать, действительно оно нечто обозначает или же нет, самое большее, что может потребоваться, – так это то, что нужно знать, известно ли, обозначает ли это имя. То есть можно было бы считать, что для имени, для которого известно, что оно нечто обозначает, это знание входит в понимание имени. Если это так, тогда для такого имени, как, скажем, “Лондон”, управляющая им аксиома будет принимать простую форму “‘Лондон’ обозначает Лондон”. Знание о том, обозначает ли нечто “Гомер”, с другой стороны, не может быть частью того, что включено в знание употребления этого имени, по той очевидной причине, что это знание не влияет на носителей языка.

Если предполагается, что тот, кто предпринимает попытку серьезного исследования, существует ли такое место, как Лондон, тем самым показывает, что в его распоряжении нет принятого употребления имени “Лондон”, тогда истинным будет то, что тот, кто знает о слове “Лондон” только то, что оно является именем собственным, не может всё-таки признать за истинную управляющую им аксиому, он должен также знать, что оно является именем, относительно которого мы уверены, что оно не пусто. Но, очевидно, можно владеть информацией об этом факте и, следовательно, делать заключение к истинности предложения “‘Лондон’ обозначает Лондон” без того, чтобы знать, что точно означает

“Лондон”. Поэтому мы всё ещё должны сделать вывод, что знание об истинности аксиомы недостаточно для понимания имени. Было бы ошибочно опровергать это, доказывая, что просто владеть информацией, что “Лондон” является именем, о котором точно известно, что оно не пусто, не значит *знать* этот факт, но что знание его в строгом смысле особо включает знание того, как употребляется имя “Лондон”. Если бы такой аргумент был корректным, то возражение Дэвидсона против рассмотрения руководства для перевода в качестве теории значения (что можно, например, знать, что “la terra” означает то же самое, что и “Земля”, без того, чтобы знать, что означает каждое из них) было бы необоснованным, ибо можно было бы таким же образом доказывать, что тогда как некто мог бы быть осведомлён относительно их синонимии, он не мог бы в строгом смысле *знать* это, не зная, что означают оба слова. Данное возражение вступало бы в конфликт с усвоенным нами методологическим принципом, а именно, не принимать за часть объяснения требование, чтобы некто знал нечто, где “знание” берётся в строгом смысле, превосходя простую осведомлённость, но не даётся никакого описания, что конституировало бы такое знание.

Существенно соблюдать этот принцип, если мы должны избегать пустых или круговых объяснений. Предположим, истинно – хотя это мне и кажется сомнительным, – что нельзя в строгом смысле знать, что имя обозначает хорошо известный объект, кроме того существующий, без того, чтобы знать точное использование этого имени. Это должно быть так, поскольку осведомлённость о факте, чтобы рассматривать её как *знание*, должна быть получена особым способом. Одно из достоинств теории значения, репрезентирующее совершенство владения языком как знание не изолированных, но дедуктивно связанных пропозиций, состоит в том, что она даёт должное подтверждение бесспорному факту, что процесс получения какого-то вида включён в понимание предложения. Такая теория, где бы она не апеллировала к некоторому процессу получения, естественно, состоит в признании истинности аксиом. Упорство, что такое признание сводится к знанию в строгом смысле, однако, молчаливо апеллировало бы к процессу, посредством которого была получена их истинность, процессу, который теория не в состоянии сделать явным. Например, мы попали бы в круг, если сказали бы, что понимание имени “Лондон” состоит в знании в строгом смысле истинности предложения “‘Лондон’ обозначает Лондон” и затем продолжать говорить, что условием обладания таким знанием является схватывание точного употребления имени; то, что мы искали, является характеристикой того, что конституирует схватывание употребления такого имени.

Таким образом, нет никакой возможности считать, что понимание слов, составляющих предложение, состоит только в понимании истинности аксиом, управляющих ими; нужно знать пропозиции, выраженные этими аксиомами. Теория значения должна поэтому быть в состоянии объяснить, что отличает знание пропозиций, выраженных этими аксиомами, от простой осведомлённости об их истинности. Дэвидсон сам полностью признаёт возложенное на теорию значения обязательство – дать теорию понимания. Он совершенно ясно выражается относительно того, в чём, с его точки зрения, состоит понимание предложения, а именно, в знании как соответствующего *T*-предложения, так и факта, что это *T*-предложение было получено в теории истины для языка, удовлетворяющей наложенным на такую теорию ограничениям, с тем чтобы она была приемлема. Аналогом понимания слова предположительно было бы знание управляющей им аксиомы, а также факта, что это предложение является аксиомой теории истины, удовлетворяющей этим ограничениям. Следовательно, на сей раз предположение заключается в том, что мы можем репрезентировать знание пропозиций, выраженных предложениями, которые служат в качестве аксиом, как состоящее в осведомлённости об их истинности, дополненной некоторым фоновым знанием об этих предложениях.

Мне кажется, не нужно значительных усилий, чтобы признать, что апелляция к фоновой информации не может снабдить тем, в чём мы нуждаемся. Если кто-то не знает, что означает “Земля”, он нечто усвоит, если ему скажут, что предложение “‘Земля’ обозначает Землю” истинно, при условии, что он понимает глагол “обозначает”, а именно, он усвоит, что “Земля” – это сингулярный термин, и он не пуст. Но если теперь он попросит сообщить ему определенное значение этого термина, ему не окажут какой-либо помощи, если скажут, что рассматриваемое предложение является аксиомой теории истины в русском языке, удовлетворяющей некоторым особым ограничениям. Очевидно, ему сообщат, что то, что конкретно обозначает “Лондон”, есть в самом предложении “‘Лондон’ обозначает Лондон” и, в частности, является в нём объектом глагола “обозначает”, а не сообщает какую-то постороннюю информацию об этом предложении. Тому, кто знает русский язык, будет приписана не просто осведомлённость о том, что это предложение истинно (как и другие, подобные ему), но эта осведомлённость, взятая вместе с пониманием предложения или, другими словами, со знанием пропозиции, выраженной этим предложением. Конечно, когда мы рассматриваем вырожденный случай, при котором метаязык является расширением языка-объекта, требование понятности метаязыка становится круговым. Так как чтобы получить из аксиомы знание того, что обозна-

чает “Лондон”, уже нужно понимать имя “Лондон”. Но не существует требования, чтобы теория истины была выражена в расширении языка-объекта. Если бы аксиома распространялась на “‘Лондон’ *denota* Londra”, то она была бы пониманием термина “Londra”, который был бы нужен для усвоения того, что обозначает “Лондон”, и круга бы не было.

Достаточно разумное само по себе всё это не помогает нам понять, какое значимое различие имеет место между скромной теорией значения данного вида и руководством для перевода. По-видимому, ясно, что мы должны приписать тому, кто способен использовать теорию истины для получения интерпретации языка-объекта, предшествующее понимание метаязыка. Это даже более очевидно, когда мы приписываем ему осведомлённость в том, что теория истины удовлетворяет требуемым ограничениям, поскольку эти ограничения ссылаются на условия, *установленные* с правых сторон Т-предложений, понятие, которое не может быть объяснено в терминах формальной теории, но предполагает её интерпретацию. Следовательно, теория значения данного вида просто показывает, что она должна прийти к интерпретации одного языка через понимание другого языка, а это как раз то, что делает руководство для перевода. Она не объясняет, что значит в совершенстве владеть языком, скажем, родным, независимо от знания какого-то другого языка.

Этого вывода можно было бы избежать, только если бы мы могли приписать говорящему на языке-объекте знание пропозиций, выраженных предложениями теории истины, независимо от какого-то языка, в котором эти пропозиции могли бы быть выражены. Если это то, к чему стремится такая теория значения, она кажется глубоко неудовлетворительной, поскольку у нас нет никакой модели, а теория не обеспечивает ничего такого, в чём могло бы состоять понимание таких пропозиций, отличного от способности изложить их лингвистически.

На это можно ответить, что понимание этих пропозиций не может быть объяснено постепенно для каждого предложения теории истины, взятого по отдельности, но что ценность теории истины как целостного результата заключается как раз в способности говорить на языке-объекте и понимать его так, чтобы не было никаких пробелов. То, что нам дано, – это теоретическая модель практической способности, способности использовать язык. Поскольку это – теоретическая модель, репрезентация осуществляется в терминах знания дедуктивно связанной системы пропозиций, а так как мы можем выразить пропозиции только в предложениях, модель должна быть описана в терминах дедуктивно связанной системы предложений. Никто не стремится предполагать, что говорящий на языке-объекте действительно обладает предшествующим пониманием языка, в котором образованы эти предложения. Вот почему

безопасно образовывать их в языке, который на самом деле является расширением языка-объекта. Но, равным образом, нет никакого невыполненного обязательства и в том, чтобы сказать, в чём состоит схватывание пропозиций, выраженных этой теорией. Оно состоит в той практической способности, для которой мы задаем теоретическую модель.

Как раз здесь становится явной связь между теорией значения, развиваемой с помощью теории истины, и холистической точкой зрения на язык, связь, на первый взгляд, загадочная. Семантика, обеспечивающая высказыванием об условиях истинности каждое предложение, полученное из конечного множества аксиом, каждая из которых управляет единственным словом или конструкцией, представляется, прежде всего, реализацией атомистической концепции языка, при которой каждое слово имеет индивидуальное значение, а каждое предложение – индивидуальное содержание. *T*-предложение для данного предложения этого языка получается как раз из тех аксиом, которые управляют словами и конструкциями, встречающимися в этом предложении. Но связь между такой концепцией и холистическим взглядом на язык покоится на том факте, что относительно того, в чём состоит знание пропозиций, выраженных аксиомами или *T*-предложениями, ничего не определено; единственные ограничения на теорию суть глобальные ограничения, относящиеся к языку как целому. Относительно такого подхода не может быть никакого ответа на вопрос, что конституирует понимание говорящим какого-то одного слова или предложения. Можно только сказать, что знание полной теории истины заключается в способности говорить на языке и, в частности, в предрасположенности признавать его предложения за истинные при условиях, соответствующих, в общем и целом, условиям, установленным *T*-предложениями.

Таким образом, апелляция к знанию того, что теория истины удовлетворяет внешним ограничениям, не способствует объяснению понимания говорящим какого-то индивидуального слова или предложения, чтобы заполнить пробел между его знанием истинности аксиомы или теоремы теории истины и его знанием выраженной им пропозиции. Оно просто служит посредником между его знанием теории в целом и его совершенством владения целостным языком. Привлекательность теории значения этого типа заключается в том, что она, по-видимому, опровергает подозрение, что холистический взгляд на язык должен быть анти-систематическим. Поскольку говорить на языке – значит иметь способность произносить его предложения согласно их конвенциональной значимости, кажется, что нет надежды на какое-то систематическое описание употребления всего языка, которое не давало бы описание значения индивидуальных произнесений. Дэвидсонская теория зна-

чения, с другой стороны, объединяет основной догмат холизма с намерением дать описание способа, которым значение каждого индивидуального предложения определяется значением составляющих его слов. Однако эта видимость иллюзорна. Формулировка теории истины не берётся как то, что соответствует какой-либо формулировке практической способности, владение которой обнаруживает то знание, теория которого представлена как теоретическая модель. Знание говорящим значения индивидуального предложения представлено как состоящее в его схватывании части дедуктивной теории, и оно связано с его действительным произнесением только тем фактом, что схватывание целостной теории предполагается обеспечить некоторым способом, объяснение которого не даётся в имеющемся у него в распоряжении языке в его полноте. Но никакой такой способ даже в принципе не обеспечивается сегментацией его способности использовать язык как целое на различные составляющие, способности, которая обнаруживает его понимание индивидуальных слов, предложений или типов предложения. Чтобы осуществить какую-то подобную сегментацию, было бы необходимо дать детальное описание практической способности, в которой состояло бы понимание отдельного слова или предложения, тогда как с точки зрения холизма имеющийся в распоряжении говорящего язык не только не может быть так сегментирован, но и никакое детальное описание того, в чём оно состоит, нельзя дать вообще. Следовательно, формулировка теории не играет подлинной роли в описании того, что составляет совершенство владения говорящим своим языком.

Против этого можно возразить, что теория истины всё же говорит нам что-то относительно употребления каждого индивидуального предложения, ибо она устанавливает условия, при которых говорящий будет, вероятно, считать его истинным. Разумеется, верно, что теория значения, основанная на теории истины, отражала бы молекулярный, а не холистический взгляд на язык, если бы мы могли взять правые стороны *T*-предложений как установление условий, при которых носители языка неизменно считали бы истинными предложения, наименованные на его левых сторонах. Но это не даёт возможного способа объяснения по двум причинам. Прежде всего, для любого естественного языка условия, установленные на правых сторонах *T*-предложений, не будут в общем случае условиями, которые мы способны признать в качестве достигнутых всякий раз, когда они достигнуты. Молекулярная теория значения, основанная на понятии условий истинности должна приписать тому, кто понимает предложение, знание условия, которое должно быть получено, чтобы оно было истинным, а не способность признать, что предложение истинно как раз в том случае, когда это условие имеет ме-

сто. Во-вторых, такое описание не оставляло бы никакого места для ошибок. Чтобы оставить для них место, мы должны утверждать, что приемлемая теория истины будет давать *лучшее из возможных* соответствий между условиями истинности предложения и условиями, при которых оно считается истинным, а не *совершенное* соответствие. Отсюда следует, что о понимании говорящим предложения нельзя судить иначе, как относительно применения им всего языка. (На самом деле, несколько сомнительно, можно ли вообще судить о совершенстве владения языком его индивидуальным носителем. Если мы отождествляем лингвистическое сообщество извне, то дэвидсонская теория значения даёт нам довольно хорошее, хотя обязательно несовершенное руководство к тому, какие предложения члены этого сообщества будут считать истинными. Будут расхождения со стороны всего сообщества, случаи, когда мы будем говорить на основании этой теории значения, что сообщество разделяет ошибочное убеждение. Будут также разногласия между индивидуальными носителями языка. Каким образом мы должны устанавливать различия между разногласием, которое может встретиться у двух носителей языка, молчаливо принимающих одну и ту же теорию значения для их общего языка, но один из которых отражает отличающиеся интерпретации этого языка? Возможно, если член лингвистического сообщества придерживается отклоняющейся теории истины для языка, он будет иметь тенденцию отклоняться от большинства носителей языка в своих суждениях чаще, чем большинство говорящих. Но поскольку конечное множество таких расхождений само по себе не обнаруживает его убеждённости в нестандартной теории истины, трудно видеть, как он, другие носители языка или мы как наблюдатели могли бы когда-либо это обнаружить, или каким образом, однажды обнаруженное, это можно было бы исправить. Затруднение возникает именно потому, что нет никакого способа определить в рамках такой теории индивидуальное содержание, которым какой-либо носитель языка наделяет предложение).

Дэвидсон делает вид, что действует по собственной воле, и использует пробел между условием истинности предложения и условием, при котором оно считается истинным, чтобы объяснить генезис понятия убеждения¹.

Однако в этом содержится отход от того, что мы вправе ожидать от теории значения. Такая теория должна быть способна провести различие между разногласиями, возникающими из-за различия в интерпретации, и разногласиями по существу (разногласиями относительно фак-

¹ См.: D. Davidson, 'Thought and Talk', in Guttenplan (ed.), *Mind and Language*, 20.

тов). Необходимо объяснить, почему случаются разногласия по поводу истинностных значений предложений даже тогда, когда имеется согласие относительно их значения. Куайн, конечно, научил нас относиться к этому различию с подозрением. Бесспорно, значения выражений естественного языка часто размыты, и впоследствии это различие стирается. Равным образом верно, что, как говорит Дэвидсон², мы не должны беспечно предполагать, что каждое разногласие по поводу истинностного значения, например, предложения “Земля – круглая”, должно расцениваться как разногласие по существу, а не как разногласие относительно интерпретации. Но теория значения, которая в принципе отрицает жизнеспособность этого различия, рискует впасть в солипсизм. Разногласие между индивидуальными носителями одного и того же языка в одно и то же время или не может быть объяснено вообще, или должно объясняться приписыванием им расходящихся теорий истины для языка; то же самое относится к изменению состояний сознания у одного индивидуума. Если принято последнее направление, мы утрачиваем концепцию лингвистического сообщества; язык, рассматриваемый как определённый теорией значения, становится чем-то высказанным отдельным индивидуумом в некоторый период времени.

Очевидный факт, относящийся к существу вопроса, состоит в том, что выносимые нами суждения не соотнесены непосредственно с состояниями дел, которые делают их истинными или ложными. Даже если бы корректная теория значения для нашего языка репрезентировала бы наше схватывание значения каждого предложения как состоящее в нашем знании условия, при котором оно должно считаться истинным, мы, в общем случае, не достигаем нашей оценки истинности предложения прямым признанием, что соответствующее условие получено, поскольку по большей части это условие не является условием, которое мы в состоянии признать. Следует ли нам, таким образом, говорить, что адекватная теория значения должна быть в состоянии дать описание не просто того, что определяет наши суждения как корректные или некорректные, но также и того, как мы к ним приходим, поскольку это также зависит от значений, которые мы приписываем предложениям, о значениях истинности которых судим, и что это описание должно быть в состоянии показать, как в процессе мы способны сбиться с пути, даже когда разделяем с другими носителями языка общую интерпретацию предложения? Скажем мы это или же нет, отчасти дело вкуса, зависит от того, сколь многое мы желаем числить за принадлежащее теории значения; такой подход, разумеется, принадлежит полному описанию

² Ibid, 21.

действий языка. Если теория значения, основанная на молекулярном взгляде на язык, создаёт возможность для индивидуума ясно соотнести определённое значение с предложением, значение, которое предопределяет, когда об этом предложении можно судить, что оно истинно, то у нас есть также ясный критерий того, когда суждение репрезентирует ошибку, связанную с фактом. Если затем мы принимаем решение, что описание процессов, ведущих к таким ошибкам, не относится к теории значения, тогда затрагивается лишь спорный вопрос о разграничении. Но теория значения, основанная на холистической точке зрения, которая не имеет критерия для соотнесения говорящим специфического значения с каким-либо одним предложением, кроме его склонности считать это предложение истинным или ложным, и поэтому не имеет целью дать описание понимания говорящим этого предложения, но только всего языка, не может придать определённого содержания понятию ошибки, к которому она обращается лишь для того, чтобы объяснить отсутствие соответствия между теорией истины и суждениями, действительно вынесенными говорящими. Было бы абсурдно ожидать от теории значения приписывания каждому выражению полностью определённого значения; однако я утверждаю, что требуется оставить место для различия между расхождением по существу и расхождением относительно значения, для различия, которое всё же не было изобретено введёнными в заблуждение теоретиками, но действительно используется в рамках нашего языка. Любая теория, которая соотносит предложения просто с условиями истинности, без попытки какого-либо учёта средств, с помощью которых мы осознаём или судим, что эти условия истинности выполнены, или обеспечения каких-то средств определения, что индивидуальный носитель языка, или даже целое сообщество, соотносит отдельное условие истинности с отдельным предложением, помимо грубого соответствия между условиями истинности всех предложений при принятой теории и сделанными относительно них суждениями, неспособна обеспечить какое-то место для такого различия.

Можно было бы ответить, что я полностью ошибаюсь, отрицая, что Дэвидсон может репрезентировать схватывание индивидуальным носителем языка значения отдельного предложения. Он всё-таки устанавливает, что понимание индивидуумом предложения состоит в его знании о подходящем *T*-предложении, что оно было получено из некоторой теории истины для этого языка, удовлетворяющей требуемым ограничениям, без того, чтобы он действительно знал эту теорию истины³. Но как следует судить о том, что индивидуум знает это *T*-предложение? Что

³ Ibid, 13.

действительно он должен делать с информацией, если оно у него есть? Можно было бы утверждать, что он обнаружит это знание, вынося суждение, что предложение истинно как раз в том случае, когда достигнуто условие, установленное в *T*-предложении. Но почему он должен это делать? Ладно, можно было бы сказать, что он знает, что теория истины, которая приводит к этому *T*-предложению, достигает лучшего соответствия с суждениями, сделанными другими носителями языка, и он хочет максимизировать согласование своих суждений с их суждениями. По предположению, верно, что эта теория истины будет достигать лучшего соответствия, возможного для *теории истины*, но поскольку она не будет достигать совершенного соответствия, он, максимизируя согласования, поступил бы лучше, не руководствуясь исключительно какой-то одной теорией истины. Да и откуда он может знать, что не достиг бы лучшего согласования, игнорируя теорию истины в данном случае? В конечном счёте то, что все другие носители языка следуют политике суждения об истинностном значении предложений только в согласии с данной теорией истины, может и не иметь места, иначе соответствие *было бы* совершенным. Так почему же должен он? На это можно ответить только то, что другие носители языка пытаются следовать этой политике, но, поступая так, делают ошибки. Теперь мы снова вернулись к вопросу, что такое ошибка. Приписывая говорящим политику приспособлять свои суждения к теории истины, мы тайно приписали им способность судить, выполнены ли условия истинности предложения (суждения, которые не всегда будут корректны), но мы не придали никакого содержания понятию о таком суждении, как отличному от суждения относительно истинностного значения предложения.

То, что мы должны обратиться к понятию ошибки для объяснения недостаточного соответствия между теорией истины и действительными суждениями, сделанными носителями языка, звучит правдоподобно, хотя бы потому, что мы находим понятие такой ошибки уже доступным. Мы достаточно знакомы с идеей, что некто может приписать определённое значение предложению, и всё-таки будет ошибкой судить, что оно истинно. Но теория, которая не предлагает никакого объяснения того, каким образом возникают такие ошибки, не имеет права обращаться к данному понятию. Это мы можем увидеть явно, если рассмотрим какую-нибудь теорию, не имеющую своим предметом язык, например, физическую теорию. Недопустимо было бы, например, говорить, что теория движения планет – это теория, достигающая лучшего возможного соответствия с их наблюдаемыми движениями, а любое несоответствие возникает из-за ошибок со стороны планет. Если бы всё, чем мы должны были бы обходиться при построении теории значения, от-

носились к суждениям носителей языка относительно истинности или ложности предложений и к условиям, преобладающим, когда эти суждения выносятся, то мы должны были бы иметь право от любой теории, которую нам советуют принять, требовать, чтобы соответствие было совершенными, кроме мелких несурязиц, приписываемых ошибкам наблюдения. К счастью, мы не ограничены этим.

Поэтому результатом нашего обсуждения является следующее. Если теория значения данного типа принимается буквально, как относящаяся к теории истины, выраженной в действительных предложениях, она не имеет преимущества перед руководством для перевода, поскольку она должна предполагать понимание метаязыка. Если, с другой стороны, она рассматривается как приписывание говорящему невербализованного знания пропозиций, выраженных предложениями теории, её объяснительная сила улетучивается, поскольку она не обеспечивает средств, с помощью которых мы можем объяснить приписывание индивидууму знания различных отдельных пропозиций и их дедуктивной взаимосвязи. Это значит сказать, что скромная теория значения или добивается не более чем руководство для перевода и, следовательно, не в состоянии объяснить, что, в общем случае, знает некто, когда он знает язык, или она должна рассматриваться холистически, и в этом случае её требование дать систематическое описание совершенного владения языком фальшиво, поскольку холистический взгляд на язык устраняет возможность любого такого описания.

Мы отметили, что теория значения, если она репрезентирует понимание выражения как состоящее в обладании некоторой частью знания, не может довольствоваться определением объекта этого знания, упуская при этом, что “знание” должно браться в строгом смысле; она должна также показать способ, которым должно быть получено это знание, чтобы квалифицироваться как знание. Но наши последующие доводы относились к иному пункту. Во многих контекстах мы можем принимать за непроблематичное приписывание кому-то осведомлённость в некотором факте, поскольку мы можем приписать ему понимание языка, и проявление его осведомлённости будет состоять прежде всего в его способности установить факт или в его склонности одобрить высказывание этого факта. Но там, где мы имеем дело с репрезентацией в терминах пропозиционального знания некоторой практической способности и, в частности, где эта практическая способность есть как раз совершенство владения языком, на нас возложено, если наше описание должно иметь объяснительную силу, не только определение того, что некто должен знать, что значит для него иметь эту способность, но также и то, что значит для него иметь это знание, т.е. что мы рассматрива-

ем как образующее проявление знания этих пропозиций. Если мы не в состоянии этого сделать, то не будет установлена связь между теоретической репрезентацией и практической способностью, которую теоретическая репрезентация намеревается представить. Я не возражаю против идеи теоретической репрезентации практической способности как таковой и, конечно, не возражаю против репрезентации совершенства владения языком посредством дедуктивной теории. Я говорю только, что такая репрезентация лишена объяснительной силы, если схватывание индивидуальных пропозиций теории не объясняется в терминах определенной практической способности говорящего. Я не знаю, возможно ли это; я не знаю, что холизм – это некорректная концепция языка. Но я утверждаю, что принятие холизма должно вести к заключению, что любая систематическая теория значения невозможна, и что попытка сопротивляться этому выводу может вести только к построению псевдотеорий; мое собственное предпочтение поэтому – предполагать в качестве методологического принципа, что холизм ложен.

Следующий возникающий естественным образом вопрос состоит в том, можно ли полнокровную теорию значения представить в терминах понятия условий истинности предложения. К вашему утешению, я уберегу вас от расширенного обсуждения, которого потребовал бы ответ. Но мы находимся в ситуации, вынуждающей кратко обратиться к другому вопросу относительно формы, которую должна принимать теория значения, а именно, должна ли она (в терминологии, которую я заимствую у МакДауэла) быть богатой [rich] или непритязательной [austere]. Если теория значения задаётся в терминах условий истинности, то там, где рассматривается имя собственное, богатая теория будет приписывать говорящему, понимающему имя, знание условия, которое должно быть выполнено каким-то объектом, чтобы этот объект был носителем имени, тогда как непритязательная теория будет представлять говорящего лишь как знающего об объекте, который имя фактически обозначает, что он является этим носителем. Как минимум, в этом случае, а именно, где теория выражена в терминах условий истинности, данное различие, по-видимому, совпадает с различием между полнокровной и скромной теорией, хотя оно иначе сформулировано. Для теории более верификационистского типа непритязательная теория будет приписывать тому, кто понимает имя, способность при встрече опознать её носителя, тогда как богатая теория взамен представляет того, кто понимает имя, как готового признать, с точки зрения того, что принимается как установленное для какого-то данного объекта, что этот объект является его носителем. В пользу богатой теории можно было бы сказать: “Мы не *просто* опознаём объекты, мы опознаём их посредством некоторой

отличительной черты”. От имени непритязательной теории на это можно было бы ответить, что то, как мы опознаём объект, – это психологический вопрос, неуместный в теории значения, и что в любом случае не обязательно иметь средства, с помощью которых мы их опознаём. Например, никто не может привести многое из того, что учитывается при опознании предиката “... является красным”, когда он применяется к чему-либо. Так, предположим, что мы столкнулись с некоторыми разумными, но не человеческими существами, которые обладают языком, содержащим то, что кажется именами рек. Хотя они отождествляют реки под этими именами с замечательной точностью, мы не можем обнаружить средства, с помощью которых они осуществляют такие отождествления, и они не могут дать какое-то описание этого процесса. Тем не менее остаётся то, что если одно из этих существ отождествило два различных отрезка воды под одним и тем же названием реки, и впоследствии доказано прослеживанием курсов этих отрезков воды, что нет никакого протока от одного к другому, тогда это существо должно отказаться от того или иного отождествления. В крайнем случае, если эти существа не осознают этой необходимости, то их слова не могут приниматься за имена рек. Так называемые теории референции – это теории о том, что в проблематичных случаях мы должны принимать как установление того, какой объект, если таковые вообще именуются, является носителем данного имени собственного, а потому, они должны более точно называться теориями смысла имени собственного. Тот факт, что эти теории столь спорны, показывает, насколько неясно наше схватывание употребления нами самими имён собственных. Но если наши воображаемые существа используют имена так, что в случае разногласия они не смогли бы урегулировать вопрос, какой объект является носителем (и не важно, что мы фактически принимаем за таковой), тогда они понимают свои имена не тем способом, которым мы понимаем наши. Подобные примеры непосредственно обнаруживают достоинство идеи, что в том, что предопределяет значение слова, не так уж и много от того, что на практике вызывает его применение и что согласовано как окончательное установление его правильного применения в спорных случаях. Доказывать, что не нужно полагаться на обычные случаи употребления и на какой-то принцип, руководящий нами при применении имени, значит упустить суть этой знакомой идеи.

Таким образом, я прихожу к заключению, что теория значения, если она вообще возможна, должна согласовываться с атомарной или, по крайней мере, с молекулярной, а не с холистической концепцией языка, что она должно быть полнокровной, а не скромной, и богатой, а не непритязательной. Она не должна заключаться в каких-то прямых припи-

сываниях значения, но она должна давать явное описание не только того, что некто должен знать, чтобы знать значение какого-то данного выражения, но и того, что конституирует обладание таким знанием. Как я отмечал, на следующем этапе следовало бы спросить, должна ли такая теория значения основываться на понятии условий истинности или на каком-то другом понятии. Когда я приступил к написанию данного очерка, мной владела безумная идея, что я должен найти время, чтобы обсудить не только затронутые в нём темы, но также и вопрос, поднятый Стросоном в его инаугурационной лекции⁴, касающейся отношения между теориями значения (в том виде, как мы их обсуждали) и подходом к значению, заданным Грайсом, а потому закончить очерк исследованием понятия лингвистического акта и отношения между такими актами и их интериоризациями, например исследованием отношения между утверждением и суждением. Только рассматривая эти темы, можно было бы утверждать, что дан ответ на вопрос, который я взял как название своего очерка, но я подумал, что лучше не пытаться дать здесь окончательный ответ.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Полезно рассмотреть дэвидсоновскую теорию значения, противопоставляя её теории смысла и референции Фреге. У Фреге было два типа аргументов в пользу необходимости понятия смысла наряду с понятием референции. Первый относится к знанию языка говорящим и, по существу, состоит в наблюдении, что отсутствует понимание, каким образом приписать кому-то часть знания, *всё* описание которого заключается в том, что он знает референцию данного выражения. Если некто знает, каков референт выражения, то этот референт должен быть дан ему некоторым особым способом, и этот способ, которым дан референт, конституирует смысл, приданный им этому выражению. Этот аргумент понимается следующим образом. Приписать кому-то знание референции, скажем, имени “Оксфорд” – значит сказать о нём, что он знает о городе Оксфорде, что тот является референтом этого имени. Сказать о нём, что он знает референцию имени, без приписывания этому имени какого-то особого смысла, – значит сказать, что *полное* описание его обладания этой частью знания задаётся высказыванием, что он знает об этом городе, что тот является референтом данного имени. Это составляет высказывание, что данная часть знания не может быть далее охарак-

⁴ P.F. Strawson, ‘Meaning and Truth’, *Logico-Linguistic Papers* (London, 1971).

теризована высказыванием о нём чего-то такого, что имеет форму “Он знает, что город, который... является референтом ‘Оксфорд’”. Точно так же приписать кому-то знание референта (объёма), скажем, предиката “ x эластичен” – значит сказать о нём, что он знает об эластичных вещах, что этот предикат относительно них является истинным. В то же время сказать, что он знает референцию предиката, без придания этому предикату какого-то особого смысла, значит сказать, что это приписывание конституирует *полное* описание этой особой части знания. И это равносильно отрицанию, что данная часть знания может быть далее охарактеризована высказыванием о нём чего-то такого, что имеет форму: “Он знает, что ‘ x эластичен’, является истинным относительно любого объекта, который...”.

То есть приписывание кому-то знания референции выражения должно пониматься как высказывание формы $[X$ знает об a , что оно есть $F]$ или формы $[X$ знает об этих G , что они суть $F]$, то есть как высказывание, в котором субъект “что”-предложения в прозрачном контексте находится вне “что”-предложения. Назовём такое высказывание “приписыванием знания об объекте или объектах”. И утверждение, что некто знает референцию выражения, без придания этому выражению какого-то особого смысла, равно приписыванию ему знания об объекте или объектах при одновременном отрицании, что есть какая-то дальнейшая характеристика этой части знания посредством высказывания формы $[X$ знает, что b есть $F]$ или $[X$ знает, что эти G суть $F]$, то есть высказывания, в котором субъект “что”-предложения появляется внутри данного высказывания и, следовательно, в непрозрачном контексте. Назовём такое высказывание “приписыванием пропозиционального знания”. Но, согласно фрегеанскому аргументу, приписывание знания об объекте или объектах непонятно, если сопровождается утверждением, что никакая дальнейшая характеристика в терминах пропозиционального знания невозможна, ибо с этой точки зрения пропозициональное знание является основным. Везде, где приписывание знания об объекте или объектах корректно, должно иметься некоторое корректное приписывание пропозиционального знания, из которого оно следует. Следовательно, никогда не может быть *голого* знания референции выражения, т.е. знания референции, не опосредованного каким-то смыслом, который придан выражению.

Следует отметить, что данный аргумент в таком виде *не* влечет за собой так называемую “дескриптивную теорию имен”, которую её оппоненты тенденциозно приписывают Фреге. “Каузальная теория имен”, например, сама предлагает описание условия, которому должен удовлетворять объект, чтобы быть носителем имени. Ключевое разногласие

между каузальной и дескриптивной теориями не в том, существует ли какое-то такое условие, а в том, возможно ли установить его без существенной референции к самому имени. (Приписывание дескриптивной теории Фреге тенденциозно, потому что нет никакого выдвинутого им аргумента, который претендовал бы на демонстрацию того, что это всегда возможно.)

Ибо это направление аргументации может показать только то, что смысл, который каждый говорящий придаёт выражению, может быть различным, хотя каждый должен придать ему некоторый смысл. Второе направление аргументации Фреге касается вклада, который вносится понимаемым нами предложением в не-лингвистическое знание тогда, когда мы впервые опознаём его как истинное. Этот аргумент наиболее известен в применении к высказываниям о тождестве. Если для того, чтобы понимать имя собственное, говорящий должен знать о референте, что он является референтом, то непостижимо, каким образом истинное высказывание о тождестве $[a = b]$ может сообщать ему новое знание, так как он уже должен знать об объекте, который является референтом этих двух имён, что он является референтом каждого из них. На самом деле этот аргумент точно так же работает для любого атомарного высказывания. Согласно упомянутому выше предположению относительно имён и соответствующему предположению, что для того, чтобы понимать предикат, говорящий должен знать о каждом объекте, относительно которого предикат является истинным, что предикат относительно него истинен, равным образом непостижимо, каким образом истинное высказывание, образованное введением имени на аргументное место предиката, может сообщать ему новую информацию. Если мы предполагаем, что описание использования языка при коммуникации требует, чтобы каждое предложение обладало общим когнитивным содержанием для всех говорящих, то этот аргумент обеспечивает основание для приписывания каждому выражению смысла, постоянного от говорящего к говорящему.

Следствием первого аргумента на самом деле является то, что нам нужно приписать говорящему нечто *большее*, чем просто голое знание референции каждого выражения, тогда как следствие второго аргумента состоит в том, что если предложения должны быть информативны, мы не можем, в общем случае, приписывать говорящим *столько же* знания референции выражений. Здесь нет реального конфликта. Если для того, кого считают знающим об объекте x , что он является референтом имени N , мы просто требуем, чтобы был некоторый термин t , который подставляется вместо x , и при этом истинно говорить о данном человеке $[Он\ знает,\ что\ t - это\ референт\ N]$, то отсюда не следует, что тот, кто

знает об определённом объекте как то, что он является референтом одного имени, так и то, что он является референтом другого имени, что он знает, что эти имена имеют один и тот же референт. Напротив, как раз здесь мы в схематической форме получаем описание с точки зрения смысла, которое Фреге предлагает как решение проблемы. Предположение, которое второй аргумент стремится свести к абсурду, заключается скорее в том, что понимание выражения состоит в *голом* знании референции. К первому аргументу он добавляет только основание полагать, что смысл должен быть общим для разных носителей языка.

На первый взгляд, теория Дэвидсона – это теория, которая всё объясняет с точки зрения референции, не привлекая смысл; но это первое впечатление обманчиво. Когда Дэвидсон приписывает говорящему (не-явное) знание пропозиции, выраженной аксиомой, управляющей именем “Оксфорд”, это не значит, что следует считать, что говорящий знает о городе Оксфорде, что его обозначает имя “Оксфорд”, скорее он знает, что имя “Оксфорд” обозначает город Оксфорд. Поэтому Дэвидсон, конечно, не приписывает каждому говорящему *голое* знание референции каждого выражения, которое он понимает, в том смысле, в котором аргументы Фреге говорят против такого приписывания. (В лекции я интерпретировал понятие строгой теории значения у МакДауэла как то, что включает голое знание референции. Вероятно, это было неверным истолкованием его намерения.)

В действительности вопрос заключается именно в том, *какое* знание мы приписываем говорящему, когда репрезентируем его как знание того, что “Оксфорд” обозначает Оксфорд, при условии, что мы хотим приписать ему нечто большее, нежели только тривиальное знание истинности предложения “‘Оксфорд’ обозначает Оксфорд”. И здесь мы склонны сказать, что теория Дэвидсона является скромной в том смысле, что хотя она и не расходится с аргументами Фреге, поскольку не приписывает говорящим голое знание референции и допускает, что они придают особые смыслы выражениям, она не пытается объяснить, что представляют собой эти смыслы. По существу, это – направление мысли, принятое мной в лекции, когда я критиковал понятие скромной теории значения; вместе с тем, когда я перешёл к рассмотрению холизма Дэвидсона, я был склонен рассматривать это направление как то, что влечёт невосполнимость описания смысла.

Однако последующие размышления заставили меня предположить, что это направление мысли нельзя считать правильным. Что такое скромная теория значения? Оставляет ли она место для описания слов, которые носители языка придают своим словам (понятий, которые они связывают с ними), но которая сама не обеспечивает такого описа-

ния? Или она является теорией, которая в принципе отрицает возможность задания любого такого описания? Если мы берем теорию Дэвидсона как скромную в прежнем смысле, то остается открытой возможность наполнения её описанием специфических смыслов, придаваемых говорящими словам языка и, таким образом, преобразования её в полнокровную, атомистическую теорию. Но что в этом случае становится холистическим аспектом теории? В остатке такой холизм относился бы только к описанию способа, который изначально не известен, но которым теория значения для языка могла бы быть получена из наблюдения за лингвистическим и другим поведением говорящих при приспособлении к теории значения, чтобы её можно было соотнести с любой очевидностью, обеспеченной суждениями носителей языка относительно истинности и ложности их предложений. Однако холизм для теории значения относительно очевидности весьма отличная вещь от холистической точки зрения на язык, о которой я говорил в лекции. Последняя касается самой теории значения, а не способа, которым не носитель языка может к ней прийти. Она относится к описанию, которым задается способ, которым неявное схватывание теории значения, приписываемое говорящему, включается в его владение языком и, следовательно, как я доказывал, в содержание этой теории. С другой стороны, просто холизм, в отношении к тому, как можно было бы с пустого места прийти к теории значения для языка, сам по себе не имеет таких следствий и, насколько я могу видеть, приемлем и почти банален. В построениях Дэвидсона холизм как доктрина более изощрён.

Лично Дэвидсон мог бы подписаться под тенденциозной доктриной холизма, даже если бы его концепция теории значения сама по себе была бы нейтральной относительно холистического, молекулярного или атомарного взгляда на язык. Маловероятно, однако, чтобы не было более органичной связи между различными особенностями его философии языка. Если, с другой стороны, мы берем его теорию значения как скромную во втором из двух обозначенных выше смыслов, трудно представить, чем она отличается от теории, которая вообще отвергает понятие смысла и приписывает говорящим голое знание референции их слов. Заключение, к которому я пришёл, состоит в том, что, прежде всего, ошибочно рассматривать теорию значения Дэвидсона как скромную в любом смысле. Рассмотрим, почему.

Есть много подходов, приводимых в пользу лингвистического холизма; для нашей цели наиболее уместен тот, который обобщает наблюдения Витгенштейна относительно имени "Моисей". Тезис Витгенштейна состоит в том, что есть множество вещей, относительно которых мы обычно верим, что они относительно него истинны (он был

воспитан при дворце фараона, он вывел свой народ из рабства, он передал им Закон и т.д., и т.д). Всё это продолжает считаться истинным под угрозой утраты, как использовать имя “Моисей”. При условии, что мы продолжаем верить, что был только один человек, относительно которого большая часть из этого является истинным, мы можем кое-что отклонить. Здесь можно допустить, что одним вещам, в которые мы верим относительно Моисея, мы придаём весомость большую, чем другим; и поскольку затрагивается определение носителя имени, некоторым из них мы можем вовсе не придавать веса. Витгенштейн рассматривал только те случаи, в которых затрагивалось определение референта сингулярного имени. Ясно, однако, что можно приспособить это и к случаю, в котором мы имеем дело с одновременным определением референтов двух имен, скажем, “Моисей” и “Аарон”. Есть много предложений, содержащих оба имени, которые мы оцениваем как истинные; некоторые из них, вида “Моисей и Аарон были братьями”, содержат оба имени. Оговорим теперь следующее. Если есть единственная в своём роде пара индивидуумов m и a , таких, что когда они берутся как референты имён “Моисей” и “Аарон” соответственно, (значительное) большинство предложений, содержащих имя “Моисей”, окажутся истинными и (значительное) большинство предложений, содержащих имя “Аарон”, окажутся истинными, то эти индивидуумы являются действительными референтами этих имён. Если нет такой пары или есть более одной такой пары, но существует уникальный индивидуум m , такой, что, когда m берётся как референт имени “Моисей” и все предложения, содержащие имя “Аарон”, берутся как ложные, и (значительное) большинство предложений, содержащих имя “Моисей”, окажется истинным, то m является действительным референтом имени “Моисей”, тогда как имя “Аарон” утрачивает референт. То же самое будет в случае, когда имя “Аарон” имеет референт, а имя “Моисей” является пустым. Если не имеет места ни один из этих случаев, референт теряют оба имени.

Я не выступаю в защиту такой доктрины, но она вполне понятна и, очевидно, правдоподобна. Согласно приведённому описанию, смысл имени собственного таков, что мы заранее создаём условия, что любая одна вещь, которую, мы, в частности, рассматриваем как определяющую референт, может демонстрировать ложность без того, чтобы это имя было лишено референта. Это, конечно, не подразумевает, что когда мы отвергаем как ложное то, что мы прежде расценивали как истинное и, в частности, как определённое референцией, смысл имени не подложит никакому изменению. Напротив, изменение смысла имени подразумевается уже потому, что мы больше не включаем отвергнутые вы-

сказывания в число тех высказываний, большинство из которых должно быть подлинным носителем имени.

Правдоподобность подхода Витгенштейна не ограничена личными именами собственными; его естественно применить также к словам других видов, например к общим терминам. К форме холизма мы приходим, если распространяем этот тезис одновременно на все слова языка, включая предикаты, исключая единственно логические константы и, возможно, предлоги и т.п. Предположим, у нас есть некоторый обширный класс (T), класс предложений, рассматриваемых как истинные и как совместно определяющие референцию наших слов (имён и предикатов). Предположим также, прибегнув к упрощению, что нам дан определённый универсум объектов, относительно которого могут быть определены предикаты и в рамках которого определена денотация имён. Теперь мы рассматриваем все возможные *полные приписывания* референций именам и предикатам языка. Каждое такое полное приписывание будет конституировать интерпретацию языка относительно данного универсума в смысле стандартной семантики для классического языка первого порядка. Кроме того, полное приписывание может допускать, что одно или более имён не имеют референтов; оно будет приписывать референты другим именам и объёмам предикатов. Любое такое полное приписывание будет определять истинностные значения для атомарных предложений этого языка, и оценка будет распространяться на все предложения посредством тех аксиом теории истины, которые управляют операторами, образующими предложения. Сейчас мы можем определить действительные референты имён и действительные объёмы предикатов как те, которые действительные референты имён и действительные объёмы предикатов имеют при *предпочтительном* или *корректном* полном приписывании, это последнее понятие, в свою очередь, объяснимо некоторым соответствующим способом с точки зрения класса T . Самое простое объяснение, объяснение, которому наиболее вероятно благоволил бы холист, заключалось бы в том, чтобы сказать, что предпочтительное полное приписывание – это такое единственное в своём роде приписывание (если таковое имеется), которое объявляет истинными максимальное число предложений из T ⁵.

⁵ Объяснение, в большей степени соответствующее первоначальной модели Витгенштейна, должно было бы быть более усложнённым. Мы могли бы говорить, что полное приписывание *допустимо*, если для каждого слова, которому оно приписывает референт, это приписывание считает истинным большинство предложений из T , содержащих данное слово, и устанавливает *степень* приписывания имён, которым оно придаёт референт. Предпочтительное полное приписывание могло бы тогда предусматриваться как единственное в своём роде, если таковое имеется, допустимое приписывание, как то, которое имеет максимальную степень среди допустимых

Если теперь мы интерпретируем теорию значения Дэвидсона таким же образом, как теорию, включающую холистическое описание того, как определяется референция примитивных не-логических слов языка, мы больше не можем расценивать, что ей недостаёт описания схватывания говорящим смысла этих слов. Напротив, говорящий имплицитно знает, что референция определена в этой холистической манере. Такое знание входит в знание говорящим пропозиций, выраженных аксиомами теории истины. Например, говорящий, когда он знает, что “Оксфорд” обозначает Оксфорд, согласно этому описанию знает, что “Оксфорд” обозначает тот объект, который приписывается имени “Оксфорд” при предпочтительном полном приписывании именам и предикатам русского языка. Носитель языка, когда он знает, что предикат “ x эластичен” истинен относительно объекта, если и только если этот объект эластичен, знает, что “ x эластичен” является истинным относительно объекта, если и только если этот объект принадлежит множеству объектов, которое приписывается в качестве объёма предикату “ x эластичен” при предпочтительном полном приписывании. Носитель языка, когда он знает, что предложение “Земля вертится” является истинным, если и только если Земля вертится, знает, что “Земля вертится” является истинным, если и только если тот объект, который приписывается имени “Земля” при предпочтительном полном приписывании, является элементом того множества, которое приписывается предикату “ x вертится” при этом приписывании.

Рассмотренная таким способом дэвидсоновская теория кажется неискоренимо холистичной, но в любом смысле не более холистичной, чем скромная теория. При таком подходе незатронутым претензиями

имеет максимальную степень среди допустимых приписываний. Сложность этой формулировки, по-видимому, неизбежна, если необходимо следовать образцу, установленному случаем только двух взаимосвязанных имён собственных вида “Моисей” и “Аарон”. Ибо, рассмотрим случай, в котором у нас есть два таких собственных имени “ a ” и “ b ”, а также пять содержащих их предложений, которые мы считаем истинными, “ Fa ”, “ Ga ”, “ Rab ”, “ Hb ” и “ Kb ” (объём предикатов я рассматриваю как фиксированный). Предположим, что есть только четыре индивидуума i , j , m и n , которые являются кандидатами на то, чтобы быть референтами этих имён. Предположим, что i и m принадлежат объёму “ F ”, m одно принадлежит объёму “ G ”, j и n принадлежат объёму “ H ”, а n одно принадлежит объёму “ K ”, и при этом пара $\langle i, j \rangle$ – это единственная пара, которая находится в отношении, обозначенном “ R ”. Тогда, если i мы приписываем “ a ”, а j приписываем “ b ”, то два из трех предложений, содержащих “ a ”, окажутся истинными, и два из трех предложений, содержащих “ b ”, окажутся истинными; но точно такой же результат получится, если m приписать “ a ” и n приписать “ b ”. Я полагаю, что в данном случае нам хотелось бы сказать, что эта неопределенность лишила имена “ a ” и “ b ” референции, но не было бы никакого основания для решения, что только *одно* из них утратило референцию, поскольку у нас нет основания решить, какое из них.

типа тех, которые я привёл в лекции, остаётся только то, что теория не даёт никакого описания того, в чём состоит знание, приписываемое носителям языка. Я всё ещё должен доказать, что вся концепция скромной теории значения рождена незаконно. Но, я думаю, впечатление, что теория значения типа Дэвидсона должна интерпретироваться как скромная, которое, я убеждён, есть не только у меня, но и у ряда его сторонников, должно быть отвергнуто. Значительная часть причины для такой её интерпретации основывается на том факте, что Дэвидсон всегда репрезентировал совокупность данных о суждениях, действительно сделанных говорящими относительно истинности и ложности предложений, как находящихся в отношении *очевидности* к итоговой теории истины, тогда как согласно холистической концепции смысла, которую я набросал выше, они не обеспечивают внешней поддержки теории, но интегрированы в неё. Так, рассмотрим модель описания Витгенштейном имени “Моисей”, с которой мы начинали. Относительно того, кто понятия не имеет, какие предложения, содержащие имя “Моисей”, вообще считаются истинными, но просто знает, что это имя обозначает того уникального индивидуума, если таковой имеется вообще, относительно которого большинство этих предложений, какими бы они ни были, являются истинными, Витгенштейн не сказал бы, что он схватил употребление имени “Моисей”. У него просто есть корректное схематическое описание формы, которую должно принимать определение использования этого или какого-то другого имени. Для того чтобы знать специфическое использование имени “Моисей”, он должен знать, какие особые предложения, включающие это имя, вообще считаются истинными. По общему признанию, индивидуальные носители языка часто эксплуатируют существование устоявшегося употребления для имени или другого слова, считая самих себя ответственными за установление средств для определения применения слова, без того, чтобы владеть им в совершенстве; это на удивление часто применяется к географическим названиям. Это является следствием того факта, что язык представляет собой социальное явление, а не семейство сходных идиолектов. Чтобы вообще быть в состоянии использовать имя или другое слово иначе, чем посредством зафиксированного аппарата, говорящий должен знать нечто специфическое относительно способа, которым определена его референция, даже если он не знает всего того, что в данном случае уместно; и тот факт, что есть социально установленное применение, за которое он считает себя ответственным, зависит от существования средств обнаружения того, что управляет этим применением.

Точно так же, согласно холистической теории, о человеке нельзя сказать, что он знает аксиомы, управляющие именем “Земля”, т.е. знает,

что “Земля” обозначает Землю, если он просто знает, что это выражение обозначает тот объект, который приписан имени “Земля” при том полном приписывании примитивным выражениям русского языка, которое объявляет истинными максимальное число предложений, которые, какими бы ни были эти предложения, носителями русского языка вообще считаются истинными. Зная это, он знает только общую схему, согласно которой должно быть дано особое объяснение употреблению какого-то сингулярного термина в каком-то языке, и вдобавок не более чем то, что “Земля” является сингулярным термином русского языка. Он может иметь это знание вообще без знания чего-то большего о русском языке, и в этом случае о нём едва ли можно сказать, что он знает, что обозначает имя “Земля”, или пропозицию, выраженную предложением “‘Земля’ обозначает Землю”. Чтобы знать специфическое значение имени “Земля” или пропозицию, выраженную данной аксиомой, он должен знать, какие особые предложения составляют класс T , относительно которого определено, какое полное приписывание предпочтительно. (Холизм обнаруживается в том факте, что это – та же самая специфическая часть знания, которая требуется для схватывания смысла всех имён и предикатов данного языка.) Таким образом, то, что Дэвидсон называет ‘очевидностью’ для теории истины, на самом деле является для этой теории внутренним. Эта теория не является чем-то таким, что мы основываем на ‘очевидности’, но что может быть понято без знания того, чем может быть для неё очевидность. Мы не можем схватить или сообщить содержание теории без явного упоминания в деталях предложений, которые совместно определяют референцию наших слов; ибо без такого упоминания мы не можем сказать, какие референции для этих слов утверждает теория истины.

Мой первоначальный интерес в данной лекции заключался в том, чтобы прийти к некоторым основным принципам, регулирующим построение жизнеспособной теории значения, и большинство из выводов было установлено, даже если я и ошибался, рассматривая концепцию теории значения Дэвидсона как скромную. Один важный вывод, однако, требует пересмотра, а именно, что принятие холистического взгляда на язык делает построение систематической теории значения невозможной. Это зависит от того, является ли дэвидсонская теория, интерпретируемая в холистической манере, набросанной выше, правдоподобной или же нет. Первое впечатление, которое, я думаю, корректно, состоит в том, что даже если она в принципе последовательна, она просто неправдоподобна. Мы видели, что установить принципы, лежащие в основании одновременного определения референции двух собственных имен по способу Витгенштейна, было довольно сложно, но в этом кон-

тексте смыслы других слов, встречающихся в различных предложениях, содержащих эти имена, принимались как уже известные; и из-за предполагаемой фиксированности применений общих терминов результаты исследования относительно референтов собственных имён и, соответственно, истинностных значений содержащих их предложений можно было бы рассматривать как то, что можно установить использованием общих терминов. Но когда мы пытаемся всерьёз принять идею, что референции всех имён и предикатов языка определены одновременно, становится ясно, что мы тем самым приписываем говорящему задачу, совершенно превосходящую человеческие способности. В таком одновременном определении не содержится никакой причины, почему относительно референции какого-то одного слова должно доказываться, что эта референция должна быть такой, чтобы объявить истинными максимальное число предложений из T , содержащих это слово. Но даже если это и было бы так, носитель языка вряд ли смог бы руководствоваться мыслью, что референтом имени является тот индивидуум, для которого большинство предикатов, извлеченных из таких предложений, являются истинными. Это руководство давало бы мало, поскольку он не может принимать как уже заданное, что значит для какого-то одного из таких предикатов быть истинным для какого-то отдельного индивидуума. Напротив, определять следовало бы одновременно через определение объёмов примитивных предикатов, встречающихся в этих предложениях, и в конечном счете всех предикатов в языке. По той же самой причине результат процесса определения референции какого-то слова никогда не может быть установлен вербально, кроме, вероятно, того случая, когда референт является возможным объектом остенсии, поскольку слова, которые можно было бы использовать при его установлении, не могли бы рассматриваться как имеющие применение, заданное раньше, чем определение референции рассматриваемого слова. По общему признанию, тогда как окончательная демонстрация истинности какого-то одного предложения требовала бы, чтобы задача обнаружения референтов составляющих его слов при предпочтительном полном приписывании была действительно выполнена, вынесение единственного суждения относительно истинностного значения не должно выполнять эту задачу в какой-то большей степени, чем суждение относительно Моисея должно приводить к определённом решению, что из того, что мы обычно думаем о нём, является истинным. Из холистической теории действительно можно вывести, что нельзя обеспечить окончательной демонстрации истинности. Остаётся тот факт, что, согласно теории Витгенштейна, как раз нужно знать как то, каким образом определён референт “Моисей”, так и то, какие особые вещи, как мы думаем, относятся к

Моисею, чтобы знать содержание любого предложения, содержащего это имя. Поэтому, согласно холистической теории, нужно и знать состав всей общности T , и иметь концепцию одновременного определения в отношении к этой общности референций наших слов, чтобы схватить содержание любого одиночного предложения.

Трудность создания холистического описания, вероятно, становится более очевидной, когда мы выясняем состав базовой общности T . Как-то противоречит духу холизма допущение, что среди всех предложений, вообще рассматриваемых как истинные, существует особый класс привилегированных предложений, которые мы могли бы называть 'квазианалитическими', предложений, по отдельности не имеющих иммунитета к пересмотру (хотя отказ от любого из них приведёт к изменению в смыслах наших слов), но играющих особую роль в определении референции наших слов, которую не играют другие признанные истинными предложения. Тем не менее холист при точной формулировке своей доктрины стоит перед выбором, должен ли он учитывать разногласия между носителями языка. Если учитывает, то он должен расценивать общность T как охватывающую только те предложения, которые все или, по крайней мере, многие говорящие принимают за истинные, и ни один не отвергает как ложные, и поэтому как включающую только те предложения, которые не имеют значимых особенностей, связанных с обстоятельствами произнесения. Но в этом случае неправдоподобно то, что общность T будет адекватной для определения применения многих предикатов, например, предиката "... эластичен". Хотя большинство говорящих на русском языке согласятся относительно какого-то одного отдельного применения такого предиката, есть лишь очень незначительное количество действительных предложений, содержащих это слово, чью истинность признало бы большинство говорящих для определения его объёма. Перед лицом этого затруднения холист вероятнее делает другой выбор и рассмотрит базовую общность T как состоящую не из предложений, но скорее из индивидуальных, вынесенных отдельными говорящими суждений об истинностном значении. В этом случае T будет содержать не только расходящиеся суждения относительно предложений, особенности которых связаны с обстоятельствами произнесения, но также и суждения, касающиеся предложений или, более точно, высказываний с элементами, связанными с особыми обстоятельствами (где высказывание берётся как тройка, состоящая из предложения, говорящего и времени). Этот выбор, однако, неправдоподобен по другой причине: там, где T берётся как общность всех суждений, фактически вынесенных носителями языка, ни один говорящий никогда и близко не

подойдет к схватыванию корректной теории значения для этого языка, поскольку огромное большинство этих суждений будет ему неизвестно.

Чтобы избежать этой нелепости, холист подвержен сильному искушению сжать понятие языка до понятия идиолекта; каждый индивидуальный носитель языка должен теперь пониматься как обладающий своей личной теорией истины для данного языка, постольку, поскольку он на нём говорит, теорией, которая инкорпорирует в базовую общность *T* данного языка все суждения, которые делает лично он, и ни один из других говорящих, поскольку они не соответствуют его идиолекту. Такая концепция перевёртывает истинное отношение между понятием идиолекта и понятием языка в повседневном смысле слова “язык”. Язык в повседневном смысле есть нечто, по существу, социальное, практика, в которую вовлечено множество людей; и именно это понятие, а не понятие идиолекта должно приниматься как первичное. Мы действительно не можем обойтись без понятия идиолекта, репрезентирующего всегда частичное и зачастую несколько некорректное понимание говорящим своего языка; но оно должно объясняться в терминах понятия совместно используемого языка, а не наоборот. Одна из многих причин считать так заключается в феномене, который Патнэм называл ‘лингвистическим разделением труда’; но здесь не обязательно исследовать этот пункт подробно, так как смена общего языка на идиолект не высвобождает холиста из его затруднения.

Если совершенное владение говорящим своим языком заключается в неясном схватывании теории значения для этого языка, то, если эта теория является холистической, ему должны быть известны суждения, которые охватывают базовую общность. Поэтому даже когда язык является его собственным личным идиолектом, эта общность не может содержать массу случайных суждений, которые он сделал, но впоследствии забыл; в любое заданное время она может содержать только такие суждения, которых можно от него добиться в данный момент. Всё это делает в высшей степени невероятным, что такая общность может быть достаточно обширной, чтобы определить референцию всех слов в его языке.

Относительно некоторых слов вполне разумно утверждать тезис, что референция каждого из них определяется требованием, чтобы одно или более содержащих его предложений оказывались истинными. Везде, где можно считать, что имеется, по существу, уникальный способ определения слова, этот факт может быть выражен применением этого тезиса к единственному предложению, включающему определение. Этот тезис может применяться к любому другому слову, которое должно или даже может быть введено посредством вербального объяснения,

независимо от того, составляет ли это объяснение действительное определение. Дескриптивная теория собственных имён черпает своё правдоподобие как раз из того факта, что собственные имена могут вводиться, и часто вводятся, для того, кто их не знает, посредством вербального объяснения; и этот факт также лежит в основе подхода Витгенштейна к имени “Моисей”, который, как заметил Крипке, является модификацией дескриптивной теории. Эта модификация имеет две особенности. Во-первых, она учитывает тот факт, что обычно имеется более одного законного способа введения собственного имени и что эти различные способы, взятые вместе, доставляют даже больше, чем нужно для определения его референции; во-вторых, она заранее обеспечивает разрешение любого конфликта, который может возникнуть между альтернативными средствами фиксации референта. Этот подход опять-таки может быть представлен тезисом, что референция такого имени определяется требованием, чтобы взвешенное большинство предложений, которые могли бы использоваться при его введении, должны были быть предоставлены как истинные. Среди общих терминов некоторые ведут себя в этом отношении подобно собственным именам, тогда как для некоторых других нет множественности критериев их применения, которые могли бы войти в конфликт, но скорее есть, в сущности, только один правильный способ их объяснения. Другие опять-таки занимают промежуточное положение. Их объяснение комплексно в том смысле, что их объём можно репрезентировать как определённый требованием, чтобы ряд различных предложений оказывался истинным; но конфликт, который был бы вызван обнаружением того, что невозможно утверждать все те предложения, которые до сих пор принимались как устанавливающие их значение, был бы намного более серьёзным, чем в случае имени типа “Моисей”, а средства, которые мы должны применять для разрешения такого конфликта, не были бы обеспечены заранее.

Несомненно, ошибочно предполагать, что всегда можно просто уравнивать смысл того, что говорится в объяснении слова, со смыслом этого слова. И что бы не рассматривалось как детализация взглядов Крипке на собственные имена, всё это служит тому, чтобы подчеркнуть данную ошибку. В той степени, в которой есть в общем понятное различие в применении определённой дескрипции и собственного имени, слушатель будет делать молчаливую поправку на это различие, когда имя собственное вводится для него посредством определённой дескрипции. Такая уступка, однако, не лишает законной силы идею, что средства, которые мы должны применять для сообщения кому-то смысла слова, которое он прежде не понимал, демонстрируют смысл, который оно несёт в языке, где схватывание смысла слова уравнивается с

пониманием его принятого употребления. Если, например, существует установленное средство фиксации референции имени, оно необходимо будет интегрировано в смысл этого имени.

Тезис, что референция определяется требованием, чтобы все или большинство предложений некоторого множества оказывались истинными, может, таким образом, быть поддержан относительно большого числа слов. Однако он теряет своё правдоподобие, когда обобщается холистом для применения ко всем словам языка одновременно. Это связано с тем, что, прежде всего, он был особым способом репрезентации смысла слова, который можно ввести посредством вербального объяснения. Поэтому его правдоподобие простирается настолько, насколько он применяется только к словам, которые могут быть введены таким образом, и утверждается только относительно тех предложений, которые могли бы законно использоваться в задании такого объяснения. Если схватывание говорящим смысла слова должно репрезентироваться как заключающееся в его знании, что референция данного слова определяется множеством содержащих его предложений, то эти предложения должны быть такими, чтобы их действительно можно было извлечь из его объяснения этого слова. И если мы рассматриваем слово как часть общего языка, то эти предложения должны, в общем, приниматься за истинные, а также за определяющие смысл слова, т.е. за вполне уместные, чтобы цитироваться при объяснении его смысла. Поэтому холист ошибается, включая в свою базовую общность *T* суждения, особенные для индивидуальных носителей языка, или суждения, о которых индивидуальный носитель языка не вспоминает или на которые не ссылается при объяснении слова тому, кто его не понимал. Отсюда следует, что невозможно обобщить тезис, что референции наших слов определяются требованием, чтобы определённые предложения были истинными, как его хочет обобщить холист, чтобы обеспечить описание того, как фиксируются референции *всех* слов в языке. В языке есть много слов, которые не вводятся и не могут быть введены посредством чисто вербальных объяснений, и к ним этот тезис просто не применим. Наш язык – это многоярусная структура, и возможность введения новых выражений (в язык или словарь отдельного носителя языка) посредством лингвистических объяснений зависит от нашего первоначального построения более низких ярусов с помощью различных средств. Общеизвестно, что холизм наиболее слаб при описании последовательного овладения языком. Но корректная теория значения требуется для того, чтобы дать описание, что значит в совершенстве владеть языком *вообще*. Модель, которая даёт лишь репрезентацию того, как посредством фундаментальной части языка можно прийти к схватыванию смыслов выражений

на более высоких уровнях, – это плохая общая модель для применения при построении такой теории.

Как мы уже видели, суждения, вынесенные индивидуальными носителями языка, согласно подходу Дэвидсона, играют двойную роль. С одной стороны, они формируют очевидность, которая могла бы использоваться тем, кто без предшествующего знания языка хотел бы построить для него теорию значения; с другой стороны, они становятся компонентом самой теории, образуя общность *T*, которая определяет референцию слов. В первой роли нельзя избавиться от возражения против обращения к ним. Если, наблюдая чьё-то лингвистическое поведение, мы пытаемся обнаружить смысл, который он придаёт определённому слову, мы, естественно, уделим внимание всем суждениям об истинностном значении, которые он выносит в отношении предложений, содержащих это слово, поскольку такие суждения, очевидно, демонстрируют предрасположенность, с которой он должен применять это слово в определённой манере. Но идея, что мы можем тогда, ссылаясь на общность всех суждений, вынесенных говорящими, получить единственную однообразную репрезентацию способа, которым определены носители всех имён и объёмы всех предикатов языка, упускает из виду разнообразие многих типов выражений, которые содержит наш язык, и градации уровня, на котором они находятся. Быть может, покажется трудным признать это перед лицом того факта, что именно Куайн, основной представитель современного лингвистического холизма, продвигал знаменитый образ языка как артикулированной структуры, предложения которой лежат на различных от периферии глубинах. Но факт заключается в том, что этот образ ни в коем случае не репрезентирует по существу холистический взгляд на язык, а на самом деле довольно плохо согласуется с таким взглядом. Для холизма язык – это не многоярусная структура, а скорее безбрежный одноярусный комплекс. Затруднения холизма в объяснении нашего постепенного овладения языком следуют из того факта, что он не может придать смысл идее знания части языка. Как и в данном случае, озарения, которые обеспечивают холистическому взгляду отправные пункты для аргументации, совершенно искренни; холизм же возникает, когда поддаются искушению обобщить их за рамками области их применения, чтобы получить единственную формулу, охватывающую каждый случай.

КРИСТОФЕР ПИКОК**ТЕОРИЯ ЗНАЧЕНИЯ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ***

Рамки этого обзора будут ограничены не только в отношении указанного названия и заданного объёма – менее чем тридцать страниц, но также пропусками, неизбежными при обсуждении семантики отдельных выражений (собственных имён, указательных местоимений, служебных частей речи, предикатов, сентенциальных операторов и т.д.), которые в результате не могут не оказать влияния на нашу концепцию семантической теории. Но даже с этими ограничениями поле исследования чрезвычайно обширно, и, если мы проведём разделение в соответствии со следующими ниже вопросами, это поможет в структурировании нашего обсуждения:

(I) Какую форму должна принимать теория, специфицирующая значение всех предложений отдельного языка? Следуя соглашению, такую теорию для отдельного языка я буду называть ‘теорией о значении’ [meaning theory] (ТОЗ) для этого языка, а фразу ‘теория значения’ [theory of meaning] (ТЗ) зарезервирую для теории (в совокупности с аргументами в её пользу) о корректной форме для ТОЗ.

(II) Благодаря чему к отдельному языку, используемому сообществом его носителей, применима одна, а не другая ТОЗ?

(III) Какие различные ограничения и недостатки связаны с отношениями между нашими ответами на вопросы (I) и (II)? Хотя мотивация теоретика при ответе на любой из этих вопросов особым способом едва ли может быть независимой от взглядов, которых он придерживается относительно других вопросов, возможно, что разные теоретики придут к согласию при ответах на одни вопросы (особенно на (I)) и не согласятся относительно других.

I. КАКУЮ ФОРМУ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ТЕОРИЯ О ЗНАЧЕНИИ?

Я перечислю шесть ответов на этот вопрос, имевших место за последние двадцать лет, а затем рассмотрю, как у них обстоят дела относительно условий адекватности, извлекаемых лишь из идеи ТОЗ. Эти шесть ответов не являются взаимоисключающими; есть философы и лингвисты, которые хотели бы скомбинировать некоторые из них; каждая часть общей теории выполняет различную роль, требуемую от ТОЗ.

* Peacocke C. The Theory of Meaning in Analytical Philosophy // Contemporary Philosophy. A New Survey, Vol. I, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague/Boston/London, 1981, P.35–56.

(i) *Трансляционная семантика*. Согласно идее, унаследованной от Фодора, Каца и Постала, ТОЗ должна заключаться в отображении предложений языка, для которого ТОЗ должна быть задана в языке с чёткой структурой, в языке, который ясно показывает различные отношения следования между предикатами и, возможно, другими выражениями (Katz [1], [2]). Хотя в генеративной семантике от идеи синтаксически идентифицируемого уровня глубинной структуры, к которой применяется трансляционная семантика, отказались, концепция интерпретации как частичного перевода в то или иное *нечто* осталась. Трансляционная семантика есть лишь вариация фундаментальной темы, заданной этой идеей, если предполагается, что семантическая репрезентация использует логику первого порядка. (Для обзора см. Fodor [3].)

(ii) *Теоретико-модельная семантика*. Этот подход, особо развиваемый Монтегю (Montague [4]) и его учениками, состоит в том, что ТОЗ для языка L должна состоять из определения истины в произвольной модели для каждого предложения из L . Почти все приверженцы теоретико-модельной семантики согласны (или в своих метатеоретических комментариях, или демонстрируя своей реальной практикой) с тем, что в ТОЗ для языка следует отобрать один выделенный индекс, относительно которого определяются модели для действительного мира, настоящего момента или чего-то ещё. Монтегю (Montague [5]) прямо пишет о том, что это должно быть сделано. Но помимо согласия в этом пункте между разновидностями защищаемых модельных теорий есть значительные расхождения. (Некоторые, возможно, вообще не согласятся с названием 'теория моделей'.) (a) Есть те, кто считает, что ТОЗ должна специфицировать объёмы выражений не только в отношении действительного мира, но также и в отношении того, какими состояния дел могли бы быть; например Дэвид Льюис (Lewis [6]). С этой точки зрения придание объёмов выражениям в отношении недействительных миров подразумевает получение актуального значения выражения в рассматриваемом языке. В случае английского языка в отношении любого мира вообще корректная ТОЗ будет приписывать 'зелёный' множеству вещей, являющихся зелёными в этом мире. (b) Есть приверженцы модельной теории, чьи построения не столь ограничены в отношении недействительных миров. Теория моделей рассматривается таким образом, что они не играют в ней никакой роли. Тем не менее интерпретация логических констант в этой второй версии не изменяется от модели к модели (например, по-видимому, Montague [4]). (c) Есть и такие, кто разрабатывает модельную теорию в ТОЗ таким способом, который позволяет выразить некоторое понятие структурной корректности выводов в языке. Сходство и различие моделей подразумевается в следст-

виях, а не в предпосылках теории понятия структурной корректности (см., например, Evans [7]). Название ‘семантика возможных миров’ в обзоре такого рода имеет мало значения по той причине, что оно может охватывать не только какую-то одну из трёх разновидностей данного подхода, но также, в частности, ТОЗ, ниже подпадающую под (iii).

(iii) *Теоретико-истинностная семантика*. Одно из главных достижений данного периода – это вчерне намеченное Дэвидсоном предположение, что ТОЗ для языка L должна состоять в финитно аксиоматизируемой теории истины для предложений из L или для предложений некоторого языка, из которого предложения из L можно получить посредством преобразований, сохраняющих значение (Davidson [8], [9], [10]). В данном случае рассматривается абсолютная истина, а не истина в модели. Релятивизация предиката истины, имеющая место в такой теории, сопровождается индексацией или, если выполнимость рассматривается как релятивизация истины, сопровождается тем фактом, что замкнутые предложения иногда составлены из открытых предложений. Как (ii), так и (iii) вдохновлены Тарским, оба подхода порождены исследовательскими программами, предназначенными для трактовки отдельных конструкций объектного языка (ОЯ) с соответствующими им концепциями ТОЗ (см., например, Davidson, Harman [11], [12]).

(iv) *Теоретико-игровая семантика*. Вдохновлённый развитием теоретико-игровых техник в исследовании логической общезначимости, Хинтикка предположил, что ТОЗ для языка L представляет собой множество правил, связанных с каждым предложением этого языка игрой. Игра может рассматриваться как то, что разыгрывается между тем, кто утверждает предложение, и Природой (Hintikka [13a], [13b], Saarinen [14]). На каждом этапе предпринимается ход, зависящий от формы предложения, и этот ход требует либо от утверждающего, либо от природы сделать выбор. В результате каждого хода получается предложение меньшей длины, в отношении которого игра продолжается. Утверждающий выигрывает, если игра заканчивается истинным атомарным предложением, а комплексное предложение может быть определено как истинное, если тот, кто его утверждает, обладает выигрышной стратегией в соответствующей игре. Эта общая концепция применяется с некоторыми уточнениями к конструкциям естественного языка; однако многие, а возможно, все результаты, относящиеся к предложениям естественного языка, могут быть получены с помощью других теорий значения, ибо теоретико-игровые правила легко порождают соответствующие теоретико-истинностные и теоретико-модельные аксиомы (Peacocke [15], Hintikka [16]).

(v) *Критериальная и конструктивная семантика*. Одна точка зрения на корректную форму ТОЗ широко разрабатывалась в дискуссиях в рамках философии сознания в 1950-х и 1960-х годах, а в рамках периода, которому посвящён наш обзор, её основания стали более эксплицитными. Её защитники считают, что эти взгляды были высказаны Витгенштейном в поздних работах. Эта точка зрения состоит в том, что специфицировать значение предложения – значит специфицировать, что представляет собой его критерий (Baker [17], Hacker [18], Lycan [19]). Если случилось так, что p является критерием для предложения s , то говорится, что p обеспечивает для s неиндуктивную очевидность, но не влечёт истинности s . Может случиться, что как это p , так и это s являются ложными. Для данного предложения имеется множество критериев, и критерии могут быть аннулированы. Некоторые считают, что может быть аннулирован *любой* критерий, если мы достаточно умны для того, чтобы продумать обстоятельства. Понятие критерия используется некоторыми его защитниками в попытке ответить или снять скептицизм относительно чужих сознаний или материального мира, но это – требуемые следствия теории критериев, а не часть определения этого понятия. Для некоторых теоретиков неразрешимыми предложениями являются те, что особенно требуют критерия для спецификации своего значения, и тогда сами критерии должны быть разрешимыми. Аргумент Витгенштейна относительно следования правилу применяется как к разрешимым, так и к неразрешимым понятиям, но в случае неразрешимости особенно ясно, что нет ничего внутреннего, что приводило бы говорящего к использованию этих понятий в их классической интерпретации. В любом случае существенно то, что аргументы, заставляющие ввести понятие критерия, в свою очередь, не применимы к самим критериям. Привлекательной систематической теорией для таких теоретиков является интуиционистская семантика для арифметики с точки зрения теории конструктов. Рассмотрение значения предложения здесь даётся не с точки зрения того, что нужно, для того чтобы оно было истинным, но с точки зрения чего-то такого, что должно быть похоже на доказательство предложения (Dummet [20], Kreisel [21], Wright [22]).

(vi) *Концептуально-ролевая семантика*. Один естественный способ расширения функционализма, предложенный однажды Патнэмом, состоит в предположении, что специфицировать значение предложения – значит специфицировать мысль, где ‘мысль’ используется не в смысле Фреге, но в смысле, в котором специфицировать мысль – значит специфицировать роль в сети агентов восприятия, психологических состояний и действий. Это расширение в наброске предложено Харманом (Harman [23], [24]). Относительно формального развития этого взгляда

ождается, что значение предложения s предопределяется следующим: (а) какой сенсорный стимул продуцирует веру в s , а какой – неверие в s , (б) из какого множества предложений заключают к s и с какой вероятностью, (с) что можно вывести из s и с какой вероятностью, (д) результаты веры и желания, выраженные посредством s относительно действия. В каждом случае пункты (а)–(д) должны быть специфицированы относительно каждого множества принимаемых на веру вспомогательных гипотез (а в случае (д) также и относительно желаний). Теория, продолженная в этом направлении и имеющая дело только с (б) и (с), была развита Филдом (Field [25]).

ТМ для языка L должна быть такой, что если кому-то известна теория и он знает, что она удовлетворяет условиям, предъявляемым к теории значения для L , то он в состоянии понять предложения из L . Льюис и Дэвидсон убедительно аргументировали, что трансляционная семантика не удовлетворяет этому условию. Можно знать, как перевести предложения одного языка в другой, не понимая какие-либо предложения первого языка. Против этого аргумента говорилось, что теории со (ii) по (iv), как мы их здесь охарактеризовали, для того чтобы удовлетворять условию адекватности, предполагают необъяснимую компетентность относительно метаязыка, в котором формулируется теория, и что если это допустить, то аргумент против (i) рухнет, поскольку, если мы предполагаем компетентность в языке, в котором рассматривается перевод, возражение перестаёт действовать. (Например, Harman [23], [24].) Но этот ответ на критику смешивает две различные роли. В теории вида (i) в игре три языка: есть метаязык, в котором обдумывается теория и который определён должен быть понят, если должна быть понята теория, есть язык переводимый и есть язык, в который перевод отображает. В теориях вида (ii)–(iv) есть два рассматриваемых языка, метаязык теории и объектный язык, для которого эта теория является ТОЗ. Аналогом требуемого понимания метаязыка в случаях (ii)–(iv), если теория должна быть понята, является понимание метаязыка, в котором специфицируется руководство для перевода. Требование понимания языка, в котором дан перевод, требование, которое должно выполняться, если должно выполняться условие адекватности, добавочно. Теория вида (i) является адекватной, только если мы молчаливо используем теорию значения в случае одного языка, где эта теория не является приспособлением для перевода. Но если такие теории могут быть заданы, то почему бы не задать одну прямо для объектного языка и избежать окольного пути? Это общее возражение на трансляционную семантику, по-видимому, не основывается, как предполагает Кац (Katz [26]), на неудачном различении смысла и значения. Можно знать приспособление для перевода из L в L'

и знать, что оно сохраняет значение, ничего не зная относительно либо смысла, либо референта предложений из *L*.

Поскольку теории (ii)–(iv) предопределяют абсолютные истинностные условия предложений из ОЯ, которые они трактуют, и поскольку в спецификации истинностного условия, которое они придают, предложение, подразумевающее то же самое, что и предложение из ОЯ, используется, а не упоминается, они удовлетворяют условию адекватности относительно понимания. А что с теориями (v) и (vi)? В случае критериальной семантики есть два множества проблем. Первое связано с предполагаемой формой критериальной спецификации значения. Но, чтобы оставить в стороне одно неуместное осложнение, предварительно замечу, что в изложенном выше описании я предполагал, что ‘является критерием для’ – это термин для предложения и для *используемого* предложения, чтобы образовать предложение, а не отношение между предложениями, как у Бейкера (Baker [17]) и Хаккера (Hacker [18]). Если следовать в последнем направлении, ТОЗ вида (v) была бы открыта всем возражениям, относящимся к трансляционной семантике. Относительно формы критериев на ум приходит множество проблем, связанных с тем, что во многих (вероятно, во всех) случаях, в которых понятие задаётся критерий, по-видимому, строго априорным не является то, что эти критерии обладают достаточной очевидностью для применения понятия, если они (т.е. эти критерии) не внедрены в само рассматриваемое понятие. Неясность того, существуют ли какие-либо разрешимые условия, встроенные в само понятие и которые к тому же обладают достаточной априорной очевидностью, применяемой понятием, – это вопрос второстепенный. Главная же проблема состоит в том, что если условие, встраиваемое в понятие, не редуцируемо к условиям, которые в него не встроены (как подсказывает мысль, которая вытекает из этих рассуждений), то, возможно, что схватывание этих понятий не обнаруживается без того, чтобы обнаруживалось схватывание понятий со встроенными условиями. Однако именно схватывание понятия, вводящего критерии, должно помочь объяснению, а не тому, чтобы принимать без доказательств. Защитники ТОЗ типа (v) должны либо обратиться к этим вопросам, либо показать, что выдвинутое ими предположение не является корректным.

Второе множество проблем вызывает сомнение в том, достаточно ли обеспечено предложение списком критериев для того, чтобы специфицировать то, что предложение *говорит*? Стросон и другие отрицали бы, что это так (Strawson [27]). Райт отвечал, что возражения устранимы заданием гомофонной ТОЗ, рекурсивно устанавливающей объём выражения ‘утверждаемо (в состоянии информации *i*)’ (Wright [28]). На бо-

лее поздней стадии рассматриваемого нами периода общепризнанной становится точка зрения, что относительно задания конструктивно приемлемой гомофонной ТОЗ затруднений нет (Wright [22], McDowell [29]). Конечно, верно, что нет препятствий для того, чтобы получить все Т-предложения для языка первопорядковой арифметики в гомофонной теории истины, используя в метаязыке только интуиционистскую логику. Например, в этой интерпретации приемлема аксиома введения двойного отрицания, если все связки прочитываются конструктивно. Но, во-первых, есть принципиальные затруднения с распространением этого тезиса на эмпирический дискурс. Мы не можем сказать, что отрицание предложения s утверждаемо в i , если нет состояния информации i' , которое и расширяло бы i и в котором утверждалось бы s , ибо в эмпирическом случае это не является условием, которое мы опознаём как имеющее место, если оно имеет место, но у нас нет идеи, как доказать конструктивную версию этого. Второй общий вопрос связан с наблюдаемостью. Наблюдаемость кажется естественным аналогом для эмпирического дискурса разрешимости в арифметике (Dummett [20]). Условие же, о котором говорится как о имеющем место в предложении наблюдения, может иметь место без того, чтобы быть наблюдаемым, если наблюдатели не находятся в подходящих условиях. Понимание предложения наблюдения включает способность устанавливать его как истинное, даже если оно не наблюдается как истинное. Но если эта способность понимается так, то она может включать гипотезы относительно точек пространства и моментов времени, которые сами неразрешимы. Можно доказать, что в эмпирическом дискурсе у нас нет абсолютной наблюдаемости, но есть только по-разному релятивизированные её виды, релятивизированные относительно типа гипотезы, используемые в ортодоксальных средствах её подкрепления без наблюдения.

Тем не менее можно удовлетворительно развить концептуально-ролевою семантику, допускающую оценку в отношении понимания условия адекватности. Для того чтобы избежать возражения, в усовершенствованной версии Филдса к концептуальной роли просто добавляется теория истины Тарского. Но для того чтобы избежать другого возражения, принимается обязательство установить, каким образом соотносятся концептуальная роль и теория истины, ибо неправдоподобно, что значение предопределено несоотносимой парой понятий.

Второе условие адекватности относительно ТОЗ, связанное только с их формой, состоит в том, что они должны показать, каким образом значение комплексных предложений предопределено значением их частей. Следуя определению семантического примитива у Дэвидсона (в период, охватываемый предыдущим обзором) как такого выражения,

что правила, достаточные для определения значения предложения, в которых он не встречается, не достаточны для определения значения некоторых предложений, в которых он встречается, Уоллес и позднее Дэвис значительно уточнили условие адекватности этой формулировки и идеи, предъявляемой к ТОЗ (Wallace [30], Davies [31]). Грубо говоря, уточнение состоит в том, что принципы, используемые в ТОЗ для того, чтобы получить спецификацию значения предложения из ОЯ, таковы, что все и только те спецификации значения предложений, которые могут быть получены из этих принципов, являются спецификацией предложений, которые могут быть поняты, если понимается заданное предложение. Ограничения, связанные с этим направлением, будут исключать различные тривиализации ТОЗ, а также обеспечивать тест для детализированных семантических теорий относительно конструкций отдельного ОЯ. Способность переходить к новым случаям при изучении языка не должна ограничиваться прежде не встречавшимися предложениями. Способность применить атомарный предикат к новым случаям также является важной. Весьма далеко от ясности то, что (v) тип ТОЗ отвечает этому феномену. На самом деле никто не изучает обширный список критериев при изучении смысла атомарных предикатов проблематичного вида. Изучают нечто такое, что унифицирует критерии и позволяет применять слово в новых случаях. Если бы это было не так, не было бы ответа на возражение, что предикат с многочисленными критериями является двусмысленным. Взгляд на список критериев, изменяющий только один из критериев для данного предложения, должен дать новое предложение с предопределённым смыслом, и не очевидно, что это так. Та же самая точка зрения относительно спецификаций (a)–(d) может быть установлена в ТОЗ типа (vi). Значение есть как раз то, что унифицирует все эти пространственные списки.

В качестве цели ТОЗ давно рассматриваются определённые отношения следования между предложениями ОЯ. В данной области теории в двух отношениях далеко обогнали понимание условий, относительно которых подразумевается, что они должны им удовлетворять. Есть неясность относительно того, какие именно отношения следования подразумевается схватить в теории, и есть неясность относительно того, каким образом в ТОЗ должны трактоваться известные выводы. С одной стороны, Дэвидсон предполагал, что любая теория, в которой все Т-предложения для рассматриваемого ОЯ доказуемы, необходимо признаёт те выводы, которые стремятся отличить как общезначимые некоторыми предпочитаемым способом (Davidson [32]). Грэнди (Grandy [33]) и Эванс (Evans [7]) отметили, что это общезначимо только для некоторых выводов, и определённо не для выводов, касающихся модификации

наречий, которыми, в частности, интересовался сам Дэвидсон. Действительно, чтобы получить Т-предложения, нужно только правило партикуляризации и взаимоподстановочность предикатов и терминов, относительно которых в теории доказуема одинаковость объёмов. Остаётся также вопрос о том, существует ли какая-либо причина того, что особую роль играет ограничение логикой первого порядка. Это является частью вопроса о том, существует ли какое-то отличительное свойство традиционных логических констант.

Замечательно, что в этот период во многих из последующих работ о последней проблеме были апелляции к теоретико-истинностным свойствам выражений (Quine [34], Peacocke [35]). Это предполагает, что в допущении, что как часть ТОЗ необходимо применять модельную теорию (если чья-то концепция модельной теории состоит в том, что интерпретация традиционных логических констант зафиксирована посредством моделей), есть некоторая избыточность. Ибо соответствующая область и разновидность моделей фиксировались бы посредством теории абсолютной истины, а истинность была бы специальным случаем истинности в модели только в формальном смысле. Были попытки (Evans [7]) разработать более общее понятие структурной общезначимости вывода, согласно которому первопорядковые выводы не учитывались бы как структурно общезначимые на основании того, что они зависят от смысла отдельных выражений, а не от способа построения предложения. Но полностью удовлетворительный критерий для этого различия, который к тому же имел бы успех в рассмотрении некоторых выводов как структурно общезначимых, ещё должен быть сформулирован (Davies [31]).

II. ПОЧЕМУ К ИСПОЛЬЗУЕМОМУ ЯЗЫКУ ПРИМЕНИМА ОДНА, А НЕ ДРУГАЯ ТЗ?

В предыдущее десятилетие ответ на этот вопрос был дан Грайсом, он же был уточнён им самим в серии статей и в книге Шиффера (Grice [36], [37], Schiffer [38]). Фундаментальная идея состоит в том, что лингвистическое значение может быть определено с точки зрения обозначения агентом чего-то посредством (продуцированием) действия ('s-значения') и что это второе понятие есть предмет наличия у агента открытого комплексного намерения вызвать определённый ответ у определённой аудитории через осознание аудиторией его намерения. Это намерение совершенно открыто в том смысле, что нет намерения, требуемого для s-значения, с которым агент не стремился бы ознакомить аудиторию. Отсюда следует, что намерения, требуемые для s-значения,

либо образуют бесконечную последовательность, или же являются самореферентными (Harman [39]).

Обычно в подобных разработках в рамках подхода Грайса говорится, что связь между *s*-значением и лингвистическим значением обеспечивается понятием конвенции. На самом же деле идея, весьма приблизительно, состоит в том, что для предложения *s* означать, что *p* в сообществе *S*, значит быть в *S* конвенцией, поскольку *s* произносится, только если вы тем самым *s*-обозначаете, что *p*. Понятие конвенции изящно исследовал Льюис (Lewis [40]). Фактически же совершенно неясно, что язык должен быть конвенциональным в смысле Льюиса, и утверждение, что он должен быть таковым, оспаривалось в последнем отрезке рассматриваемого нами периода (Burge [41], Peacocke [42]). Любое последующее исследование конвенции определённо должно различать следующие понятия. Есть определение Льюиса. Затем есть концепция, что конвенциональной является практика, в том смысле, что *может* существовать сообщество (не обязательно то, которое рассматривается), в котором намерения, обслуживаемые данной практикой, могли бы обслуживаться различными способами. Законы природы и людские цели остались бы неизменными. Затем есть ещё более слабое представление, что практика поддерживается общими ожиданиями, которые будут согласовываться с ней другие. Кроме того, есть обычные определения практики как конвенциональной в отношении одной, а не другой социальной цели. Для любой пары этих понятий не так трудно подобрать примеры, к которым приложимо одно, но не другое. Представляется, что язык конвенционален только в соответствии с самым слабым из них.

Однако наиболее фундаментальные критические замечания относительно программы Грайса связаны не с наведением мостов между *s*-значением и лингвистическим значением, но с ролью самого *s*-значения. Рассмотрим некоторые из них.

Одно такое направление критики, заключающееся в том, что поскольку подход Грайса использует пропозициональные установки, которые имеют то же самое содержание, что и предложения, значения которых с их помощью пытаются определить, то теория не учитывает того, что значит иметь понятие, мы отложим до обсуждения умеренности в разделе III. Более определённо утверждается, что предложения с пропозициональными установками должны рассматриваться как отношения к предложениям или выражениям с определённым значением (как, например, в Davidson [32]), так что если придерживаться редукции Грайса, то получился бы круг, поскольку лингвистическое значение объясняется с точки зрения пропозициональных установок, а эти установки – с точки зрения лингвистического значения. Это возражение не

убедительно не только потому, что основанный на предложениях анализ предложений с пропозициональными установками на самом деле не нуждается при их анализе в использовании выражения ‘означает, что’ (или какого-то синонима). Это также не убедительно из-за наличия дилеммы, применимой к предполагаемому рассмотрению предложений с пропозициональными установками. При анализе предложение ОЯ ‘Джон может иметь намерение закрыть дверь безотносительно к тому, что означают выражения или предложения’, является истинным или же нет. Если нет, то рассмотрение неадекватно. Если да, то в комбинировании его с идеей Грайса не содержится круга. Ни в том, ни в другом случае на программу Грайса нет принципиального возражения.

Второе возражение вырастает из того факта, что нельзя приписать детализированные намерения агенту использования языка до интерпретации значительной части его языка (поскольку это само по себе является значительной частью его намеренного поведения). Этот пункт, как подчёркивалось Дэвидсоном (Davidson [43], [44]), конечно же, показывает, что намерения Грайса не могут использоваться как очевидная основа в предпринимаемой радикальной интерпретации, но не показывают, что редукции Грайса не являются истинными. В самом деле, сторонник Грайса должен включить этот пункт, если он в определённой степени придерживается холизма в психологии пропозициональных установок. Лингвистическое поведение особенно богато и структурировано и к тому же является формой прямого выражения установок агента. Поэтому любое приписывание пропозициональных установок агенту должно нести ответственность за этот источник очевидности и будет отвергнуто, если не в состоянии учитывать такое поведение.

Более серьёзный источник затруднений состоит в том, что редукции Грайса предположительно ограничены использованием в определениях несемантических пропозициональных установок, т.е. установок, которые не включают ‘указывает’, ‘истинно’, ‘означает (говорит), что’. Однако было показано, что определение лингвистического значения может быть задано и без таких установок. (Фактически, это одна из интерпретаций того, что когда-то говорил Сёрл (Searle [45]).) Наиболее правдоподобно, когда такие семантические установки входят в надлежащее рассмотрение, устраняющее неоднозначность в отдельных случаях использования неоднозначных предложений. Говорящий хочет, чтобы аудитория осознала, что его выражения имеют одни, а не другие истинностные условия. Следует также заметить, что не существует непосредственного, принимаемого без вопросов аргумента, вытекающего из утверждения, что если у двух человек являются общими все их несемантические пропозициональные установки, то они будут иметь одина-

ковую предрасположенность к вербальному поведению, так что лингвистическое значение их выражений будет одним и тем же. Поэтому некоторая форма анализа Грайса должна быть корректной. Дело совсем не в том, что с необходимостью не существует какого-либо перехода от выводимости к сводимости (в конце концов, *этот* пробел здесь не может быть важным, поскольку, если семантические описания следуют из психологических, было бы правдоподобным, чтобы семантические описания могли быть известны, если известны психологические описания, и это могло бы быть так, только если существовали бы связующие принципы). Скорее предрасположенности специфицируются посредством пусковых условий их проявления. И если пусковое условие является семантической пропозициональной установкой, то для вербальных предрасположенностей двух людей с одинаковыми несемантическими пропозициональными установками нет необходимости быть одинаковыми. Мы не должны приводить в качестве аргумента спорное положение, предполагая, что эта семантически специфицированная предрасположенность уже включена в несемантические предрасположенности. Но всё это служит только для критики не соответствующего заключению аргумента, но не самого заключения.

Иную разновидность ответа на вопрос (II) дал Дэвидсон (Davidson [43], [44]). Конечно, не удивительно, что тот, кто адаптирует теоретико-истинностную концепцию ТОЗ, должен дать нетривиальный ответ на вопрос (II), поскольку очевидно, что для интерпретации экстенциональной теории истины требуется нечто большее, чем просто её истинность. Ответ Дэвидсона заключается в предлагаемом рассмотрении того, как нам следует идентифицировать интерпретационную теорию истины в качестве корректной при радикальной интерпретации. Грубо говоря, предположение состоит в том, что мы прежде идентифицируем, какие предложения ОЯ носители языка считают истинными. Затем мы отбираем как интерпретационную ту теорию истины, которая приписывает истинностные условия предложениям ОЯ таким способом, чтобы при определённых эпистемологических ограничениях другая теория не заставляла бы считать, что истинным является большее число предложений. Решающий пункт состоит в том, что соглашаясь, что для идентификации примеров того, что считается истинным, нам нужно кое-что знать о желаниях и убеждениях агента, мы, тем не менее, можем знать, что некто считает предложение истинным, не зная, какой смысл он ему приписывает, или какое убеждение он выражает, высказывая его. Любая теория истины, актуально отобранная (если придерживаться неопределённости, может быть больше одной теории), конечно, не является приближённой теорией истины для условий, при которых предложения ОЯ

считаются истинными. Это – в точности теория условий, при которых они *являются* истинными.

Для решения вопроса (II) эта позиция должна иметь ответ на возражение, что она предоставляет рассмотрение того, как обнаружить, что теория истины является интерпретационной, но не рассмотрение того, что значит для теории быть интерпретационной, что за процедура обеспечивает успех в поиске. Один из способов развить ответ заключается в том, чтобы доказать, что в других случаях, в которых мы проводим противопоставление между методами обнаружения и тем, что обнаруживается, мы имеем некоторую концепцию, альтернативную применению рассматриваемой концепции, помимо рассматриваемой процедуры. Это не так относительно понятий истины и сказанного. Языковое средство слушающего, определённо не затрагивающее применение слушающим чего-то подобного процедуре радикальной интерпретации Дэвидсона, могло бы посредством этой общей позиции обеспечить аргумент, что слушатель первого языка без использования выводных процедур приходит к применению понятия сказанного в соответствии с объёмом понятия, определённого процедурой радикальной интерпретации.

Относительно сохранения истины дальнейшего исследования заслуживают, по крайней мере, два вопроса. Первый касается аргумента, что в радикальной интерпретации может играть роль то, что факт, что некто может знать, что человек считает предложение истинным без знания того, что оно подразумевает, сам по себе не показывает, что считать за истинное. Ибо здесь может быть случай, что всегда, когда некто знает, что предложение считается истинным, не зная его смысла, это происходит потому, что убеждённый в этом находится в некоторых ситуациях, подобных относительно этому частному положению, ситуации, в которой он или другие находились, когда считали высказанное предложение истинным. И могло бы быть, что относительно этих случаев чьи-то основания для убеждения, что это предложение считается истинным, включают тот факт, что наилучшая общая теория делает рассматриваемого человека убеждённым в том, что p , и интерпретирует это предложение как подразумевающее, что p . Второй и более общий вопрос касается того, нужно ли понятие, играющее роль того, что предусматривает Дэвидсон, для того, чтобы считать истинным? Мы не можем продолжить интерпретацию, проверяя все наши комбинации теории истины и приписывания убеждения, желания и намерения и рассматривая, дают ли они удовлетворительное разумное объяснение всему лингвистическому поведению агента? Изначальная и проверенная гипотеза относительно проявления принятия за истину может быть полезна при рассмотрении вероятных комбинаций с проверкой, но это может быть ис-

тинным также и относительно первоначальных предположений, касающихся детализированных установок и смыслов предложений.

Метод Дэвидсона – переход от очевидности к теории истины с точки зрения принятия за истину посредством принципа милосердия – открыт при некоторых интерпретациях возражениям со стороны каузальных теорий реляционных пропозициональных установок (Evans [46], McGinn [48]). Эту тему можно было бы более полно рассмотреть в рамках обзора по философии сознания.

III. КАКИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ СВЯЗАНЫ С ОТНОШЕНИЯМИ МЕЖДУ НАШИМИ ОТВЕТАМИ НА ВОПРОСЫ (I) и (II)?

Полный ответ на этот вопрос (III) должен включать адекватный взгляд на отношения ТОЗ как с физикой, так и с психологией (о крайних высказываниях с точки зрения отдельных установок на эти проблемы см. Field [45], [50] и Fodor [51]). Чтобы избежать ещё большей степени краткости, чем обнаружилось в предыдущем разделе этой статьи, я сконцентрируюсь на двух вопросах относительно неопределённости, проявления и знания семантических свойств.

Вопросы относительно проявления и знания семантических свойств явно соотносятся с общими теориями значения, а не с теориями ТОЗ, поскольку вопросы, оставленные открытыми ТОЗ, могут быть установлены в сопровождающей теории значения. Удобным начальным пунктом для обсуждения является понятие *умеренности*, введённое Даммитом (Dummett [52]). Общая теория значения (ТЗ) может быть описана как умеренная, если она настаивает, что ТОЗ для отдельных языков может установить только то, какие понятия с какими выражениями ассоциируются в языке, который она трактует. Даммит иногда говорит, что ТОЗ, подтверждённая умеренной ТЗ, – это теория, которая для любого понятия, соотносимого ей с некоторым выражением объектного языка, «была бы понятна только тому, кто уже схватил понятие». Представляется, что возражение относительно понятия умеренности должно настаивать на теории, которая может быть понята тем, кто ещё не обладает понятием, выраженным в этой теории. Но фактически здесь есть несколько подлинных проблем.

Первая проблема связана с вопросом, что значит обладать понятием. Корректно ли выдвигать условие, что значит для человека x обладать понятием, внедряющим выражение для этого понятия внутрь пропозициональной установки или косвенного глагола высказывания, применяемого к x ? Одно прочтение умеренности заключается в том, что это никогда не может быть сделано корректно. К этой проблеме относится и

то, что негомофонные предложения в ТОЗ стали ассоциировать с умеренностью. Ибо редукция одного понятия к другим при условии, что то, что она должна иметь редуцируемые понятия, не является проблематичным, отвечало бы его требованию. Поскольку также очевидно, что этот процесс должен где-то остановиться, проблема, касающаяся умеренности, относится также к условиям законности гомофонных предложений. В частности, являются ли они законными только для разрешимых понятий? Вторая проблема – что делает аксиому ТОЗ корректной? Должно ли некоторое её описание даваться в несемантических в конечном итоге терминах или же нет? (С точки зрения одного из взглядов на познание языка, обсуждаемого ниже, не было бы причины предполагать, что такое несемантическое описание должно быть пригодным.)

Третья проблема, которая всё ещё возникает, даже если мы умеренны в двух предыдущих отношениях, но которая не идентифицируется Даммитом, состоит в следующем. В рамках умеренных теорий значения мы можем отличить то, что я буду обозначать как *тацитарные* [taciturn] теории, от *дифидентных* [diffident] теорий значения. Дифидентные ТЗ дают описание для каждого понятия, переданного выражением объектного языка, которое представляет собой проявление уверенности, включающего это понятие, описание, которое *использует* само это понятие, но которое не предполагает, что объектный язык говорящего содержит это понятие. Это – средняя позиция. Ибо, хотя она предлагает некоторое описание того, что может сделать её корректной, чтобы приписать понятие, она не предлагает редукции рассматриваемого понятия и не нуждается в разрешимости понятия для дифидентного описания, чтобы быть пригодной. Примерами дифидентного описания являются разрешающие таблицы Куайна для сентенциальных связок и описание Рамсеем того, что значит верить в предложение с универсальной квантификацией с точки зрения предрасположенности к форме единичных уверенностей (Quine [53], Ramsey [54]). В случае Рамсея эта предрасположенность вполне приемлемо специфицируется, используя саму универсальную квантификацию, и это то, что делает описание дифидентным. Одна из привлекательных черт дифидентности состоит в том, что она предлагает описание для каждого английского выражения того, что делает его корректным, чтобы интерпретировать выражения в различных языках самых разных уровней сложности этим английским выражением. Тацитарные ТЗ, с другой стороны, ничего не говорят о каждом отдельном виде выражения, и сторонник тацитарности должен показать, почему заявленные привлекательные черты дифидентности иллюзорны. Если дифидентность является корректным требованием к теории значения, она определяет цель для главной философской про-

граммы. Ибо она требует того, что для каждого понятия мы имеем некоторое описание проявления условий обладания этим понятием.

Вопрос о том, должны ли носители языка знать, что устанавливается аксиомами ТОЗ для их языка, конечно, не решается тем, является ли теория реалистской или конструктивистской. С одной стороны, можно быть в состоянии ответить на конструктивистские сомнения относительно проявления признаваемых трансцендентными убеждений без утверждения того, что реалистские семантические аксиомы известны носителям языка. Тогда как, с другой стороны, адекватное проявление корректности семантической аксиомы в конструктивистской теории значения не влечёт, что семантическая аксиома известна носителям языка. Тем не менее некоторые теоретики утверждали, что компетентные носители должны знать, хотя, конечно, не выражая этого явно, аксиомы корректной ТОЗ для их языка. Этой позиции придерживаются некоторые последователи Хомского (Graves et al. [55]); позиция самого Хомского очень осторожна, и он, по-видимому, более озабочен тем, чтобы настаивать на внутренней реализации аксиом корректной грамматики, а не на знании их носителями языка (Chomsky [56]). Наиболее оправданная точка зрения, противостоящая этому взгляду, – это точка зрения, являющаяся семантическим аналогом позиции, предлагаемым Стичем для синтаксиса (Stich [57]). Этот взгляд состоит в том, что компетентные, понимающие носители имеют знание только того, что говорится полным предложением, записанным или помысленным, с которым эти носители включены в речевую деятельность. Понять язык значит иметь способность овладеть таким знанием невыводным образом. (Как и в случае перцептуального знания, сказать, что знание не является выводным, не значит сказать, что оно не может быть подтверждено, но только то, что любое подтверждение фактически не является средством, с помощью которого его достигает носитель.) С этой позиции не существует бесконечного по величине знания, которым овладел понимающий носитель, но только потенциально бесконечная способность. Таким образом, некое требование, что бесконечное по величине знание у единственного человека имеет конечный базис, из которого оно выводимо, не применимо.

Этот взгляд, согласно которому в корректном описании понимания ничто не требует, чтобы аксиомы ТОЗ были известны носителям языка, не должен обосновываться на основании того, что всё знание, или даже только семантическое знание создания, использующего язык, должно быть явным. Ибо может существовать сообщество индивидов с языком, понимаемым членами сообщества, и которые, таким образом, с этой точки зрения знают, что сообщают отдельные выражения. Однако в

описании этого случая ничто не требует, чтобы их язык действительно содержал слово, которое означает 'говорит' (в косвенном смысле) или 'истинно' или что-то ещё, что они могли бы использовать вербально, чтобы выразить это знание относительно частных произнесений. Этот взгляд скорее должен защищаться аргументами со стороны наиболее усложнённых понятий, которые могут понадобиться для использования в теоретическом описании, как семантическом, так и синтаксическом, их языка. В частности, если мы припишем человеку убеждения, включающие эти усложнённые понятия как часть нашего описания понимания языка, тогда мы должны объяснить, почему эти люди не поступают в других случаях так, как, ожидалось бы, поступал некто владеющий этими понятиями (такими как последовательности, трансформационные циклы и т.д.). Семантический аналог точки зрения Стича на синтаксис говорит, что не существует такого знания у обычного компетентного носителя, и объяснение того, что он не ведёт себя подходящим образом, заключается просто в том, что ему не нужно владеть этим понятием. Конечно, общей истиной не является то, что носители не знают принципов, которые определяют применение понятий, используемых в выражении истин, которые они знают. В качестве примера мы могли бы указать, что некто с бинокулярным зрением был бы вполне искушён, чтобы одновременно уравнивать визуально оцениваемое расстояние.

Моя вторая тема этого раздела – неопределённость. Тезис Куайна о неопределённости перевода почти достоверно получает больше внимания в журналах в данный период, чем любая другая тема теории значения. Один способ установления этого тезиса состоит в том, что могут существовать два равным образом хороших руководства для перевода из одного языка L во второй язык M , оба из которых сохраняют вербальные предрасположенности всего, связанного с отношением к рассматриваемым предложениям, и которые, однако, отображают данное предложение языка L в предложения M , которые отличаются по истинностному значению. (Эта формулировка не использует понятие значения.) Акцент Куайна на основаниях для принятия этого тезиса за этот период изменился, как и смысл, который он приписывает ему. В 1970 г. он писал, что 'действительным основанием' для его принятия является общая неопределимость научной теории всеми актуально истинными (и "прикреплёнными") предложениями наблюдения (Quine [58]). Однако позднее, в наш период, он также говорил, что единственная версия тезиса неопределимости, которую он определённо утверждал, состоит в том, чтобы сказать, что наша теория мира обязана иметь эмпирические (т.е. для Куайна – наблюдаемо) эквивалентные альтернативы, такие, что если мы должны обнаружить их, мы не увидели бы способа примирить

их посредством перевода предикатов одной теории открытыми предложениями другой (Quine [59]). Тогда смысл, которому он теперь приписывает неопределённость, поскольку он опирается на тезис неопределённости, должен быть соответственно изменён. Это определение нынешней позиции Куайна хорошо согласуется с некоторыми замечаниями Патнэма (Putnam [60]).

Для неопределённости Куайн различает аргумент сверху и аргумент снизу. Аргумент сверху – т.е. аргумент от неопределённости – состоит просто в том, что, пока теория может изменяться, даже если истинностные значения всех прикрепленных предложений наблюдения фиксированы, может изменяться и перевод теоретических предложений иноязычного учёного, сохраняя его предрасположенности к вербальному поведению, даже если фиксирован перевод его предложений наблюдения (Quine [58]). На это правомерно возражал Патнэм (Putnam [60]), что понятие наблюдаемо эквивалентных теорий Куайна является очень слабым, направленным на согласование теорий, изъывительные предложения наблюдения которых являются следствиями этих теорий. Более широкое понятие требовало бы согласования контрфактических высказываний, сформулированных в терминах наблюдения. И крайне неясно, что теория может изменяться, пока наблюдаемость фиксирована в этом смысле. (Ясно, что этот вопрос отчасти зависит от того, все ли контрфактические высказывания могут быть сведены к категорическим.)

По-видимому, независимо от точки зрения Патнэма, позиция Куайна включает асимметрию. Хотя, с точки зрения Куайна, наблюдение не определяет теорию, относительно принимаемой им физической теории он является реалистом. С точки зрения принимаемой им теории мюоны и искривлённое пространство-время являются реальными, независимо существующими сущностями. Почему бы не отобразить одно из многих приемлемых руководств по переводу и с точки зрения принятого руководства не сделать устойчивыми утверждения о том, что говорит носитель родного языка? Ответ Куайна (Quine [61], [62]) состоял бы в том, что публичность значения требует, чтобы оно не могло выходить за рамки того, что предопределено поведенчески. Но, как замечает Майкл Фридман (Friedman [63]), это приведёт к оправданию асимметричной позиции Куайна только в том случае, если языковое обучение, которое проходит при публично наблюдаемых обстоятельствах, не включает теоретического вывода или же действительной унификации этих публичных обстоятельств посредством неповеденческих понятий. (Написав это, я не намеревался одобрить предположение Фридмана, что одна интерпретация тезиса неопределённости состоит в том, что ТОЗ не является в слабом или сильном смысле сводимой к физической теории. Эта

интерпретация проблематична, поскольку, как кажется, в понятии слабой или сильной сводимости ничего не требует уникальности в соответствующем смысле редуцируемой теории. Если это корректно, повидимому, остаётся открытой возможность, что обе существенно различные ТОЗ для языка в слабом смысле сводимы к физике).

Аргументы для неопределённости снизу состоят в приведении примеров однозначных выражений, являющихся частями предложений, которые могут быть интерпретированы более чем одним способом. Как отметил Куайн, свидетельство в пользу неопределённости должно показать, что эти разные возможные интерпретации действительно результируются в различных полных интерпретациях всех предложений, в которые входит выражение. Единственный пример в книге *Слово и объект*, отвечающий этому условию, который Куайн развил в деталях, связан с интерпретацией слова, интуитивно переводимого как 'кролик'. Он утверждал, что переводы типа 'неотъемлемая часть кролика' могли бы работать равным образом хорошо, если бы в интерпретации других частей языка были сделаны компенсирующие согласования. Мощная общая трактовка предикации была развита Эвансом (Evans [64]) и применена в аргументации против предположения Куайна. Эта теория заключается в том, что рассмотрение выражения как предиката объектов определённого вида должно быть оправдано ролью предполагаемого предиката, которую этот предикат играет в санкционированных условиях комплексных предложений, в которых он встречается. Чтобы исключить необщепринятые интерпретации слова 'кролик', можно продемонстрировать естественные ограничения на интерпретацию выражения как предиката, производные от этой концепции. Куайн мог бы считать эти ограничения дополнительными предписаниями интерпретации, что всё же не обнаруживает существования каких-то значительных фактов относительно существа дела, если он точно так же не ограничивает свои собственные замечания относительно интерпретации логических констант, массовых терминов, терминов с распределённой референцией и т.д. в своих собственных работах. Филд также ответил на аргумент снизу, отметив, что даже если бы такая неопределённость была, можно было бы сохранить объективное понятие истины, без того, чтобы все семантические понятия релятивизировать относительно выбранного руководства для перевода (Field [65]). Далее он отличает некоторые подлинные случаи неопределённости референции, которые могут стать явными после научной революции, от разновидности примеров, данных Куайном (Field [66]). Но точная мера неопределённости и её отношение к различным видам семантического и психологического холизма заслуживают дальнейшего исследования.

ЛИТЕРАТУРА

- Baker, G. [17] Criteria: A New Foundation for Semantics. *Ratio* 16 (1974): 156–89.
- Burge, T. [41] On Knowledge and Convention. *Philosophical Review* 84 (1975): 249–55.
- Chomsky, N. [56] Knowledge of Language, *Minnesota Studies in the Philosophy of Science*, VII, Ed. K. Gunderson. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1975.
- Davidson, D. [8] Truth and Meaning. *Synthese* 17 (1967): 304–23.
- [9] In Defense of Convention T. в H. Leblanc, Ed., *Truth, Syntax and Modality*, Amsterdam: North-Holland, 1973.
 - [10] Replay to Foster, in Evans and McDowell.
 - and Harman, G. [11] *The Logic of Grammar*. California: Dickenson, Encino and Belmont, 1975.
 - and Harman, G. [12] *Semantics of Natural Language*. Dordrecht: Reidel, 1972,
 - [32] On Saying That, in D. Davidson and J. Hintikka, Eds., *Worlds and Objections*. Dordrecht: Reidel, 1969,
 - [43] Belief and the Basis of Meaning. *Synthese* 27 (1974): 204–23.
 - [44] Radical Interpretation. *Dialectica* 27 (1973): 313–28.
- Davies, M. [31] Meaning and Structure. Forthcoming in *Philosophia*.
- Dummett, M. [20] What is a Theory of Meaning? (II). In Evans and McDowell.
- [52] What is a Theory of Meaning? In S. Guttenplan, Ed., *Mind and Language*. Oxford: Oxford University Press, 1975.
- Evans, G. [7] Semantic Structure and Logical Form. In Evans and McDowell.
- [46] The Casual Theory of Names. *Proc. Arist. Soc. s.v.* 47 (1973): 187–208.
 - [64] Identity and Predication. *Journal of Philosophy* 72 (1975): 343–63.
 - And McDowell, J. [67] *Truth and Meaning. Essays in Semantics*. Oxford: Oxford University Press, 1976.
- Field H. [25] Logic, Meaning and Conceptual Role. *Journal of Philosophy* 74 (1977): 379–409.
- [49] Tarski's Theory of Truth. *Journal of Philosophy*. 69 (1972): 347–75.
 - [50] Conventionalism and Instrumentalism in Semantics. *Noûs* 9 (1975): 375–406.
 - [65] Quine and the Correspondence Theory. *Philosophical Review* 83 (1974): 200–28.
 - [66] Theory Change and the Indeterminacy of Reference. *Journal of Philosophy* 70 (1973): 462–81.

- Fodor, J.A. [51] *The Language of Thoughts*. New York: Crowell, 1975.
- Fodor, J.D. [3] *Semantics: Theories of Meaning in Generative Grammar*. New York: Crowell, 1977.
- Friedman, M. [63] Physicalism and the Indeterminacy of Translation. *Noûs* 9 (1975): 353–74.
- Grandy, R. [33] Some Remarks about Logical Forms. *Noûs* 8 (1974): 157–64.
- Reference, Meaning and Belief. *Journal of Philosophy* 70 (1973): 439–52.
- Graves, C. et al. [55] Tacit Knowledge. *Journal of Philosophy* 70 (1973): 318–331.
- Grice, H. [36] Utterer's Meaning and Intentions. *Philosophical Review* 78 (1969): 147–77.
- [37] Utterer's Meaning, Sentence-Meaning, and Word-Meaning. *Foundations of Language* 4 (1968): 1–18.
- Hacker, P. [18] *Insight and Illusion*. Oxford: Oxford University Press, 1972.
- Harman, G. [23] *Thought*. Princeton: Princeton University Press, 1973.
- [24] Meaning and Semantics. In M.K. Munitz and P.K. Unger, Eds., *Semantics and Philosophy*. New York: New York University Press, 1974.
- [39] Review of Shiffer [24]. *Journal of Philosophy* 71 (1974): 224–9.
- Hintikka, J. [13a] Quantifiers in Logic and Quantifiers in Natural Language. In S. Körner, Ed., *Philosophy of Logic*. Oxford: Blackwell, 1976.
- [13b] Quantifiers in Natural Languages: Some Logical Problem II. *Linguistics and Philosophy* I (1977): 153–72.
- [16] Reply to Peacocke. In E. Saarinen, Ed., *Game-Theoretic Semantics*. Dordrecht: Reidel, 1978.
- Katz, J., and Fodor, J. [1] The Structure of Semantics Theory. *Language* xxxix (1963): 170.
- and Postal, P. [2] *An Integrated Theory of Linguistic Description*. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1964.
- [26] *Semantic Theory*. New York: Harper and Row, 1972.
- Kreisel, G. [21] Foundations of Intuitionistic Logic. In E. Nagel et al., Eds., *Logic, Methodology and Philosophy of Science*. Stanford 1962.
- Lewis, D. [6] General Semantics. In D. Davidson and G. Harman, Eds., *Semantics of Natural Language*. Dordrecht: Reidel, 1972.
- [40] *Convention*, Cambridge, Mas.: Harvard University Press, 1969.
- Lycan, W. [19] Noninductive Evidence: Recent Work on Wittgenstein's "Criteria". *American Philosophical Quarterly* 8 (1971): 109–25.
- McDowell, J. [29] Truth Conditions, Bivalence and Verification. In Evans and McDowell.

- McGinn, C. [48] Charity, Interpretation and Belief. *Journal of Philosophy* 74 (1977): 521–35.
- Montague, R. [4] *Formal Philosophy*. Ed. R. Thomason. New Haven: Yale University Press, 1974.
- [5] English as a Formal Language. In Montague [3].
- Peacocke, C. [15] Game-Theoretic Semantics, Quantifiers and Truth. In E. Saarinen, Ed., *Game-Theoretical Semantics*. Dordrecht: Reidel, 1978.
- [35] What is a Logical Constant? *Journal of Philosophy* 73 (1976): 221–40.
 - [42] Truth Definitions and Actual Languages. In Evans and McDowell, and in trans.
- Putnam, H. [60] The Refutations of Conventionalism. In M.K. Munitz and P.K. Unger, Eds., *Semantics and Philosophy*. New York: New York University Press, 1974.
- Quine, W. [34] *Philosophy of Logic*. Engelwood-Cliffs: Prentice-Hall, 1969.
- [53] The Roots of Reference. La Salle, Ill.: Open Court, 1974.
 - [58] On the Reason for Indeterminacy of Translation. *Journal of Philosophy* 67 (1970): 178–83.
 - [59] On Empirically Equivalent Systems of the World. *Erkenntnis* 9 (1975): 313–28.
 - [61] *World and Object*. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1960.
 - [62] Ontological Relativity. *Journal of Philosophy* 65 (1968): 185–212.
- Ramsey, F. [54] General Proposition and Causality. In *The Foundations of Mathematics and Other Essays*, Ed. R. Braithwaite. London: Routledge, 1931.
- Saarinen, E. [14] Game-Theoretical Semantics. *Monist* 60 (1977): 406–18.
- Schiffer, S. [38] *Meaning*. Oxford: Oxford University Press, 1972.
- Searl, J. [45] *Speech Acts*. Cambridge: Cambridge University, 1969.
- Strawson, P. [27] Scruton and Wright on Anti-Realism Etc. *Proc. Arist. Soc.* 51 (1976-7): 15–21.
- Stich, S. [57] What Every Speaker Knows. *Philosophical Review* 80 (1971): 476–96.
- Wallace, J. [30] On the Frame of Reference. In D. Davidson and G. Harman, Eds., *Semantics of Natural Language*.
- Wright, C. [22] Truth-Conditions and Criteria. *Proc. Arist. Soc. s.v.* 50 (1976): 217–245.
- [28] Strawson on Anti-Realism. *Synthese* 40 (1979): 283–299.

III. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

ДАГФИН ФЛЛЕСДАЛ

ВВЕДЕНИЕ В ФЕНОМЕНОЛОГИЮ ДЛЯ ФИЛОСОФОВ-АНАЛИТИКОВ*

В то время как в англоязычных странах и в Скандинавии философия по большей части аналитическая, в континентальной Европе преобладают феноменология и экзистенциализм.

Феноменологи и экзистенциалисты не образуют чётко различающихся лагерей; можно найти философов, занимающих различные срединные положения, – достаточно упомянуть Хайдеггера и Сартра, двух известных экзистенциалистов, которые начинали с феноменологии. Однако тем более явная пропасть разделяет этих философов и аналитические школы в Англии и Соединённых Штатах.

Феноменология и экзистенциализм очень редко привлекали внимание философов-аналитиков. И наоборот, аналитическая философия представляет собой практически закрытый мир для феноменологов и экзистенциалистов.

Несмотря на то, что мы, конечно же, не должны игнорировать различия между двумя лагерями, было бы ошибочным отчаиваться в поисках основания для взаимного общения. Представляется, что взаимопонимание и даже продуктивный обмен особенно возможны между аналитической философией и *феноменологией*. В свою очередь, феноменология одновременно с установлением таких связей могла бы служить основанием для коммуникации между аналитической философией и экзистенциализмом.

В данной статье я попытаюсь представить феноменологию таким образом, который позволил бы прояснить её связь с аналитической философией, с одной стороны, и с экзистенциализмом – с другой.

* *Føllesdal D. An Introduction to Phenomenology for Analytic Philosophers // Contemporary Philosophy in Scandinavia. The Johns Hopkins Press: Baltimor and London, 1972. P.417–429.*

Тот фон, на котором работал Эдмунд Гуссерль, человек, создавший феноменологию, уже приводит к предположению, что феноменология должна требовать таких точности и логической строгости, которые стремятся найти и которые удовлетворяют философов-аналитиков.

Гуссерль, родившийся в 1859 году в Чехословакии и скончавшийся в 1938 году во Фрайбурге, в Германии, начинал как математик. В этой области он получил степень доктора, а затем короткое время работал в качестве ассистента у своего учителя Вейерштрасса, одного из выдающихся математиков своего времени, который в результате собственных открытий в основаниях математики пришёл к осознанию важности создания точной терминологии и необходимости выявления скрытых предпосылок. Даже после того как Гуссерль в возрасте двадцати пяти лет обратился к философии под влиянием Франца Brentano, вдохновляемого схоластикой, на него значительное воздействие оказали Больцано и Фреге, два наиболее влиятельных предшественника аналитической философии в девятнадцатом веке.

Наиболее важные работы и Больцано (1781–1848), и Фреге (1848–1925) относятся к основаниям логики и математики. Фреге, вероятно, самая значительная фигура в логике со времён Аристотеля, оказал значительное влияние на Рассела и Витгенштейна, которые вместе с Дж.Э. Муром являются основателями современной аналитической философии в Англии. Гуссерль никогда не встречался ни с Фреге, ни, разумеется, с Больцано, но он изучал всё, что они опубликовали, а Фреге написал рецензию на первую книгу Гуссерля *Философия арифметики*.

Франц Brentano (1838–1917), под чьим руководством Гуссерль изучал философию в Вене, после того как оставил занятия математикой, представляет интерес для феноменологии главным образом своей теорией ‘интенциональности’.

Согласно Brentano, всякая ментальная деятельность характеризуется направленностью на нечто, она нечто интендирует.

Всякий ментальный феномен характеризуется тем, что схоласты в Средние века называли интенциональным (а также ментальным) небытием объекта, и то, что мы можем назвать, хотя и не совсем недвусмысленным образом, референцией к содержанию, направленностью на объект...¹

¹ Franz Brentano, *Psychologie vom empirischen Standpunkt* (Leipzig: Dunker und Humboldt, 1874), Band 1, Teil 2, S. 85.

Так, когда мы любим, существует то, что мы любим; нечто существующее дано в чувственном восприятии; о чём-то мы мыслим в акте мышления и т.п. Принцип интенциональности может показаться совершенно очевидным, однако он приводит к затруднениям, когда мы пытаемся применить его к человеку, воспринимающему галлюцинацию, или к человеку, который думает о кентавре. Brentano считал, что даже в этих случаях наша ментальная активность – наше размышление или наше чувственное восприятие – направлена на некоторый объект. Направленность, по его мнению, не имеет никакого отношения к реальному существованию объектов. Объект внутренне присущ нашей ментальной активности, он содержится в ней ‘интенционально’. И Brentano определял ментальные феномены как “феномены, которые содержат объект интенционально”.

Многие из учеников Brentano, и среди них Гуссерль, осознавали важность проблемы интенциональности. Однако они не были удовлетворены решением, предложенным Brentano, которое я только что набросал, а именно, принципом, что для каждого акта существует объект, на который акт направлен. Они находили это неясным, в частности потому, что данный принцип приводит к следующей дилемме. Рассмотрим человека, который видит дерево. Если мы скажем, что объект, на который направлен его акт видения, является реальным деревом, расположенным пред ним, тогда нас ожидают затруднения в попытке объяснить галлюцинации. Если же мы модифицируем наше понятие об объекте, данном в акте, таким образом, что сможем говорить о галлюцинации как направленной на объект, то рискуем быть вынужденными сказать, что то, что мы видим, когда смотрим на дерево, не является реальным находящимся пред нами деревом, но является чем-то таким, что мы могли бы видеть также и в случае галлюцинации.

Эти затруднения привели Мейнонга, одного из учеников Brentano, к его *Gegenstandstheorie*, которая, благодаря серии обзоров Бертрама Рассела, оказала влияние на так называемое движение реалистов в Англии и Соединённых Штатах в первые двадцать лет нашего века.

Способ обойти данные затруднения, который предложил Гуссерль и который на рубеже веков привел его к феноменологии, отвергает принцип Brentano, что для каждого акта существует объект, на который этот акт направлен. Но Гуссерль никогда не отвергал основной взгляд на интенциональность, как на свойство каждого акта быть направленным.

Для того чтобы рассмотреть, каким образом он применяет этот способ, было бы полезным прежде рассмотреть идею, выдвинутую Фреге в

статье “О смысле и референте”, опубликованной в 1892 году². В этой статье Фреге вводит различие между *смыслом* лингвистического выражения и его *референтом*. Несмотря на то, что это различие не является самой важной идеей среди многообразия идей, выдвинутых Фреге, оно вполне может оказать помощь в объяснении того, чем в целом является феноменология.

Для прояснения этого различия используем один из собственных примеров Фреге. Утренняя звезда – это яркая звезда, иногда наблюдаемая на утреннем небе. Вечерняя звезда иногда появляется на вечернем небе. Астрономы уже в древности установили идентичность утренней и вечерней звезды. Таким образом, “вечерняя звезда” и “утренняя звезда” суть два различных имени одного и того же небесного тела, планеты Венера. По терминологии Фреге, древние открыли, что два имени имеют один и тот же референт. Это астрономическое открытие было основано на наблюдении и не могло быть выведено из имён “утренняя звезда” и “вечерняя звезда”, поскольку эти имена с очевидностью имеют различные *смыслы*, освещающие различные аспекты их общего референта. Имя “утренняя звезда” указывает на свой референт, как на звезду, которая видна утром, а имя “вечерняя звезда” указывает на свой референт, как на звезду, наблюдаемую вечером. Если мы владем полным знанием о референте, то можем непосредственно решить, дан ли нам смысл ему принадлежащий. Однако, согласно Фреге, мы никогда не достигаем такого полного знания референта, поскольку никогда не можем знать объект во всех его аспектах.

Таким образом, Фреге использовал трихотомию – имя, смысл, референт. Он находил, что эта трихотомия прольёт свет на затруднения, возникающие в связи с использованием так называемого принципа подстановки тождественного, центрального принципа логики, который звучит следующим образом:

(P) Если два имени являются именами одного и того же объекта, они могут быть подставлены на место друг друга в каждом предложении, в котором они встречаются, без какого-либо изменения истинностного значения предложения (то есть без изменения истинного значения на ложное или наоборот).

Примером, иллюстрирующим этот принцип, является предложение:

² “Über Sinn und Bedeutung”, Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik 100; 25–50 (1892).

(1) Утренняя звезда является планетой.

В данном случае, имя “утренняя звезда” может быть заменено именем “вечерняя звезда”, поскольку эти два имени, как было показано выше, имеют один и тот же референт. Однако и из этого правила есть отдельные исключения. Если мы подставим “вечерняя звезда” вместо “утренняя звезда” в предложение

(2) Том верит, что утренняя звезда является планетой,

мы рискуем оказаться в ситуации, когда новое предложение имеет истинностное значение, отличное от истинностного значения предложения (2), поскольку Том может не знать, что утренняя звезда и вечерняя звезда идентичны, будучи вместо этого уверенным в том, что одна является планетой, а другая - неподвижной звездой. Подобным образом, если м-р Смит читает в газете, что человек в серой шляпе разыскивается за убийство, но не знает, что этот человек его ближайший сосед, он может бояться человека в серой шляпе, при этом совершенно не опасаясь своего соседа.

Как замечает Фреге, в этих и других контекстах, где имя следует за выражениями типа “верит, что...”, “знает, что...”, “думает, что...”, “нравится, что...”, “надеется, что...”, “опасается, что...”, “боится, что...”, имя не может быть заменено каким-либо именем, имеющим только тот же самый референт. Его можно заменить только именем с тем же самым смыслом. Таким образом, в (2), несмотря на то, что мы не можем подставить “вечерняя звезда” вместо “утренняя звезда”, мы могли бы воспользоваться для замены чем-то подобным следующему выражению – “яркая звезда, которая иногда наблюдается на утреннем небе на Востоке”. (Стремясь сохранить принцип подстановки, Фреге утверждает, что имена употребляются двумя различными способами. Обычно – как в примере (1) – имя используется в качестве имени своего референта, но в косвенных контекстах – как в примере (2) – оно используется как имя своего смысла. Однако нам здесь не обязательно затрагивать эту часть теории.)

Контексты, которые не повинуются принципу подстановки, или, как сказал бы Фреге, которые заставляют функционировать имя как имя своего смысла, мы можем назвать (референциально) “непрозрачными”, поскольку они затемняют связь между именем и его референтом. (Термин “непрозрачные контексты” был введен Уайтхедом и Расселом. Фреге не имел для них специального названия, но говорил, что имена в этих

этих контекстах используются 'косвенно' и имеют 'косвенный референт'.)

Фреге считал, что референт имени представляет собой функцию его смысла. Два имени могут иметь различные смыслы при одном и том же референте, как мы только что могли убедиться на приведённом выше примере. Но обратное - неверно. Если два имени имеют одинаковый смысл, они также имеют одинаковый референт. Существуют и выражения, имеющие смысл подобно именам, но не имеющие референта - например, "Пегас". Это имя имеет смысл ("крылатый конь" и т.д.), но не имеет референта, так как не существует объекта, обладающего свойством, которое освещается этим смыслом. Некоторые философы испытывали затруднения в объяснении того, каким образом мы можем осмысленно использовать имя, не имеющее референта подобно имени "Пегас". Они пытались решить эту проблему, высказываясь в том смысле, что в этом случае мы говорим о нашей ментальной идее, или концепте, Пегаса. Фреге не одобрял подобного решения. Имя "Пегас" имеет смысл, утверждал он, и мы можем использовать его в осмысленных предложениях. Но оно не имеет референта; когда мы используем это имя, не существует ничего подобного тому, о чём мы говорим.

Фреге расширяет свою теорию смысла и референта, затрагивая многое из того, что здесь не упоминается. Например, он упрощает логическую теорию, рассматривая целостные предложения как имена. Однако того, что было сказано о различии смысла и референта, нам вполне достаточно для изучения структуры Гуссерлевской философии. Различие, предложенное Фреге, вполне естественно и имеет аналоги у других философов. Демонстрацию подобных различий можно найти уже у Платона и Аристотеля; стоики также использовали различие, очень похожее на то, что предлагает Фреге. Гуссерль был знаком с родственными идеями, которые имеются у Джона Стюарта Милля и у Больцано. Причина, по которой была выбрана точка зрения Фреге, заключается в её простоте и ясности. К тому же эта позиция – в совокупности с теорией интенциональности Brentano, описанной выше, – хорошо подходит для того, чтобы прояснить главные черты феноменологии Гуссерля.

Рассмотрим теперь, каким образом различие, аналогичное различию между смыслом и референтом, позволяет Гуссерлю преодолеть затруднения, имеющие место в теории Brentano.

Гуссерль пытается преодолеть проблему галлюцинаций и кентавров в теории Brentano подобно тому, как с помощью введения трихотомии

имя – смысл – референт

вместо дихотомии

имя – объект

была решена проблема, связанная с термином “Пегас”. Вместо предлагаемой Brentano дихотомии между активностью сознания, или человеческим *актом*, и её интенциональным *объектом*

акт – объект

Гуссерль ввёл трихотомию, отличая *акт*³ от его “смысла”, который он называл *ноэмой*, и от его *объекта*

акт – ноэма – объект.

Каждый акт имеет ноэму. Посредством ноэмы акт направлен на свой объект, если он таковой имеет. Не каждый акт обладает объектом; так, когда мы размышляем о кентавре, наш акт мышления имеет ноэму, но не имеет объекта; в данном случае не существует объекта, который мы мыслим. Однако посредством собственной ноэмы даже такой акт является направленным. Быть *направленным* значит просто обладать ноэмой.

Следовательно, то, что сделал Гуссерль, было результатом комбинирования теории интенциональности с теорией имени-смысла-референта. О различии между

актом – ноэмой – объектом

он говорит, что “ноэма – это не что иное, как обобщение идеи смысла на область всех актов”⁴. Феноменология базируется на этом простом и естественном обобщении. (Конечно, Гуссерль не просто прочитал Brentano и Frege, а затем соединил их вместе; история генезиса его взглядов гораздо более сложна. Но я выбрал именно эту последовательность изложения для того, чтобы облегчить наше введение.)

³ Понятие акта не ясно. Что есть акт? Что должно рассматривать как один акт, а что - как два? Более того, пытаюсь ответить на эти вопросы, Гуссерль прежде всего ищет способ прояснить собственное понятие ноэмы. Затем с его помощью он получает возможность объяснить, что обозначается посредством акта, поскольку ноэмы ‘индивидуализируют’ акты в том смысле, что каждый акт имеет одну и только одну ноэму.

⁴ Ideen, 3 (The Hague: Martinus Nijhoff, 1952), P. 89.

КОНТЕКСТЫ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 'НЕПРОЗРАЧНЫМИ'

Многое из того, что Фреге говорил о смысле имени и его референте, может непосредственно применяться к теории нозмы акта и его объекта. Каждому акту принадлежит отдельная нозма, а нозме - отдельный объект (если акт имеет объект; нозма у акта может быть и в том случае, если акт не имеет объекта). Но отдельному объекту может соответствовать несколько различных нозм и актов. Следовательно, когда мы намереваемся описать акт, недостаточно указать на его объект; необходимо указать его нозму. Если м-р Смит начинает опасаться человека в серой шляпе, было бы ошибочным при описании этого акта утверждать, что он боится своего соседа. Также в случае, если Том верит, что утренняя звезда является планетой, мы не можем при описании данного акта утверждать, что Том верит, что вечерняя звезда является планетой.

Этот принцип распространяется на все акты. Фреге указывал, что некоторые контексты являются непрозрачными - они не повинуются закону подстановки тождественного. Все контексты этого типа, упоминаемые Фреге, мы могли бы назвать 'контекстами действия': "верит, что...", "знает, что...", "думает, что...", "благодарит за то, что...", "надеется, что...", "боится, что...". Если феноменологи правы, мы можем расширить перечень контекстов в этом списке таким образом, что он будет охватывать *все* контексты действия. Например, поскольку для Гуссерля видеть - это акт, предложение "Том *видит* утреннюю звезду", когда оно рассматривается как феноменологическое описание акта, может внезапно изменить своё истинностное значение, если мы заменим имя "утренняя звезда" другим именем, имеющим тот же самый референт. Поэтому мы должны требовать, чтобы новое имя имело не только тот же самый референт, но и тот же самый смысл, как и первоначальное.

Мы должны предполагать те же самые особенности в отношении таких выражений, как "слышать", "чувствовать" и т.д. - другими словами, в отношении всех выражений, имеющих дело с чувственным восприятием, - поскольку "слышать", "чувствовать", "воспринимать" являются для Гуссерля актами. Принцип, что контексты действия характеризуются такой особенностью, как "непрозрачность", является фундаментальным для феноменологической теории восприятия.

НОЗМА И ЕЁ 'НАПОЛНЕНИЕ'

Наблюдая дерево, мы воспринимаем не просто совокупность окрашенных в коричневый и зелёный цвет точек, расположенных определённым образом; мы видим дерево - материальный объект с верхом, обратной и боковыми сторонами и т.п. Часть этих элементов, например

обратную сторону, мы не в состоянии воспринимать в данный момент, тем не менее мы видим предмет, который имеет обратную сторону. К тому же мы можем, удерживая наш взгляд направленным на дерево, воспринимать некоторую точку зелёного цвета, но тогда дерево исчезает, а остаются только окрашенные точки. Впечатления, доставляемые нашей чувственностью в тот момент, когда мы смотрим на дерево, представляют собой лишь незначительную часть того, что мы ожидаем получить от чувственного восприятия, если, например, начнём понемногу двигаться вокруг дерева. Эти ожидания, а также некоторые другие, связанные в известной степени с первыми, вполне предопределены и соответствуют некоторому 'ноэмагическому ядру' ноэмы нашего акта. Например, мы ожидаем, что дерево имеет сторону, в настоящий момент скрытую от нашего взгляда. Если мы, обогнув дерево, не обнаружили этой стороны, или если другие ожидания не исполнились, мы больше не утверждаем, что воспринимали дерево, но, вероятно, мы видели декорацию или имели галлюцинацию. Следовательно, одна ноэма отличается от другой различными моделями ожиданий. Гуссерль пользуется следующим примером. Мы можем двигаться в направлении объекта, будучи уверены в том, что это – человек. Приближаясь, мы вдруг убеждаемся, что этот предмет не движется и не дышит, а просто стоит здесь. Наша модель ожиданий разрушается, и мы уверяемся в том, что это кукла. Ноэма нашего акта преобразуется в соответствии с новыми возможностями для чувственного восприятия, ошибок и т.д.

Другие ожидания предопределены не полностью, представлена только их общая тенденция. Мы ожидаем, что воспримем цветочное ощущение, когда будем иметь возможность наблюдать дерево с обратной стороны, но, возможно, не вполне уверены, будет ли цвет зелёным или желтоватым. Ноэма нашего акта содержит также ожидания, связанные с ощущением прикосновения, которое мы можем получить, вступив в непосредственный контакт с деревом; возможно, таким же образом мы ожидаем ощущения запаха, вкуса или звука. Отвернувшись на мгновение, мы ожидаем увидеть дерево вновь и т.п. Некоторые из этих ожиданий предопределены, другие – открыты. Огибая дерево и пользуясь нашим чувственным восприятием, мы можем наблюдать, что всё больше и больше наших ожиданий исполняется и предопределяется. Наш опыт дерева, который первоначально был односторонним, с помощью этого становится богаче. Но мы никогда не достигнем какого-либо конца. Всегда будет сохраняться бесконечное множество ожиданий, которые и не исполнены, и не предопределены. Дерево представляет собой материальный объект, а следовательно, трансцендентно нашему опыту, утверждает Гуссерль. Трансцендентность вещи не означает, что то, что мы

видим, слышим, обоняем и т.д., представляет собой нечто отличное от самой вещи. Объект - трансцендентен чувственному восприятию (другими словами, ноэма акта никогда не может быть наполнена полностью), но он, вследствие этого, не является непознаваемым. Наоборот, он есть то, что познаётся в акте.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ – НАУКА О НОЭМАХ

Для Гуссерля *объект* есть нечто такое, на что может быть направлен акт. Не все объекты материальны, существуют и нематериальные, например числа и другие идеальные объекты математики.

Математика и все естественные науки, включая психологию, суть науки об объектах наших актов. Но, как мы уже замечали, вдобавок к возможному объекту акт обладает также *ноэмой*. Создавая феноменологию, Гуссерль намеревался создать новую науку, науку о ноэмах.

Ноэмы также являются объектами. В акте рефлексии ноэма одного акта может стать объектом другого акта.

Математики и естествоиспытатели изучают то, что дано нам в опыте, то есть окружающий нас мир природы. В феноменологической редукции мы пренебрегаем этой природой, миром объектов, на который направлены наши акты. Не отрицая, подобно софистам, и не сомневаясь, подобно скептикам, в существовании этого мира, мы как бы заключаем его в скобки. Мы производим *epoché*, говорил Гуссерль, заимствуя слово, которым пользовались античные скептики, обозначая воздержание от любого суждения.

Феноменолога не беспокоит вопрос о том, существует ли окружающий его реальный мир. Он не обеспокоен тем фактом, что некоторые из наших актов имеют объекты, а некоторые нет; он ориентирован на ноэмы наших актов. Это и есть *феномены*, которые он изучает. Реальный мир редуцируется к миру, представляющему собой коррелят наших актов, которые его конституируют, его порождают. Всё, что является трансцендентным, заключается в скобки вместе с объектами наших актов. Остаток, очищенный от всего трансцендентного, Гуссерль называет *трансцендентальным*. Таким образом, феноменологическая редукция ведёт нас от трансцендентного к трансцендентальному.

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Феноменолог анализирует ноэмы собственных актов для того, чтобы прояснить, каким образом мир конституируется его сознанием. Он исследует свои ожидания того, что дерево имеет обратную сторону, продолжает оставаться на месте в тот момент, когда он отворачивается

и т.д. Он изучает структуру нозем своих актов. Он проясняет, каким образом его ожидания выстраиваются в модель, какие новые чувственные восприятия могут изменить его ожидания, а иногда привести к ‘взрыву’ нозем и заставить его отвергнуть свои изначальные предположения о направленности собственного акта. В результате этого, согласно Гуссерлю, феноменология становится анализом чего-то похожего на то, что Кант называл *a priori*. Кратко характеризуя феноменологию, можно было бы сказать, что это исследование *a priori* необходимости. Её цель близка той, к которой с древности стремились многие философы. Но отличаются её методы, общие структуры актов, нозем и объектов, в рамках которых она пытается раскрыть смысл этой цели.

Также здесь нетрудно увидеть близкую связь феноменологии с *аналитической философией*. Поскольку так же как философы-аналитики, особенно представители так называемого лингвистического направления, анализируют *смысл*, феноменолог анализирует *ноэмы*, или смыслы актов в целом.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ ЭГО

Все акты направлены. Часто они направлены на нечто, и всегда направлены *от* нечто. То, на что они направлены, их объекты, феноменолог заключает в скобки. Но то, от чего они направлены – его Эго – остаётся в рамках феноменологической сферы. Собственное тело, всё, что находится во времени и пространстве, и все другие объекты заключаются в скобки. Но Эго остаётся, то Эго, которое придаёт смысл его актам и посредством этого ‘конституирует’ мир, в котором оно живёт. Это сохраняющееся Эго Гуссерль называл “трансцендентальное Эго”, поскольку оно, как и всё, что находится в феноменологической сфере, является трансцендентальным, очищенным от всего трансцендентного.

Согласно Гуссерлю, трансцендентальное Эго конституирует не только окружающие нас объекты – те объекты, которые мы в результате феноменологической редукции заключаем в скобки, – оно также конституирует себя. По словам Гуссерля, трансцендентальное Эго “непрерывно конституирует себя как существующее”⁵.

Вопрос о том, каким образом это осуществляется, приводит нас к *экзистенциалистским* аспектам феноменологии. Мы уже показали, что феноменология, как *ноэматический* анализ, имеет много общего с лингвистической философией. Рассмотрим теперь, как феноменологическая теория самоконституирования Эго приводит нас к экзистенциализму.

⁵ Cartesianische Meditationem (The Hague: Martinus Nijhoff, 1950).

Для того чтобы прояснить тот способ, с помощью которого Эго конституирует себя, Гуссерль приводит следующий пример. Если в акте суждения Я решаю первоначально в пользу бытия и бытия-как-такового, мимолётный акт проходит, но в дальнейшем *Я сохраняюсь как Эго, которое существует таким-то образом и так-то решило*; “Я в этом убеждён”.

Это однако не означает, что Я просто помню акт или могу вспомнить его позднее. Я в состоянии это сделать даже в том случае, если я тем временем “отказался” от своего убеждения. После отмены оно не является больше моим убеждением, но до тех пор оно сохраняется как такое-то. Пока оно принимается мной, Я могу “вернуться” к нему повторно и повторно обнаружить его как моё, как привычное для моего собственного мнения или, соответственно, найти себя как Эго, которое убеждено, которое, как сохраняющееся Эго, детерминировано этой постоянной привычкой или состоянием⁶.

Таким образом, существует скрытая корреляция между Эго и миром, в котором оно живёт. Когда Эго конституирует мир, оно посредством этого конституирует себя.

За этим следует ясный, хотя и достаточно важный шаг. Тот же самый принцип применим к решениям любого рода; Гуссерль упоминает *оценивающие* решения и *волевые* решения. Я решаю, *действие* заканчивается, но решение сохраняется; независимо от того, становлюсь ли Я пассивным и погружаюсь в глубокий сон или уже переживаю другие акты, решение сохраняется как принятое, и *соответственно*, Я придерживаюсь этого решения, пока не отвергну его. Итак, не только факты мира, но также и его оценки конституируются мной.

Если решение нацеливает на ограничение действия, оно *не* “отменяется” действием, которое его исполняет, в модификации? характеризующей исполненное решение, оно сохраняется как принятое; “Я должна настаивать на своём действии”.

Следующий шаг наиболее важен. “Я сам, тот, кто сохраняется в моём постоянном волеизъявлении, изменяюсь, если ‘отменяю’ собственные решения или отвергаю свои действия”⁷.

Этот момент требует особого внимания, поскольку является одним из ключевых моментов для установления взаимосвязи между феноме-

⁶ Ibid, P. 100–101.

⁷ Ibid, P. 101.

нологией и экзистенциализмом. Он является общим местом у всех экзистенциалистов, например у Кьеркегора, Марселя и Сартра. Они расходятся в способах, с помощью которых, как они считают, наши акты определяют или конституируют наше Эго; если для Кьеркегора существуют некоторые значимые акты, которые предопределяют его неизменно, то для Сартра детерминация практически исчезает вместе с прекращением самого акта. Таким образом, для Кьеркегора способность наших актов предопределять Эго проявляется более постоянно, а для Сартра – менее постоянно, чем для Гуссерля. Тем не менее все они согласны с тем, что наши акты детерминируют, или конституируют, наше Эго.

‘ЖИЗНЕННЫЙ МИР’

Ближе к концу жизни Гуссерль всё более и более интересуется проблемами интерсубъективности и объективности. Он пытается решить их с помощью теории о нашем совместном пребывании в “жизненном мире”, который конституируется каждым в сообществе. Впервые появившись как термин (“*Lebenswelt*”) в неопубликованной статье о Канте, написанной Гуссерлем в 1924 году, жизненный мир становится главной темой его последней значительной работы *Кризис европейских наук* (1936).

Феноменолог находится в окружении других человеческих существ. Они обладают телом и осуществляют акты, как и он сам. Эти люди и их акты могут стать объектами собственных актов феноменолога. Посредством эмпатии (*Einfühlung*) он признаёт у этих людей Эго, стоящие за их собственными актами и конституирующие мир, в котором они пребывают. Этим окрашены собственные акты феноменолога, конституирующие его мир. Даже в рамках своего изолированного опыта он знает, что чувственные восприятия, получаемые им, например, от дерева, зависят от его позиции и изменяются, когда он огибает дерево, приближается к нему или удаляется от него и т.п. Дерево, объект его акта, сохраняет свою идентичность, в процессе непрерывного изменения чувственных восприятий. Подобным образом его пребывание среди других человеческих существ способствует осознанию большего числа различных точек зрения. Его собственное Эго становится одним среди многих других. Мир, в котором он живёт, становится интерсубъективным миром, жизненным миром, “конституированным гармоническим взаимодействием и взаимным приспособлением среди индивидуальностей, пребывающих в нём”. Я, конституирующее этот мир, вследствие этого более не является личным, изолированным Эго феноменолога, но становится интерсубъективным Эго. Его акты направлены на интер-

субъективные объекты посредством intersубъективных нозэм, и Я, к которому они отсылают, имеет характер нейтрального Я. Гуссерль говорил, что в рамках феноменологической сферы исчезает различие между личными местоимениями⁸.

Естественные и все остальные науки надстраиваются над этим жизненным миром. Научные выражения и предложения имеют для нас значение только постольку, поскольку они утверждают нечто о жизненном мире. Таким образом, исследование жизненного мира имеет важное значение для всех наук и составляет первейшую цель феноменологии. Посредством феноменологического анализа мы должны попытаться приоткрыть структуры жизненного мира, утверждает Гуссерль, сделать ясным понимание того, каким образом наши модели ожиданий характеризуются общими законами, которые являются результатом взаимного приспособления всех членов сообщества.

Анализ подобных структур, который дан Гуссерлем в *Кризисе* и во многих его более ранних работах, напоминает анализ многих философов-аналитиков. И это не удивительно для того, кто помнит, что феноменолог анализирует *ноэмы*, или смыслы актов вообще, так же, как философы-аналитики анализируют *смыслы*, смыслы лингвистических выражений.

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ И АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

В заключении статьи следует сказать несколько слов о взаимодействии континентальной и англо-американской философии.

Если даже и осуществится какая-либо коммуникация и установится контакт между этими различными современными философскими школами, я думаю, это станет возможным при посредничестве феноменологии, поскольку, как я попытался показать, феноменология занимает уникальную позицию, так как, анализируя смыслы, или нозэмы, во многом соприкасается с аналитической философией, а с другой стороны, в теории самоконституирования Эго разрабатывает проблему, общую с центральной проблемой экзистенциализма.

В настоящее время, несмотря на исследования как феноменологов, так и философов-аналитиков, понятие смысла всё еще представляет затруднения для прояснения и является главной темой многих аналитиков, часть которых даже придерживается мнения, что анализ смысла, как он практикуется в большинстве аналитических разработок и предполагается во многих современных воззрениях, например, в противо-

⁸ Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie (The Hague: Martinus Nijhoff, 1954), S. 188.

поставлении лингвистической и фактуальной истин, остаётся без удовлетворительного философского обоснования.

Несколько лет назад философ-аналитик У.О. Куайн в книге *Слово и объект*⁹ утверждал, что он согласен с Brentano, а следовательно, как мы видели, также и с Гуссерлем, в том, что некоторые особенности непрозрачных контекстов, т.е. высказываний типа “Том верит, что утренняя звезда является планетой” или “М-р Смит боится человека в серой шляпе”, не позволяют свести их к утверждениям неинтенционального рода, которые подобны высказываниям о физических объектах или человеческом поведении. Куайн обосновывает несводимость таких интенциональных идиом ссылкой на провал многообразных попыток осуществить подобную редукцию и на ряд затруднений в возможности её применения, которые представляются непреодолимыми. Но в отличие от Brentano – а мы добавим, и от Гуссерля, – который интерпретировал эту несводимость как демонстрацию несомненной важности интенциональных идиом и *необходимости автономной науки об интенции* (в случае Гуссерля, *феноменологии*), Куайн рассматривает нередуцируемость как указание на *бесосновательность интенциональных идиом и пустоту связанной с ними науки*.

Куайн приводит достаточные основания в пользу своей позиции, разрабатывая философию языка, которая с элементарных основ приводит к подобной точке зрения на интенциональность, демонстрируя её *бесосновательность*. Этот взгляд является фатальным для феноменологии, а также для большинства современных аналитических систем, поскольку они интересуются *смыслами* в некотором *нередуцируемом* значении.

Так кто же прав, Куайн или Гуссерль? Для того чтобы защитить себя от критики, феноменологи должны были бы создать теорию смысла, в той же степени добротную, если не лучшую, нежели у Куайна.

Вероятно, они должны создать такую теорию, отказавшись от исходной установки Куайна на то, что в языке исследования (а я думаю, что неявно у человека вообще, во всех его актах) любая реалистическая теория очевидности должна быть неотделима от психологии стимулов и реакций, поскольку, если принять эту точку зрения на очевидность, тогда решительный вывод Куайна, по-видимому, следует с неизбежностью. Но имеется ли иное основание для утверждения о существовании других подходов к человеку, его актам и языку? Феноменология утверждает, что открыла такой путь, и это – путь феноменологического анализа посредством рефлексии над нозмами. Но может быть, это – только

⁹ W.V. Quine, *Word and Object* (Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press, and New York: Wiley & Sons, 1960).

постулат, или необоснованное утверждение? Несомненно, можно было бы указать как на очевидность для феноменологии на специальный язык семантики и интенцию, в которой смыслы и трансляция отношений об-суждаются, как если бы они были объективными и детерминированными, что утверждается Куайном, и противопоставить это его точке зрения. Однако что представляет собой в данном случае этот тип очевидности? И разве это не означает, что все мы сбились с пути и наши иллюзии о природе языка оставили осадок в самом языке?

Но на какой род очевидности мы могли бы тогда надеяться в поисках выхода? Я верю, что исследование этой проблемы даст нам фундаментальное понимание и языка, и философии. К тому же такое исследование может и должно вести к большему взаимопониманию и более тесному сотрудничеству между феноменологами и экзистенциалистами, с одной стороны, и философами-аналитиками – с другой.

ГИЛБЕРТ РАЙЛ

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ*

I. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

а) Подобно неудачному названию “Лингвистический анализ”, название “Феноменология” охватывает несколько весьма различных вещей. Даже у гуссерлианцев феноменологические утверждения совершенно не соответствуют утверждениям Гуссерля. Здесь мы имеем дело с феноменологией Гуссерля.

Если исключить, что Гуссерль настаивал на том, что приоритет принадлежит не эпистемологии или метафизике и даже не логике, но феноменологии, он оставил непрояснённым как раз то, каким образом поле философии в целом относится к полю его феноменологии. Его *Logische Untersuchungen* не информируют о месте таких отраслей философии, как этика, юриспруденция, эстетика и политическая философия. Так или иначе, Гуссерль, по-видимому, не имел позитивистских сомнений относительно возможности метафизики, хотя, подобно Расселу образца 1914 года, он доверчиво одобрял перспективу строго научной философии. Однажды он говорит об “идеально-научной феноменологической точке зрения”.

Можно предположить, что Гуссерль принял бы как оправданное философское предприятие (например) попытку Аристотеля разрешить парадоксы Зенона, и его попытку показать, каким образом возможна *akrasia*; можно предположить, что он не утверждал бы, что интуитивное наблюдение примеров типов интенциональности обеспечило бы успех в том или ином предприятии. Примеры, иллюстрирующие понятия *континуум*, *частица*, *точка*, *момент*, *конечное*, *бесконечное* и т.д., не обнаруживаются среди непосредственных данных рефлексивного сознания. Можно также предположить, что, если бы Гуссерль рассматривал данный вопрос, он допустил бы, что, например, Аристотель был прав *в споре* с Зеноном, хотя, по контрасту, собственно феноменологические темы в теории, хотя и не всегда на практике, устанавливаются без столкновения *пропонента* с *оппонентом*. Мои интенциональные акты и их “объекты” вместе с их сущностями для меня самоданны – при условии, что я настраиваюсь на их неискажённое восприятие. Мне не нужно оспаривать или доказывать то, что имеет *Evidenz*.

*Ryle G. Phenomenology and Linguistic Analysis // Neue Hefte für Philosophie: Phänomenologie und Sprachanalyse.- 1971, N.1, November.- S.3–11.

в) Как и его учитель Brentano, а также Локк, Беркли, Юм и Милль, Гуссерль с самого начала и до конца был несомненным картезианцем. Пропась между ментальным и физическим – как раз то, что требовалось для того, чтобы психология, а затем и феноменология, сохранили свой приоритет над просто физическими и биологическими науками. Сознания абсолютно доступны сами себе; внешний мир (если таковой имеется) является трансцендентным; т.е. находится за пропастью. Познание и *Evidenz* обитают только на нашей стороне пропасти, а затем, к вящей тревоге, только на моей стороне дополнительной пропасти между мной и тобой (если таковой имеется). К брентановскому принципу интенциональности, который всё ещё очаровывает некоторых философов, обращаются не для того, чтобы навести реалистический мост между сознаниями и “внешними” реальностями, но скорее с целью внутреннего улучшения локковского объяснения “идей”, дабы снабдить наши идеи, суждения и ощущения “объектными дополнениями”, в которых они нуждаются для того, чтобы отличить одну идею от другой и функционально скоординировать их между собой. Моя надежда неизбежно связывалась с чем-то более определённым; но то, на что я надеялся, и чего вы, вероятно, боялись, осталось нереализованным. “Внешний” мир не состоит или не содержит ваших или моих интенциональных объектов.

В англоговорящем мире наблюдатель, подразумеваемый картезианством Локка, Беркли, Юма и Милля, начал удаляться в заоблачную даль значительно раньше конца XIX века. Психологи из новых сами отвергли надежду на интроспективные процедуры; гегельянцы и кантианцы, возглавляемые Брэдди, пошли крестовым походом против метафизики, этики и особенно эпистемологии Юма, Джона Стюарта Милля, Бэйна и Спенсера; и антипсихологизм Фреге был вскоре подхвачен, поначалу непреднамеренно, антипсихологическими и платонистическими реконструкциями логики у молодых Мура и Рассела. В Кембридже, как и в Йене, фабрика математиков и, более того, логиков требовала замены локковского гипса платоновским гранитом. Со значений наших чисел, предикатных и субъектных слов, наших предложений и равенств сняли обвинение в бытии просто “идеями” преобразованием в Идеи. “Ментальное” стало эпитетом апологетики; “сознание” перестало обозначать источник нашей уверенности. Поэтому глубоко локковская теория сознания школы Brentano оставалась несколько старомодной, до того как она была эффективно освоена англоговорящим миром; в конце века улучшения к Миллю не переросли в воскрешение в его собственной стране поблекшей миллевской *Системы логики* (1843) или его же *Исследования философии сэра Уильяма Гамильтона* (1865).

с) В самом конце девятнадцатого века сам Гуссерль под влиянием Фреге, Больцано и *Gegenstandstheorie* Мейнонга выступил крестовым походом против психологизма в логике и эпистемологии. Первые одиннадцать разделов второго издания его *Logische Untersuchungen* – это планомерная яростная атака против подчинения логических исследований психологии. Более того, в его руках освобождённая от Локка теория значения не только развилась, достаточно естественно, в платонистскую теорию логических объектов, подобную теориям Фреге, Мейнонга и ранних Мура и Рассела. В его руках, в отличие от Фреге, Мейнонга, Мура и раннего Рассела, она развилась дальше в “синтаксическую” семантику, предвосхищающую положения *Трактата* Витгенштейна. Наблюдатель из числа ангелов мог бы сказать в 1901 году: “Здесь действует тот, кто начинает для философии, в общем то, то, что Фреге недавно начал для логики и оснований математики”. Печально, но наш наблюдатель из числа ангелов ошибся бы. Сам Гуссерль ничего не получил из своей идеи “логической грамматики”. Действительно, через несколько лет он вновь присоединил теорию значения к своей метапсихологии. Понятия и пропозиции были сведены к простым объектным дополнениям, или даже к продуктам интенциональных актов, предполагаемых несомненными, которые названы “актами значения”. То, что сообщают наши слова, становится теперь тем, что задано (или ещё не “исполнено”), как если бы эпитеты, соответствующие размышлениям и открытиям, относились к нашим посылкам, заключениям, равенствам, предметным терминам, предикатам, числам и логическим константам. В *Формальной и трансцендентальной логике* (1929) Гуссерля не содержится ничего такого, что заслуживало бы профессионального внимания Фреге или Куайна. В этой работе едва ли есть хоть слово о логике.

По некоторым скрытым от меня причинам, включая, вероятно, нежелание топтаться на основании, на котором на несколько лет застопорился Мейнонг, Гуссерль теперь отшатнулся от формальных и категориальных семантических проблем и вернулся на негостепримный путь вслед за Brentano. Ибо феноменология, которую Гуссерль теперь разрабатывал и которой придавал трансцендентальное содержание, и есть как раз Brentano'sкая теория интенциональности сознания, отделённая от её изначальной связи с эмпирической психологией. Феноменология должна быть научной философией или философской и априорной наукой о том, что конституирует сознание. В рамках этого избранного поля интересы Гуссерля, в отличие от Канта и Шелера, были практически ограничены ментальным как когнитивным. Он так мало обращается к чувствам, решениям или действиям, что его описание нашей сознательной

жизни вызывает обескураживающее впечатление, что мы, как достойный картезианский субъект познания, никогда ничего не *делаем*.

Множество философов всех сортов, включая “лингвистических аналитиков” типа Витгенштейна, в значительной степени были связаны с проблемами, относящимися к теории сознания. Только ли по названию отличаются их исследования от исследований, охватываемых феноменологией?

Определённо, большинство из этих философов не утверждало и отреклось бы от любого предположения, что их методы исследования можно классифицировать как “трансцендентальную имманентную интуицию” или как “наблюдение сущностей интенциональных актов”, иллюстрируемую примерами, которые непосредственно даны в собственном текущем потоке сознания феноменолога. Когда Аристотель расходится во мнении с платоновским описанием *удовольствия*, он формулирует, *inter alia*, доказательство *reductio ad absurdum*: “Если наслаждение чем-либо было, как говорит Платон, видом перехода от одного состояния к другому, человек мог бы в определённый момент обладать половиной наслаждения; и одним он мог бы наслаждаться более быстро, чем другим. Но эти следствия абсурдны. *Ergo*, удовольствие не является видом перехода”. Если этот отрицательный пункт, касающийся понятия наслаждения, относится к феноменологии, тогда Гуссерль неправильно обозначил феноменологию как разновидность описания. Ибо Аристотель доказывал, а не описывал. И его доказательство не включает описание удовольствия, в настоящем или в прошлом имевшего место у Аристотеля. Вероятно, тогда мы сказали бы, что “феноменология” и “философия сознания”, действительно, при желании могут использоваться как названия одного и того же, но только при условии, что мы забыли о причудливой метакартезианской методологии Гуссерля; а также взамен забыли о причудливых методологиях, которые другие философы, включая философов, исследующих сознание, имели тенденцию применять в своих исследованиях. Философы, от Платона до Витгенштейна, всегда давали ошибочные или неадекватные описания стратегий исследований того, как они действовали тактически, в чём можно упрекнуть и указанное выше.

Это предположение необходимо, однако, усилить вторым условием. Гуссерль в своей ранней практике, так же как и в своей эксплицитной программе для феноменологии, трактует предполагаемую теорию сознания как разновидность картографического отчёта о поле сцепленных и пирамидальных интенций. Этот отчёт определённо требует промышленного производства и сотрудничества, но он явно не изыскание, которое может породить или которое само может быть порождением

каких-либо загадок. Его сложности являются внутренними сложностями, встречающимися после того, как феноменолог начал свой отчёт. У нас возникает впечатление, что то, что нужно обнаружить в структурах и взаимосвязях интенциональных переживаний, суть их детали, а не их категории – как если бы, в отличие от Платона и Аристотеля, которые расходились во мнении о “логической грамматике” выражения “... наслаждается...”, Гуссерль и мы находились в полной гармонии относительно логического места, например, выражений “... знает...”, “... пытается...” или “... воображает...”, и нужно только сгладить некоторые из углов и граней этих понятий. Грубо говоря, даже если допустить, что действительные достижения Гуссерля в феноменологии относятся к философии сознания, они не решают или даже не претендуют на решение каких-либо философских затруднений. Нет недоразумений, от которых, с успехом или без него, Гуссерль пытается нас избавить. Несмотря на дескриптивную тщательность, его констатации философски инертны. Гуссерль не продолжает спор с кем-либо ещё, и даже почти не спорит сам с собой. Одним словом, феноменология не возбуждает и часто даже почти не интересна. Она не отвечает на беспокоящие вас вопросы.

Но профессор Финдлей страстно возражал бы на эти мои критические выпады.

II. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Этот неудачный ярлык, который следовало бы сохранить за предметом, развиваемым теперь грамматиками-теоретиками, использовался для того, чтобы охватить ряд различных философских предприятий.

а) Ранние Мур и Рассел использовали существительное “анализ” без прилагательного “лингвистический” для одного специального вида философского исследования. Они не считали, что он является единственным. Некоторые из философских недоразумений могут быть прояснены поисками правильного анализа, т.е. определений и понятий, от которых зависят эти недоразумения. Во многих случаях понятийные слова, доставляющие неприятности, имеют два или более различных смысла; следовательно, разработка двух или более их различных разложений или определений рассеяла бы, по крайней мере, часть путаницы. На этой стадии без доказательства принимается то, что определения философов раскрывают компоненты объективно существующих понятий. Лишь по незаслуживающей внимания случайности эти определения помогли бы лексикографам объяснить значения деталей, например, английского словаря, как отличного от немецкого.

Мур говорил, что лично для него философские проблемы всегда вырастают из странных вещей, сказанных другими философами. Вот почему для него, хотя и не всегда с необходимостью для них, философские исследования начинаются с целью прояснения прошлых и текущих философских недоразумений. Если бы другие мыслители ничего не запутывали, Муру нечего было бы распутывать.

По мере того как платонизм относительно понятий уступает место оккамизму, и поскольку двусмысленности и прочие недоразумения, дабы обрести существование, должны быть выражены в словах, вполне естественно, что для читателей и слушателей, вопреки протестам самого Мура, его аналитические исследования, в конце концов, всё менее и менее похожи на отчёты из платонистской обсерватории и всё более и более похожи на отчёты из рабочего кабинета филолога – хотя и филолога со снаряжением логика. Поэтому аналитические исследования Мура, в отличие от аналитических исследований химика, стали описываться как “лингвистический анализ”, хотя, подчеркнём, и не самим Муром.

в) Милль более откровенно, чем другие эмпирики-кратезианцы от Локка до Юма и Бэйна, уравнивал компоненты математических истин с представлениями в нашем разуме, т.е. с тем, что объединено ассоциацией. Фреге, за которым вскоре последовал Гуссерль, а параллельно Мур и Рассел, спас автономию математики и логики, особенно опровергая “психологизм” Милля. Компоненты истины и лжи не являются ни ментальными обстоятельствами, ни физическими вещами. Они образуют третью область объектов. Но Фреге был не только платоником. Гораздо более важным, хотя и менее заметным, чем понятие третьей области, было его различение смыслов выражений и их референтов (если таковые имеются). Фраза “Утренняя звезда” и фраза “Вечерняя звезда” имеют различные смыслы, но, как теперь нас уверяют астрономы, они обозначают одну и ту же планету. Поэтому различные значения или смыслы этих фраз не должны отождествляться с планетой Венерой. Вопрос “Является ли Венера и Утренняя звезда двумя различными звёздами?” был когда-то насущным вопросом. Этот пункт, отчасти предвосхищённый Миллем, одним ударом разрушает коренное допущение, что то, что подразумевает или сообщает выражение, *является* обозначаемым им городом, человеком, звездой или сражением (и т.д.); что, например, носитель имени, скажем, человек Сократ, *есть* то, что я схватываю, когда понимаю слова, которые его обозначают, и, как следствие, что смерть или разрушение носителя имени означает конец значимости этого имени.

Наряду с другими философски важными результатами этого различения, Фреге теперь был в состоянии сказать то, от чего всё-таки укло-

нились Аквинат и Кант, а именно, что же содержится ошибочного в онтологическом аргументе; ибо он теперь был способен сказать как раз то, каким образом может быть значимым именно выражение при отрицании существования, не считая истинным, что отрицание требует *денотата* для этого именно выражения.

Однако не Фреге, но на узком фронте Рассел со своим понятием “неполных символов” и на широком фронте Витгенштейн показали, каким образом компоненты, *inter alia*, математических истин не могут быть ни сведены до локковых объектов интроспекции, ни подняты до фрегеанской третьей области объектов. Поскольку они не необходимы, они в действительности не могут быть “объектами”. Они не могут быть квалифицированы даже как филологические объекты.

Было ли данное различие смысла и референта частью “лингвистического анализа”? Хотя оно и пролило свет на тёмное место в общей теории значения, чья изначальная цель была гораздо более локальной – объяснить то, каким образом может быть информативным истинное равенство, несмотря на то, что число, обозначаемое выражением, стоящим с левой стороны от равенства, должно совпадать с числом, обозначенным выражением, стоящим от него с правой стороны. “ $7^2 = 49$ ”, говорит больше, чем “ $49 = 49$ ”. То есть изначальная цель различения относилась к логической теории пропозиций с тождеством. Если “лингвистический” = “логический”, тогда Фреге действительно провёл лингвистическое различие, хотя и не различие, относящееся к изучению немецкого языка в противоположность английскому, и не различие, отобранное из сравнительного изучения идиом и сленгов. Участник крестового похода против психологизма не был чемпионом в филологическом состязании.

Было ли различие, проведённое Фреге, образцом анализа? Если вам будет угодно, то да, за исключением того, что оно не было определением ни “значения”, ни “=“.

с) Третий и совершенно независимый вид “грамматического” исследования – это попытка различить и, быть может, классифицировать многообразные варианты речи. Хотя на типы речи, отличные от утверждения и констатации, обращали внимание Протагор, Аристотель и многие риторы и грамматик, философы, в общем, ими пренебрегали. Логиков оправдывала поглощённость посылками и заключениями выводов, но их пример как специалистов поощрял мыслителей с иными интересами игнорировать такие потенциально рациональные сообщения, как обещания, предупреждения, команды, требования, разрешения, увещания, насмешки, жалобы, порицания, заклинания, оправдания и т.д. Витгенштейн в своих *Философских исследованиях* и гораздо более

тщательно Дж.Л. Остин восстановили для этих изгнанников присущее им место.

Как хорошо осознавал Остин, по некоторым причинам изучение типов речи в их общности не имеет особого значения для каких-то философских проблем. Указание на угрозы может служить напоминанием философу, если он в таковом нуждается, что то, что говорится в будущем времени, не должно быть верифицируемой или фальсифицируемой предикацией; но акты угрозы сами по себе более интересны философии, чем акты просьбы. Для философа может послужить хорошим уроком противопоставление условий успеха/неудачи *совета* условиям успеха/неудачи *защиты*, а также условиям успеха/неудачи *команды*, но никто не претендует на то, что понятию *защиты* должен, ради самого этого понятия, быть дан более высокий приоритет в трактовке философом.

Однако один результат нового изучения типов речи в их вариантах, намеренно или ненамеренно, оказался одним из наиболее философски важных. Поскольку то, что человек выражает в словах, интонациях, жестах и т.д., более не ограничено тем, что он знает, о чём имеет мнение или предположение, но включает его сожаления, намерения, несогласия, санкционирования, одобрения и т.д., то его состояния (и т.д.) сознания более не сводятся к мышлению как к тому, что ограничено тихой картезианской кельей, но относится к мышлению как к тому, чему придано или приписано произнесение или отказано в нём. Его выражения обозначают его решение, настроение, замешательство или развлечение и т.д. не как придаток на данных этапах, но как его поступки, его действия. То, как он чувствует (и т.д.), описывается, *inter alia*, с точки зрения того, что с ним происходит или может происходить. Быть в замешательстве *означает*, кроме всего прочего, быть поражённым немотой. Мы можем сказать в манере Гуссерля, что одна часть сущности сознания заключается в том, что оно получает или может получить выражение. Феноменология отчасти проявляется в специально ориентированном и нередукционистском изучении способности к общению. Заслуживает внимания то, что время от времени Гуссерль сам, несколько беззаботно, проводит собственные феноменологические констатации, приводя естественные и хорошо известные выражения исследуемых интенциональных переживаний. Там, где он должен был бы, *ex officio*, иметь рефлексивные имманентные интуиции, он вместо этого иногда проницательно *вслушивается*, как если бы, что действительно так, проявления сознания были чем-то *слышимым*.

d) Наиболее важным из всех и первичным в генезисе вышеупомянутого изучения типов речи было понятие “логической грамматики” или “логического синтаксиса”. С помощью этих метафор Гуссерль уже

в 1900 году набросал часть программы, которая была продолжена Витгенштейном в его *Трактате* и особенно в его *Философских исследованиях*. В некоторой степени подобно уточнению способов, в которых слова и фразы могут входить в грамматически корректные предложения, существуют уточнения логических и семантических соответствий у понятий. Глагол не может быть заменён в предложении на местоимение, или наречие – на союз без того, чтобы в результате последовательность слов перестала быть правильным или часто даже переводимым предложением. Частная аналогия: понятие одной категории не может быть заменено понятием другой категории без того, чтобы результат не оказался бессмысленным. Замена *чётное* на *здоровое* в *8 есть чётное число* приводит не к безграмотному предложению, но к предложению, которое не сообщает ни истины, ни даже лжи. Или, если вам угодно, она разрушает правила не школьной, но “логической грамматики”.

Витгенштейн со своим взглядом на парадокс Рассела видел, а Гуссерль нет, что помимо случаев, неинтересных из-за совершенной искусственности разновидностей бессмыслицы, подобных только что приведённым, существуют случаи важных из-за их коварности, которые совсем неочевидны при непосредственном наблюдении, но выдают своё существование посредством разрушительных следствий, вытекающих из их трактовки как оправданных. Очевидно, что Ахиллес поймает черепаху; но совершенно не очевидно, на каком типе злоупотреблений основывалось, по видимости, неизбежное доказательство Зенона, что Ахиллес никогда не поймает черепаху. Или, если взять пример неразрешимого вопроса у Витгенштейна, хорошо зная, как установить, который час дня здесь, в центральной Австралии или в Гонолулу, мы всё же совершенно сбиты с толку вопросом “Который час дня на Солнце?”.

Мур предполагал, что анализ или определение требуется тогда, когда понятие включает в себе неосознанную комплексность составляющих его понятий или когда понятийное слово обладает неосознаваемой множественностью смыслов. Ему не приходило в голову, что некоторые философские апории производны не из этих источников, но из неправильного осознания логического *вида*, к которому относится понятие. Сказать: “Разумеется, ‘хороший’, будучи прилагательным, означает качество” – значит сорвать реальное философское исследование. Позднее Мур сам должен был доказывать, что “реальное”, хотя и является прилагательным, не обозначает качество, или, что “нереальное” не обозначает противоположного качества.

Является ли исследование (метафорической) логической грамматики понятий, происхождение которых вызывает затруднение, лингвистическим исследованием? То, что вызывает затруднение, и то, что его уст-

раняет, является в той же степени межъязыковым, как и в случае софизмов; парадоксы и нелепости являются родственниками. Вопрос “Как скоро наступит полночь на Солнце?” бессмыслен, независимо от того, грамматически верно или же нет он выражен словами, и независимо от того, выражен ли он на классическом греческом, современном английском или эсперанто. С другой стороны, для того чтобы существовать, софистический аргумент точно так же должен быть выражен в словах на том или ином языке, безразлично каком; и точно так же склонность к выражению отдельного софизма не выдаёт незнания того или иного языка, так как только подборы слов могут создать смысл или обесмыслить, хотя смысл и бессмысленность, которую они создают, может относиться к подбору слов в каком-либо другом языке, и хотя склонность совершать некое категориальное злоупотребление не выдаёт незнания какой-либо части того или иного языка. Суеверные будут трактовать судьбу как фактор, независимо от того, являются они французами или англичанами, и независимо от того, имеют ли они высшее образование или же являются неучами.

Занимается ли анализом тот философ, который пытается обнаружить, диагностировать и аннулировать ошибки из разряда глупейших? Если вам будет угодно, да. Но учтите и то, что он не только, или часто, будет пытаться конструировать определения. Он не только, или часто, будет пытаться каталогизировать и различить типы речи, но что он будет также, и часто, пытаться выбирать и проверять, даже разрушая, предполагаемые следствия пропозиций, включённые в понятия, якобы относящиеся к разряду злоупотреблений.

Предпочитая говорить, что философ, который занимается исследованиями (метафорической) логической грамматики, является сверхкритиком некоторых сверхобъектов, всё-таки позвольте нам с долей иронии наклеить ему ярлык “лингвистического аналитика”. Данный ярлык, по крайней мере, предполагает верным, что этот философ знает, что представляет собой то, с чем он имеет дело. Конечно, с феноменологом, на самом деле, тоже можно найти общий язык; но это из-за того, что каждый подлинный исследователь проводит свои исследования не столько согласно какой-то парадной методологии, но способом, на котором его пальцы, так сказать, узнали в каждодневном труде, как получить результаты.

ПОЛЬ РИКЁР

ГУССЕРЛЬ И ВИТГЕНШТЕЙН О ЯЗЫКЕ*

Предлагаемый здесь вид сопоставления не стремится создать гибридный побег. Каждая философия представляет собой организм, подчиняющийся внутренним правилам развития. Самое лучшее, что мы можем сделать, это лучше понять каждую из них посредством другой и, вероятно, сформулировать новые проблемы, которые вытекают из их столкновения.

Гуссерль и Витгенштейн допускают определённую степень сравнения благодаря параллелизму их развития – т.е. от позиции, в которой обыденный язык соизмеряется с моделью идеального языка, к описанию языка, как он функционирует в качестве повседневного языка или как язык *Lebenswelt*. (Последние термины условны и должны быть определены точнее в ходе самого анализа.)

Поэтому я предлагаю рассмотреть два перекрещивающихся раздела: один на уровне *Логических исследований*, с одной стороны, и *Трактата* – с другой; второй на уровне поздних работ Гуссерля и *Исследований*.

* * *

На первом уровне сравнение может быть сфокусировано на функции, которую выполняет теория значения и образная теория соответственно. Чем обусловлен этот выбор?

В первом *Логическом исследовании* теория значения поставлена в промежуточное положение. До этого, в *Прологоменах*, Гуссерль разрабатывал чистую логическую теорию, которая рассматривалась как аксиоматика всех возможных теорий, т.е. всех необходимо завершённых систем принципов. Чистой логикой это было в том смысле, что логическая пропозиция освобождается от примесей чего-либо психологического; она есть “истина в себе”. Цель феноменологии значения – определить место логических сущностей в рамках широкого круга “знаков” (*Zeichen*); среди “знаков” они принадлежат классу “обозначающих знаков”. Таким образом, логические сущности рассматриваются как значения определённых выражений (отсюда заголовок: *Ausdruck und Bedeutung*). Как таковые они являются только разновидностями обозначающих выражений – но не всё так просто. Они обнаруживают специфическую функцию: они репрезентируют *telos* каждого языка или уров-

* Ricœur P. Husserl and Wittgenstein on Language // Analytic Philosophy and Phenomenology. – The Hague: Martinus Nijhoff, 1976.- P.87–95.

ня языка. И поскольку логическая структура языка есть *telos*, осмысленные выражения покрывают более широкое поле, чем логические сущности, и феноменология должна предшествовать логике. Два примера могут оказаться полезными: описание *Erlebnisse* может быть строгим, не будучи чётким в логико-математическом смысле: мы можем говорить строго о нечётких сущностях. Кроме того, обычный язык полон выражений, содержащих эквивокации не случайно, но по природе; эти “учитывающие обстоятельность” или “приуроченные к определённой ситуации” выражения – типа личных местоимений, выражений-указателей, отглагольных выражений (“здесь” и “теперь”) – приобретают своё значение в отношении к ситуации и сопровождающим обстоятельствам, с которыми знакомы говорящий и слушающий. Я не буду здесь повторяться относительно анализа осмысляющих актов (значение как “интендирование” оживляет и пронизывает означивающий слой и наделяет его силой репрезентации чего-либо, обладания чем-либо как своим объектом). Это – то положение, которое интересует меня в ракурсе *Логических исследований*. Я говорил, что данный анализ занимает промежуточное положение. Что же есть помимо него и почему мы должны идти дальше?

От логики мы обратились к феноменологии. Теперь от феноменологии “выражений” (обозначающих знаков) мы обратимся к феноменологии *Erlebnisse* в общем. Цель пятого логического исследования – проработать понятие “сознания”, сознания не только как целого, как монады, но сознания как процесса трансцендирования, включённого в каждое *Erlebniss*, сознания как *интенционального*. Обозначающие выражения всё ещё были фактами языка; интенциональность же покрывает поле всех актов трансцендирования: восприятия, воображения, желания, воли, восприимчивости, вожделения, волеизъявления.

Основав логические сущности на лингвистических выражениях, феноменология основывает последние на силе интенциональности, которая более примитивна, чем язык, и привязана к “сознанию” как таковому.

Таким образом, язык является посредником между двумя уровнями. Первый уровень, как мы говорили, конституирует собственный *идеал* логичности, свой *telos*: все значения должны быть способны к преобразованию в *logos* рациональности; второй уровень конституирует более не идеал, но основание, почву, исток, *Ursprung*. К языку можно подойти “сверху”, с его логической границы, или “снизу”, с его границы в немом и стихийном опыте. Сам по себе он является медумом, посредником, менялой между *Telos* и *Ursprung*.

Можно ли теперь сравнить образную теорию *Трактата* с этой теорией значения? Нет, если мы рассматриваем контекст; да, если мы рассматриваем позицию и функцию данной специфической теории.

Подобно Гуссерлю, Витгенштейн намерен построить “дискурс в виде философии, которая использует логику как основу”. Центральная часть *Трактата*, рассматривающая предложения (*Sätze*), знаки предложения, логическую форму, функции истинности и операции истинности, согласуется с этим требованием. “Предложение” – это точка опоры: “Выражение имеет значение только в предложении” (3.314). Но в целом *Трактат* выходит за рамки этой структуры и не использует логику как основу. Почему? Потому что логика имеет дело с “истинностными возможностями” (4.3; 4.4; 4.41). Но тавтология и противоречие являются двумя крайними случаями среди возможных групп условий истинности (4.46). Трактат должен также учесть и нетавтологичное понятие истины, истины как соответствия между предложениями и фактами. Здесь и возникает образная теория: “совокупность истинных мыслей есть образ мира” (3.01). Но “тавтологии и противоречия не являются образами действительности” (4.462). Поэтому мы должны разработать образную теорию, отличную от теории условий истинности, как и Гуссерль должен разработать теорию значения, отличную от теории логических предложений.

Контекст различен, но позиция и функция сравнимы.

Контекст различен. Во-первых, потому что Гуссерль стремится преодолеть абсолютность логической истины, тогда как Витгенштейн должен преодолеть бессмысленность тавтологии; во-вторых, потому что *Трактат* должен начинать с предложений, затрагивающих мир (1; 1.1; 1.11 и т.д.) – факты, состояния дел, объекты (вещи). Каков бы ни был статус этих предложений (и каждый знает, сколь спорен этот статус), они предшествуют анализу “образа” и должны предшествовать ему, поскольку образ сам является фактом – “образ есть факт” (2.141) – стало быть, нечто, имеющее место в мире. Но он – необычный факт, поскольку представляет собой факт, репрезентирующий другие факты (*vertreten*).

Данный контекст, по-видимому, исключает любой вид сравнения. Для феноменолога отправная точка *Трактата* представлялась бы крайним выражением “натуралистической” установки (если мы не переинтерпретируем его первые предложения с точки зрения позднего Гуссерля, как описание *Lebenswelt*, или с точки зрения *Sein und Zeit*, как анализа бытия-в-мире, но это было бы довольно рискованно).

Несмотря на различия, затрагивающие ход и развитие обеих работ, образная теория, однажды введённая, обнаруживает область имплика-

ций, превосходящих не только логические рамки этой философии, но также реалистические требования отправной точки; имплицитная – и возможно отторгнутая – феноменология “значения” вырастает из онтологии фактов, состояний дел и мира.

Образ – подобно значению для Гуссерля – является сущностью всякого языка; он покрывает поле устного и письменного языков и всех артикулированных знаков: фотографий, диаграмм, планов, карт, нотной записи, пластинок – т.е. всех видов репрезентаций, посредством которых расположено элементов или частей в “факте” выражается соответствующим расположением в образе.

Образ – это соответствие между структурой и структурой (2.12). Но как только мы ввели это понятие соответствия, мы должны найти *внутри* образа его принцип. Витгенштейн называет последний “формой отображения” (2.15; 2.151), которая является условием “отобразительной сопричастности” (2.1513; 2.1514). В случае фактуальной истины затруднений нет, мы можем говорить о *тождестве* между образом и тем, что он отображает (2.16; 2.161); форма отображения может рассматриваться даже как то, что образ имеет общего с реальностью (2.17). Но менее реалистическая интерпретация формы отображения возникает с репрезентацией возможности несуществования¹ и главным образом с ложными репрезентациями. Здесь “смысл” более не является чем-то общим, но представляет собой внутреннюю характеристику: могут быть репрезентации (*Darstellung*) без отображения (*Abbildung*). Это понятие *Darstellung* как отличное от понятия *Abbildung* наиболее близко к феноменологии (2.22; 2.221-2.224); оно достигает высшей точки в следующем утверждении: “То, что образ репрезентирует [darstellt] есть его смысл” (2.221). Аналогично у Платона – идея есть идея чего-то, но не с необходимостью чего-то такого, что *есть*. Здесь и имеет место феноменология.

Но эта феноменология имеет тенденцию к отторжению: отсутствие в образе рефлексивности устраняет всякую эксплицитную феноменологию: “Образ может отображать любую действительность, формой которой он обладает” (2.171); “Но свою форму отображения образ не может отображать: он её показывает” (2.172). Почему? Мы не знаем. С этого момента образная теория должна поглотиться теорией логических форм (2.18); образ, формой отображения которого является логическая форма, будет называться логическим образом. *Трактат* будет главным образом теорией логического образа.

¹ Витгенштейн, по-видимому, включает и возможности, и отрицания в своё понятие реальности (2.06; 2.201)

Гуссерль помог нам обнаружить в *Трактате* натяжки, парадоксы и, прежде всего, отторгнутую феноменологию значения, зажатую между начальными реалистическими предложениями *Трактата* о мире и фактах и логическим ядром *Трактата*.

Но в то же самое время мы, вероятно, можем понять, почему Витгенштейн должен был разработать новую конструкцию для значений обычного языка и заменить образную теорию своей концепцией языковых игр и языка как употребления. Но мы лучше поймём эту новую установку после рассмотрения соответствующего развития у Гуссерля.

Превалирующая проблема в поздней философии Гуссерля непосредственно вытекает из его ранней философии. Как мы говорили, язык является посредником между логическими структурами, которые конституируют его *telos*, и переживаемым опытом, дающим ему его исток. В поздней философии в расчёт принимается в основном эта вторая сторона проблемы, причём, как доказывает *Логика* (1929), из фокуса не исчезает и другая сторона.

Но это отношение между языком и долингвистическим опытом не является простым. В свою очередь, оно влечёт новую поляризацию между двумя тенденциями: первая тенденция, символизируемая “редукцией”, приводит к приостановке, которая не обязательно подразумевает уход в границы эго, изолированного от реальности, но тот вид разрыва с естественным окружением, который вовлечён в рождение языка как такового; не существует символической функции без того типа изменения, который воздействует на моё отношение к реальности, заменяя естественную вовлечённость отношением *означивания*. Мы можем сказать, что редукция подразумевает рождение говорящего субъекта. Эта редукция имеет собственную рефлексивность в структуре самого знака; знак “пуст” в том смысле, что он не является вещью, но указывает на вещь и не есть сам по себе, поскольку существует только для указания.

Итак, это дистанцирование, эта приостановка, эта редукция, конституирующая знак как знак, открывает новую и дополнительную возможность, возможность *исполнения* или *неисполнения* знака. Проблема, затрагивающая исполнение, имеет место из-за пустоты знака как ~~известном~~ известном отношении проблема исполнения столь же стара, как и феноменология; мы находим её в шестом логическом исследовании. Но поскольку редукция ещё не была эксплицирована так, как она была эксплицирована в *Идеях* и *Картезианских размышлениях*, проблемы не было, было только решение. Она становится проблемой, как только разрушается первое *naïveté*, *naïveté* видения как данного – как если бы видение было лучом света, наполняющим полость знака. Это *naïveté* также должно быть утрачено. Возврат к самим вещам – это проблема до полу-

чения ответа. Мы должны обнаружить, что идея полного или окончательного исполнения сама является идеалом, идеалом адекватности; более того, этот идеал не может быть исполнен в принципе; восприятие по природе имеет перспективу и является неадекватным; синтаксические и категориальные факторы всегда вовлечены, по крайней мере, в суждение восприятия; да и сама вещь как единство всех своих профилей или перспектив предполагается, а не дана. Поэтому то, что мы называем “созерцанием”, само является результатом “синтеза”, пассивного синтеза, который уже имеет свой синтаксис, артикулированный в дорефлективном и предрешённом (или допредикативном) смысле.

Вот почему Гуссерль пришёл к постановке проблемы исполнения в новых терминах. Допредикативные и долингвистические структуры не даны, мы не можем с них начать. Скорее мы должны вернуться к ним посредством процесса, который Гуссерль называет *Rückfragen* (“обратное вопрошание”). Это *Rückfrage* определённо исключает всякое обращение за помощью к чему-то подобному, “впечатлению” в смысле Юма. То, что мы регрессивно “исследуем” относительно примордиального опыта переживания, исходит из мира знаков и на основе *doxa* в смысле *Тезэта* – т.е. суждений восприятия; но этот так называемый опыт переживания для человека, который родился среди слов, никогда не будет обнажённым присутствием абсолюта, но будет оставаться опытом переживания, на который указывает это регрессивное вопрошание.

Таким образом, мы разработали модель анализа, который может быть назван *генезисом*, но не генезисом в хронологическом смысле; он представляет собой генезис значения, смысловой генезис, который заключается в развёртывании пластов конституции, отложившихся как осадок на предполагаемом необработанном, немом опыте.

Стало быть, динамика генезиса заменяет статус исполнения: этот генезис позволяет нам ввести в рамках “трансцендентальной логики” понятие индивидуумов, мира как горизонта по ту сторону того, что в общем затребовано “формальной логикой”. Но индивидуумы и мир суть корреляты *Rückfrage*.

Как мы видим, поздняя философия Гуссерля развивала одно из направлений, включённых в его первый анализ значения; оно только драматизируется эпизодом с редукцией, которая делает исполнение проблемой для себя. Но позиция языка как посредника между логикой и опытом, между *telos*’ом и истоком была усилена этой новой функцией медиума между отсутствующей конститутивностью знака и артикулированным миром, который всегда ему предшествует.

Когда мы переходим от Гуссерля к *Философским исследованиям* Витгенштейна, у нас возникает впечатление, что автор даже не рассмат-

ривает возможность возвращения посредством регрессивного исследования от логического языка к обычному языку. Наоборот, он находится перед языком непосредственно и обращает внимание на то, как он функционирует в обычных, повседневных ситуациях. Нам говорят: не думай, но смотри. Язык немедленно переводится из поля философских затруднений в поле его успешного функционирования. Это поле есть поле *употребления*, в котором язык создаёт определённые результаты, взаимодействия, приспособительные реакции в области человеческого и социального действия. Мы можем сравнить это поле употребления с полем *doxa* у Гуссерля, учитывая то различие, что Витгенштейн проверяет его действительное функционирование, а не его трансцендентальные условия.

Первое преимущество подхода Витгенштейна заключается в ослаблении силы унитарной теории функционирования языка; мы начинаем без модели. Что же мы находим? Бесчисленные употребления; примеры некоторых из них Витгенштейн приводит в параграфе 23.

Для оправдания этого неисчислимого многообразия Витгенштейн вводит свои знаменитые *игры*; точка сравнения заключается в том факте, что разнообразие этих игр не подпадает под то, что может рассматриваться как сущностное в языке и что каждая игра соответствует отдельной ситуации. Каждая игра ограничивает поле, в котором оправданными являются определённые процедуры, поскольку разыгрывается эта, а не другая игра. Каждая игра подобна конденсированной модели поведенческих паттернов, в которой несколько игроков заняты в различных ролях.

Второе преимущество подобной редукции языка к связке отдельных игр касается наименования (называния). Согласно Витгенштейну, значительная часть нашей философии значения вытекает из переоценки правил наименования, которые со времён Августина рассматриваются как парадигмальный случай речевого акта; но называние – это особая игра, разыгрываемая при определённых обстоятельствах (например, когда меня спрашивают: “Как это называется?”; или когда я прибегаю к “остенсивным определениям”, что сохраняет зависимость от игры обучения и приписывания имён).

Эта критика наименования освобождает, ввиду того, что она избавляется от любой атомистической теории языка, в которой простые конституанты реальности соответствовали бы логически простым именам, продолженным собственным именам. Если верно, что образное отношение является привилегированной формой отношения “имя-вещь”, то и сама критика образной теории включена в эту критику наименования.

Таким образом, критика наименования (параграф 50) открывает горизонт решительно плюралистической концепции употреблений языка; эти употребления образуют семьи в отсутствие сущности у языковых игр, а стало быть, и у самого языка (параграфы 65,77).

Но удаётся ли Витгенштейну избежать общей теории языка? Есть, по крайней мере, одна идея, которая выглядит как общая идея, касающаяся языка, идея употребления: “для большого класса случаев, – хотя и не для *всех* – где употребляется слово ‘значение’, можно дать следующее его определение: значение слова – это его употребление в языке” (параграф 43). Стоит задержаться на этом понятии употребления, которое может положить начало дискуссии с Гуссерлем.

На самом деле понятие употребления изначально представляет собой способ возобновления старой битвы против сущностей. Оно является той критикой, которая ставится на кон в обсуждении наименования; сущности – это сублимированные имена; язык становится созерцательной деятельностью, видением значения слов. Таким образом, понятие употребления направлено против любой теории, которая делала бы значение чем-то тайным, либо в смысле платонистической реальности, либо в смысле ментальной сущности. В результате своего публичного характера употребление не скрывает тайны. В практике языка всё выходит наружу; совершенно безразлично даже то, сопровождается ли это употребление ментальными процессами, образами или ощущениями. “Мы возвращаем слова от метафизического к их повседневному употреблению” (параграф 116).

Это как раз тот пункт, где Гуссерль и Витгенштейн расходятся во мнениях.

Подвижность языка как посредника между несколькими уровнями, указывающего как на логичность, так и на жизнь, упраздняется этим закрытым определением языка как *употребления*. Здесь утрачивается диалектика между редукцией, создающей дистанцию, и возвратом к реальности, создающим присутствие. В этом смысле понятие употребления недиалектично. Языковые игры, согласно Витгенштейну, непосредственно инкорпорированы в успешную человеческую деятельность; они репрезентируют формы жизни: “термин ‘языковая игра’ призван подчеркнуть, что говорить на языке – компонент деятельности или форма жизни” (параграф 23). Но соответствуем ли мы жизни? У Гуссерля жизненный мир не просматривается непосредственно, но полагается косвенно, как то, к чему отсылает обратно логика истины. Витгенштейн, по-видимому, наоборот, помещает себя непосредственно в этот мир повседневного опыта, в котором язык есть форма деятельности, подобная еде, питью и сну.

Я полагаю, что теория значения требует не одного, а двух измерений. Согласно первому, ни значение не есть использование, ни язык не есть “часть деятельности или форма жизни”; значение – это элемент в рамках системы внутренних зависимостей, как сказал бы Ельмслев. Это – конституция знака, насколько знак предполагает разрыв с жизнью, деятельностью и природой, символизированный Гуссерлем в редукции, и который репрезентируется в каждом знаке его пустотой или его негативным отношением к реальности. Эта конституция знака как знака на уровне системы знаков, отличной от естественных вещей, есть предпосылка другого измерения знака, т.е. использования значений посредством комбинации в предложениях в данной ситуации. Первая сторона является семиотической; вторая – семантической стороной, стороной речевого акта – тем, что Витгенштейн называет подходящим способом “говорить на языке”. С этим различием можно сохранить Витгенштейново понятие употребления и даже вывести из него все преимущества его применения к жизни в бесконечном разнообразии употреблений, превосходящих его логические функции. Понятие языка как *употребления* затрагивает только речевой акт; верно, что он является формой жизни, но это более неверно для языка как системы знаков; символическая функция, которая конституирует знак как знак, берёт начало в различии между мыслью и жизнью.

Поскольку он не принадлежит жизни, поскольку он, согласно стоикам, представляет собой “бестелесную” сущность, “*lecton*”, он может преобразовать всю нашу человеческую деятельность, все наши формы жизни в осмысленную деятельность. Но если первая тенденция в языке является центробежным движением в отношении к жизни и жизненной активности, то *употребление* языка само становится проблематичным. Более недостаточно смотреть; необходимо думать. Мы всегда отделены от жизни самой функцией знака; мы более не живём жизнь, но просто обозначаем её. Мы обозначаем жизнь и, таким образом, неограниченно отдаляемся от неё в процессе её *интерпретации* многообразными способами.

И, прежде всего, если язык есть только посредник, опосредующее звено между несколькими уровнями, между *Logos* и *Bios* возможна сама критика обыденного языка; философ играет игру, которая более не является формой жизни.

Мы больше занимаемся не частной деятельностью, но теоретическим исследованием. Из-за этой установки рефлексии и спекуляции жизнь мира фигурирует просто как порождение смысла, к которому бесконечно отсылает регрессивное исследование. Но сама философия становится возможной только посредством акта редукции, который к тому же есть рождение языка.

IV. К ИСТОРИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

ПОЛ БЕНАЦЕРРАФ

*ФРЕГЕ: ПОСЛЕДНИЙ ЛОГИЦИСТ**¹

В молодости меня научили нескольким фундаментальным истинам: Фреге был отцом логицизма, поскольку он показал, что арифметика на самом деле является только (искусно замаскированной) логикой и, следовательно, что она в действительности является аналитической и поэтому априорной. И всё это показывает, где относительно арифметики, а также, вероятно, и относительно всего остального так называемого синтетического *a priori* ошибался Кант.

Мне говорили также, что Фреге изобрёл ту логику, которой и была на самом деле арифметика (или, по крайней мере, что он был отцом современной логики). Я не задумывался (возможно, мне не приходило в голову задаться вопросом) над этим слишком уж счастливым совпадением открытия и изобретения. Необходимо учесть по меньшей мере десятилетний интервал, пролегающий между открытием (изобретением) законов логики и дальнейшим (?) открытием того, что они как раз и есть то, относительно чего нужно показать, что базовые законы арифметики на самом деле с самого начала являются базовыми законами логики.

Здесь у нас есть целый клубок проблем, а именно:

- касающихся того, что, работая, думал сам Фреге;
- касающихся того, что мы взяли из того, что он сделал как для логики, так и для арифметики;

* *Benacerraf P. Frege: The Last Logician // Midwest Studies In Philosophy VI, Minneapolis, MN, 1981, P. 17–35.*

¹ Первая версия этой статьи была подготовлена и прочитана на коллоквиуме в Чапел Хилл в университете Северной Каролины в октябре 1976 г. Она также послужила основой для двух семинаров, предложенных вниманию автором в университете Миннесоты в Моррисе в феврале 1980. Я особенно признателен Стиву Вангеру, Фабрицио Мондадори, Глену Кесслеру, Яну Хакингу, Давиду Каплану, Джиму Вэну Эйкену и Хайди Ишигуро за их полезные комментарии к первоначальному наброску. Окончательная версия была завершена, когда автор был стипендиатом Центра специальных исследований в науках о поведении. С благодарностью выражаю признательность за поддержку Центру, фонду Слоана, Национальному фонду гуманитарных наук и Принстонскому университету.

- касающихся в более общих чертах надлежащей оценки философской важности этих достижений.

Данная статья посвящена некоторым из этих тем. Мой непосредственный интерес будет заключаться в том, чтобы исследовать роль логицистской доктрины в эмпирицизме двадцатого века с целью проверить, были ли взгляды позитивистов, усвоенные (или приспособленные) от Фреге, взглядами, которых придерживался он сам. Я надеюсь, что мои соображения послужат исходным пунктом для более полного понимания собственных взглядов Фреге и в конечном счёте для обсуждения увлекательных философских тем. Для начала я должен вернуться к фундаментальным истинам, которым меня научили в молодости. Они связаны с содержанием и философской важностью тезиса логицизма.

1. ЛОГИЦИЗМ

Логицизм, как я его усвоил, был философской точкой зрения, близкородственной эмпирицизму. Последний был возведён Карнапом, Гемпелем, членами Венского кружка, Айером и другими как ответ на учение Канта, что пропозиции арифметики являются априорно синтетическими. Фокусируясь на предложениях, выражающих математические пропозиции, логицисты допускают, что они являются априорными – что их можно знать независимо от опыта (кроме, конечно, того, что в опыте может возникнуть потребность для того, чтобы их сформулировать). Но, отвечая Канту, логицисты утверждают, что эти пропозиции являются априорными, потому что они *аналитические*, т.е. потому что они являются истинными (или ложными) просто “в силу” значений терминов, в которых они сформулированы. Таким образом, знать значения этих терминов – значит знать всё, что требуется для знания их истинности. Эмпирического исследования не требуется. Философская *цель* продвижения этого взгляда была открыто эпистемологической, ибо логицизм, если бы он был подтверждён, показал бы, что наше знание математики может быть объяснено нашим знанием языка, каким бы не было объяснение. И, конечно, предполагалось, что знание языка *само* могло быть объяснено способами, совместимыми с эмпирицистскими принципами, которыми вполне можно *изучить* сам язык². Таким образом, всё наше знание, следуя Юму, однажды можно было бы увидеть как затрагиваю-

² Современные дискуссии в основаниях лингвистической теории показали, что, даже принимая лингвистическую природу математических истин, эмпирицисты находятся на некотором расстоянии от цели. Я думаю, эти аргументы проблематичны, но само их существование показывает, что предмет не кристально ясен. Здесь я подразумеваю работы Ноама Хомского.

шее либо “соотношение идей” (т.е. аналитическим и априорным), либо “факты” (т.е. синтетическим и апостериорным). Сомнение Канта в этой дихотомии было бы устранено демонстрацией того, что его наиболее сомнительный контрпример, а именно, математика, хотя по общему признанию и априорная, была ошибочно классифицирована им как синтетическая.

Логицизм укладывается в несколько различных версий, каждая со своими новшествами, но большинство из этих версий имеет следующую общую структуру:

1. Истины арифметики *переводимы* в истины логики.
2. (1) демонстрируется тем, что:
 - а) устанавливаются определения для “внелогического” словаря (понятий) арифметики в “сугубо логических” терминах; и
 - б) отмечается, что переводы, санкционированные этими определениями, перевели арифметические истины в логические истины, а арифметически ложные утверждения в логически ложные.
3. Об этой арифметической демонстрации затем утверждается, что обоснована аналитичность математических пропозиций, потому что: (а) поскольку определения, по предположению, сохраняют значение, логические переводы имеют то же самое значение, что и арифметические оригиналы и (б) *сами* логические истины мыслятся истинными в силу значения, в данном случае, значений, встречающихся в них логических частей (и, таким образом, аналитическими).

Как бы там ни было, именно эта живучая точка зрения много раз обсуждалась. Я сам был вовлечён в эту дискуссию некоторое время назад³, в той её части, которая может быть прочитана как доказательство того, что либо определения математических терминов не сохраняют их значения, или же что их значение не предопределяет их референт, поскольку различные и равным образом адекватные определения приписывают различные референты математическому словарю. Позднее я покажу, что Фреге и я говорим здесь в унисон (хотя прежде я и считал, что он придерживался противоположной точки зрения). Определения, адекватные *его* целям, не сохраняют референта. Но подробнее об этом позднее. В данный момент я прежде всего заинтересован в очерчивании логицистской позиции с целью сравнить её с позицией самого Фреге.

³ P. Benacerraf, “What Numbers Could Not Be”, *Philosophical Review* 74, no.1 (January 1965); 47–73.

Относительно мало было написано на тему, является ли аналитичной сама логика, поэтому слово может здесь быть просто для того, чтобы локализовать вопрос и некоторые возможные на него ответы в спектре рассматриваемых позиций.

Если, как поступил У.В. Куайн⁴, определить аналитическую истину как преобразуемость в логическую истину посредством сохраняющих значение определений, тогда то, что законы логики являются аналитическими, становится тривиальным; но применительно к логике такое определение мало относится к традиционному подходу к аналитичности как истине-в-силу-значений. Однако *это* последнее объяснение взяло на себя труд убедить нас в том, что аналитические пропозиции также являются априорными. В пользу определения Куайна следует также упомянуть, что оно выводит свою родословную от Фреге, а через него к Канту. Ибо рассмотрение аналитичности у Фреге в начале *Grundlagen* заключалось в следующем:

Это зависит от того, чтобы найти доказательство и свести математическую истину к первичным истинам. Если на этом пути наталкиваются только на общие логические законы и определения, то обладают аналитической истиной... (*Grundlagen*, 27)⁵.

Таким образом, пропозиция является аналитической, если при её доказательстве используются только общие логические законы и определения.

Ниже мы рассмотрим данное определение в деталях. Аспект, который следует отметить в настоящий момент, состоит в том, что “доказательства” из общих законов и определений *достаточны* для аналитичности. Разумеется, это не делает описание Фреге эквивалентным описанию, предполагаемому (но не отстаиваемому) Куайном, поскольку у Куайна и Фреге есть различия относительно того, чем должна быть логика, и, вероятно, относительно роли определений. Для Куайна логика есть теория первого порядка с квантификацией плюс равенство, тогда как для Фреге она значительно обширней. Поскольку более узкая версия

⁴ W.V. Quine, “Two Dogmas of Empiricism”, перепечатано в *Philosophy of Mathematics*, ed. P. Benacerraf and H. Putnam (Englewood Cliffs, N.J., 1964). Далее этот сборник цитируется как “B&P”.

⁵ [Frege G. *Grundlagen der Arithmetik*.— Breslau, 1884. П. Бенацерафф цитирует английский перевод этой работы, выполненный Дж. Остином: *Frege G. The Foundations of Arithmetic*.— Evanston, Ill., 1968. Здесь и далее цитаты приводятся по русскому переводу: *Фреге Г. Основы арифметики*.— Томск: Водолей, 2000. Номера страниц также приводятся по этому русскому изданию. — *Примечание переводчика*.]

логики у Куайна недостаточна для “доказательства” законов арифметики, математика *не* является аналитической в смысле Куайна, хотя она всё ещё может оставаться таковой в смысле Фреге. Я говорю “может быть”, поскольку, когда логика Фреге впала в противоречие (и, предположительно, тем самым перестала также быть логикой), его точка зрения осталась несколько неопределённой; окажется ли математика аналитичной в смысле Фреге, должно зависеть по крайней мере от того, какую логику подставляют вместо неудачной версии Фреге.

Связь с Кантом устанавливается самим Фреге, когда он уподобляет свой собственный подход его подходу, но упрекает Канта за узость его концепции (*Grundlagen*, параграф 88). Он критикует Канта за то, что тот даёт определение, которое применимо только к универсальным общим пропозициям – к пропозициям, которые могут быть истолкованы как имеющие субъектно-предикатную форму, – и за слишком узкую концепцию определения, которая, вероятно, приспособлена для использования при демонстрации того, что понятие субъекта пропозиции содержит понятие предиката.

Поэтому Фреге, предлагая объяснение аналитичности, замыслил улучшить Канта в двух аспектах: (а) его объяснение классифицировало *все* пропозиции как аналитические или синтетические, т.е. оно, по предположению, является исчерпывающим, и (b) его объяснение расширяло концепцию определения за рамки кантовского понятия (на которое Фреге ссылается как на определение “посредством заданных признаков”) (*Grundlagen*, 109) до понятия, которое охватывает “действительно продуктивные определения в математике” (*Grundlagen*, 110)⁶.

Я хочу подчеркнуть эпистемологическую мотивацию логициста двадцатого века. Это, конечно, проявляется в третьей составляющей его точки зрения, где такой логицист пытается пожинать богатый философский урожай из семян, которые посеял Фреге. Поразительный пример представляет собой позиция, представленная К.Г. Гемпелем в статье⁷, которая, хотя в действительности и не задаёт нового основания, пред-

⁶ Я не могу воздержаться, чтобы не заметить в защиту Канта, что при условии кантовского понятия аналитичности его концепция определения превосходна. Только когда вы расширяете данное понятие *à la* Фреге, это определение “посредством заданных признаков” становится слишком суженным – в частности, если вы определяете функции так же, как предикаты. Поэтому аргументация Фреге в конце параграфа 88, сводящаяся к тому, что Кант ошибочно рассматривал как синтетические определённые заключения, выведенные из его (Фреге) новой разновидности определения с помощью чисто логических средств, содержит со стороны Фреге *petitio principii*, ибо только на основании фрегевского понятия аналитичности они оказываются аналитическими, безотносительно к разновидности определения, используемой в доказательстве.

⁷ C.G. Hempel, “On the Nature of Mathematical Truth”, перепечатано в B&P.

ставила ядро этих взглядов настолько, насколько удалось Гемпелю. Согласно Гемпелю, фреге-русселловское определение числа, 0, наследника и относящихся сюда понятий показало, что пропозиции арифметики являются аналитическими, поскольку они обосновываются, будучи обусловлены определениями, отталкивающимися от логических принципов. Ясно, что Гемпель подразумевает здесь то, что при объяснении формальной системы логики (теории множеств или второпорядковой логики плюс аксиома бесконечности) можно посредством оговоренных определений вести выражения ‘Число’, ‘Ноль’, ‘Наследник’ таким способом, что предложения такой формальной системы, использующие эти введённые сокращения и которые формально являются теми же самыми (т.е. толкуются тем же самым способом), что и определённые предложения арифметики – например, ‘Ноль есть число’, – обнаруживаются как теоремы системы. Из этого неоспоримого факта он заключает, что эти определения показывают, что *теоремы арифметики* являются лишь относящимся к способу записи расширениями теорем логики и, таким образом, аналитическими.

У него нет полномочий на это заключение. У него не было бы полномочий, *даже* если бы теоремы логики в их изначальной записи сами были аналитическими. Ибо единственное, относительно чего можно показать, что оно следует из теорем логики *посредством соглашения*, суть сокращённые теоремы логической системы. Чтобы выгодно использовать это в аргументе относительно *пропозиций арифметики*, нужен аргумент, что предложения арифметики в их доаналитическом смысле *подразумевают то же самое (или приблизительно то же самое)*, что и их синонимы в логической системе. Это требует особой и более широкой аргументации. Я ставлю это на обсуждение не для того, чтобы скомпрометировать Гемпеля, но чтобы использовать его взгляды как иллюстрацию эпистемологической мотивации, которая провоцирует логицистов двадцатого века. *Суть* логицизма должна сделать осмысленным то, как мы можем обладать априорным знанием математики. “Посредством соглашения”, говорит Гемпель. Если бы это хоть в какой-то степени было правильным, всё сводилось бы к проблеме аналитичности логики, к проблеме, которую я здесь не решаю, хотя и буду указывать некоторые очевидные способы, в которых определённые ответы воздействуют на надлежащую оценку философской позиции логицистов.

Вопрос становится особенно запутанным, когда в контексте защиты такой логицистской позиции, в свою очередь, обсуждается аналитичность логики, ибо такая логика должна включать достаточное количество материала из теории множеств (или подходящего эквивалента),

чтобы охватить достаточное количество математики. Единственное решение, которое, по-видимому, предлагается в этом случае, состоит в том, что аксиомы конституируют имплицитные определения понятий. Это – форма конвенционализма, истолковывающая аксиомы как соглашения, которые должны управлять использованием терминов, которые они содержат: *Используй/понимай этот язык так, чтобы его предложения оказались истинными!* Достаточно трудно понять, когда интерпретация “логического словаря” фиксирована, ибо как инструкция, применимая ко всему языку, она вообще не имеет смысла, а как объяснение того, как предложения логики *фактически* получают свои истинностные значения, она бесполезна, что в значительной мере прояснили Куайн⁸ и другие. Логика не нуждается в *применении* такого правила к индивидуальным случаям. Конечно, *фактически* может быть случай, при котором мы используем язык таким способом, что рассматриваемые предложения оказываются истинными. Но мы ищем такое *объяснение* этого факта, которое в то же самое время делало бы истинностные значения этих предложений известными *a priori*. Ибо это и есть цель, которую установили для себя логицисты двадцатого века.

До сих пор я концентрировался на истолковании комплекса философских взглядов, принятых в философской установке, отвечающей на кантовский вызов эмпирицизму, которым и был логицизм этого века. Я могу показаться крайне эксцентричным, поскольку, обсуждая логицизм двадцатого века, не упомянул наиболее известного его представителя, а именно Рассела-Уайтхеда. Я опустил упоминание о нём по двум причинам: (1) потому что краткий отчёт не охватит его изворотливые и меняющиеся установки; (2) потому что, вероятно, по этой самой причине то, что я в свободной манере называю “логицизмом”, в большей степени питалось его (и Фреге) техническими достижениями, чем его неустойчивыми философскими мнениями об этих достижениях. (В скобках могу добавить, что сказанного даже много для того, чтобы уже установить несостоятельность различия между его “техническими достижениями” и его “философскими взглядами”, как хорошо известно любому, кто пытался разгадать понятие пропозициональной функции в *Principia Mathematica*.)

Далее, общепризнанный взгляд таков: на вызов Канта был дан ответ. На самом деле математика аналитическая, а не синтетическая. Это было продемонстрировано Фреге, когда он показал, каким образом математические пропозиции имеют одинаковое значение с логическими пропозициями, которые сами являются аналитическими (и, следовательно, известными *a priori*). Фреге показал это, анализируя “внелоги-

⁸ W.V. Quine, “Truth by Convention”, перепечатано в B&P.

ческий” словарь арифметики и обеспечивая определениями, которые сохраняют значение (и, следовательно, референцию и истинность). Фреге, следовательно, был первым логицистом.

2. ФРЕГЕ

Если Фреге был первым логицистом, то он также был и последним. Если уместно провозгласить, что Фреге действительно верил в “логицизм”, и если он был первым, кто верил в него, то, наиболее вероятно, он был также и последним. Насколько я знаю, никто со времён Фреге – и уж точно не “логицисты” двадцатого века – не придерживались в точности той позиции, которую защищал Фреге в *Grundlagen* и которая сподвигла его написать этот философский шедевр. Несмотря на то, что взгляды, представленные в общем виде в предыдущем параграфе, широко поддерживались (я думаю, что большинство философов, рассматривавших данную тему, близки “логицизму” в этом смысле), они не были фрегевскими. Есть различные точки соприкосновения, которые приводят к попытке сделать вывод, что Фреге придерживался такой позиции, но я буду отстаивать, что это не так, – что его точка зрения была намного более интригующей и в его духе прямо антитетической философской мотивации его “последователей” в двадцатом веке⁹.

Прежде всего, Фреге, конечно, не был эмпирицистом. Действительно, одной из философских целей *Grundlagen* было доказать несостоятельность доктрины Канта, что арифметика состоит из синтетических априорных пропозиций. Но Фреге охотно допускает то, чего не допускают эмпирицисты, – что геометрия Евклида является априорно синтетической. Он говорит:

Называя геометрические истины синтетическими и априорными, он [Кант] раскрыл их подлинную сущность. И даже сейчас это заслуживает повторения, поскольку зачастую всё ещё признаётся.

⁹ Взгляд, который я назвал “логицизмом”, очевидно, является сочетанием двух точек зрения: семантического тезиса в том смысле, что *арифметика является дефиниционным расширением логики*, и эпистемологического утверждения о том, *как это объясняет априорный характер арифметики*. Очевидно, можно (и, вероятно, следует) сохранить это название только для семантического тезиса, и в этом случае Фреге определённо был бы логицистом в той же степени, что и его последователи (хотя здесь также многое зависит от того, как интерпретировать “дефиниционные расширения” – коварный вопрос, который я детально рассмотрю в конце этой статьи).

Я избрал нынешний метод отчасти для драматического эффекта, отчасти потому, что на самом деле я не уверен в том, насколько ясно оба тезиса могут быть отделены один от другого – насколько философская мотивация за рамками заданной формы семантического тезиса заражает сам тезис.

Если Кант и заблуждался относительно арифметики, то для его заслуг, я думаю, это не существенный ущерб. Дело в том, что существуют синтетические суждения а priori; а встречаются ли они только в геометрии или также и в арифметике, менее значимо (*Grundlagen*, 111).

Поэтому для него доказательство аналитичности арифметических суждений не является способом защиты эмпирицизма против атаки Канта. Это доказательство имеет другую цель, которую я надеюсь раскрыть, исследуя то, как он вводит и защищает свои взгляды. Фреге открывает *Grundlagen*, сожалея о том факте, что никто, по-видимому, не дал удовлетворительного ответа на вопрос “Что такое число один?”:

Не постыдно ли науке так и пребывать в неясности о её первейшем и, по-видимому, таком простом предмете? Ещё менее можно сказать, что такое число. *Когда понятие, которое лежит в основании обширной науки, преподносит затруднения, неотложная цель, пожалуй, всё-таки состоит в его более тщательном исследовании и преодолении этих затруднений* (*Grundlagen*, 17).

Это подготавливает почву. В основаниях арифметики необходимо исследование с точки зрения преодоления “затруднений”, которые порождают его фундаментальные понятия. Есть попытки считать, что Фреге выражается иронически, что на самом деле он не считал нашу неспособность дать удовлетворительное объяснение понятию числа подлинным затруднением *в рамках этой науки*. Конечно, это забота философии – забота, уместная для философии, – но не затруднение, *внутреннее для науки о самом числе*. Но это было бы ошибочным. Фреге подчёркивает, что это – предмет, с которым сами математики должны иметь дело как математики, даже если исследование будет по необходимости содержать существенно философский компонент:

Благодаря этому мои пояснения, пожалуй, станут более философскими, чем может показаться уместным многим математикам; но основательное исследование понятия числа всегда должно проходить несколько философски. Для философии и математики эта задача является общей (*Grundlagen*, 19).

Принуждаемый тем, что доказательство является неполным, если определения до конца не оправданы, он говорит:

Но, пожалуй, следует принять во внимание, что строгость доказательства остаётся видимостью... если определения только задним числом оправдываются тем, что не столкнулись с противоречием. В сущности, так всегда достигают только уверенности, основанной на опыте, и должны, собственно, быть готовы, в конце концов, всё же встретить противоречие, которое приводит всё здание к обвалу. Поэтому, я полагаю, к общим логическим основаниям нужно обратиться в несколько большей степени, чем считает необходимым большинство математиков (*Grundlagen*, 23).

Нам следовало бы поймать его на этих словах. Они связаны с основаниями арифметики, которые мотивируют его исследование.

Это не удивительно, учитывая название этого исследования.

Но такое отношение может быть интерпретировано двумя различными способами, соответствующими интересам философа и интересам математика. Типично, что философы принимают остов знания как заданный и имеют дело с эпистемологическими и метафизическими вопросами, которые вырастают при объяснении этого остова знания, примеряя его к общему объяснению знания и мира. В этом установка Канта. Он изучает природу математического знания в контексте исследования знания в целом. И это было позитивистской установкой, хотя они приходят к совершенно иным выводам.

Но интерес математика в том, что может быть названо “основаниями”, в значительной степени иной. Как математик он связан с существенными вопросами относительно истины рассматриваемых пропозиций, тогда как несколько более “философские” темы касаются того, как такие пропозиции, собственно, установлены. Интересы этих двух групп не разъединены – эти вопросы нельзя строго разделить. Но различия являются значимыми, и важно держать их в уме, поскольку мы подходим к Фреге. Я утверждаю, что Фреге времён *Grundlagen* имеет мотивацию математика, что там, где, как кажется, он непосредственно имеет дело с более типичными “философскими” темами (Являются ли пропозиции арифметики аналитическими или синтетическими? Априорными или апостериорными?), он уточнил эти вопросы и выразил их в такой форме, что ответы, которых они требуют, будут ответом на существенные математические вопросы, которые и составляют его принципиальный интерес. Таким образом, если логицизм является комплексом философских взглядов, описанных мной в первой части этой статьи, то Фреге не был логицистом.

Поэтому, с его точки зрения, если мы не делаем так, как настаивает он, то мы “должны, собственно, быть готовы, в конце концов, всё же

встретить противоречие, которое приводит всё здание к обвалу”¹⁰. Что же нужно сделать? Совершенно явно следующее. Пропозиции арифметики нуждаются в *доказательстве*. Мы не можем просто принимать их за само собой разумеющееся согласно интуиции или принимать их, потому что они доказали свою полезность во многих случаях применения. “В математике недостаточна лишь моральная уверенность, поддерживаемая многими успешными применениями” (*Grundlagen*, 25). Эта ситуация вполне аналогична той, как если бы в некоторых более продвинутых областях математики остов “знания” возрастал, но никогда не был бы адекватно обоснован. “Но к сущности математики относится то, что она всюду, где возможно доказательство, предпочитает последнее” (*Grundlagen*, 25).

В параграфе 1 Фреге объясняет *общую* потребность в строгости и доказательстве в математике. В параграфе 2 он защищает свой поиск доказательства таких пропозиций, как $7+5=12$, или закона ассоциативности сложения, ссылаясь на последнее из процитированных мной замечаний и уподобляя предмет случаю, когда “Евклид доказывает многое из того, с чем и без этого с ним согласился бы каждый” (*Grundlagen*, 25). Затем он переходит к тому, что я рассматриваю как сердцевину его точки зрения, когда он объясняет цель доказательства следующим образом:

К таким исследованиям меня *также* побуждают философские мотивы. Вопросы об априорной или апостериорной, синтетической или аналитической природе арифметических истин ждёт здесь своего ответа. Ибо, даже если сами эти понятия и принадлежат философии, я всё же думаю, что решение не может воспоследовать без помощи математики. Разумеется, это зависит от смысла, приданного каждому из этих вопросов (*Grundlagen*, 26).

Что касается выделенного мной “также”, мотивы, обсуждаемые до сих пор, были математическими, а не философскими. Только теперь он обращается к тому, что, как он чувствует, может рассматриваться в качестве философского аспекта его работы. И он замечает, что будет так истолковывать “философские” вопросы об априорном и аналитическом характере арифметических истин, что они будут иметь математические ответы. Вне сомнения, это окажется несколько спорным в той мере, в которой переопределение Фреге этих понятий является простым прояс-

¹⁰ Конечно, самая горькая ирония заключается в том, что Фреге должен был встретиться с такой возможностью, когда его система привела к противоречиям, – и что он не встретился бы с ней, если бы не продолжал свои основополагающие исследования.

нением, и в той мере, в которой оно является важной переинтерпретацией. Это будет зависеть от того, что мы принимаем за намерения Канта и Лейбница. Но меня больше задевает контраст между этими понятиями, как они определены у Фреге, и соответствующими понятиями, вплетёнными в ткань философских взглядов, которые я назвал “логицизмом” и набросок которых представил в первом разделе этой статьи.

Лучший способ найти эти ответы заключается в том, чтобы следовать параграфу 3, абзац за абзацем, добавляя, какие интерпретативные комментарии кажутся уместными. Параграф короткий, но мысли Фреге богаты содержанием.

Нередко случается так, что сперва получают содержание предложения, и затем проводят его строгое доказательство другим, более трудным способом, посредством которого часто условия пригодности могут быть также изучены более точно. Таким образом, вопрос о том, как мы приходим к содержанию суждения, в общем, нужно отделять от вопроса, каким образом мы оправдываем наше утверждение (*Grundlagen*, 26).

Это, по видимости, невинное различие, указывающее на то, что мы часто образуем пропозиции в наших сознаниях, – а на самом деле приходим к вере в них – и только позднее (или, вероятно, никогда) достигаем доказательств этих пропозиций (или их соответствующих уточнённых версий). Суть этого замечания состоит в том, чтобы попытаться отделить понятие содержания суждения от понятия обоснованности этого суждения – в смысле обоснования, введённого в предыдущих разделах, а именно “поддержки” суждения пропозициями, от которых оно “зависит” в своей истинности. Попытка Фреге развести эти две идеи (содержание и обоснование) будут ключевыми для его критики Канта, центральным аспектом его переопределения аналитичности и центральным пунктом различия с позднейшими “логицистами”.

Мы должны осознать это различие как первый этап атаки на Канта. Причина прозрачна. Для Канта различие между аналитическими и синтетическими пропозициями прежде всего было различием в *содержании* пропозиций. Эпистемологическая *суть* заключалась в том, что это различие в содержании имело для аналитических пропозиций непосредственное следствие, а именно, что они априорны, что они познаваемы независимо от опыта именно на основании рассмотрения их *содержания*. Ибо факт относительно содержания аналитических пропозиций состоял в том, чтобы было возможно заметить, что просто, принимая в расчёт такую пропозицию, нельзя не мыслить понятие её субъекта, не

домысливая соответствующим способом понятие её предиката. Таким образом, главная проблема *Критики* состояла в установлении самой возможности априорно синтетических суждений, ибо казалось очевидным, почему аналитические суждения априорны; но продвинутая теория должна быть развита до априорного характера суждений, которые не проходят простой тест, удостоверяющий их как аналитические и, следовательно, очевидно априорные. “Логичисты” двадцатого века, следуя Канту в этом отношении, предоставили априорный статус расширенному классу аналитических пропозиций *на основе их содержания* – ибо истинность-посредством-значений есть просто расширение кантовского различия и эпистемологического анализа, который ему сопутствует. (Я бы добавил в скобках, что раз уж класс пропозиций был расширен за рамки субъектно-предикатных пропозиций, которыми Кант ограничил своё внимание, лёгкий путь к априорности от аналитичности более не доступен.) С этой ревизионистской точки зрения Кант ошибался, потому что был введён в заблуждение неадекватным понятием содержания из-за примитивной логической и семантической теории, он не понимал значения того факта, что арифметические пропозиции были также истинными по той же самой причине – просто посредством их содержания. Таким образом, согласно общепризнанному взгляду на работу Фреге и его отношение к этой традиции от него следовало бы ожидать утверждения как раз такого, которое я приписал “логицистам”, а именно, что Кант ошибался в своём анализе *содержания* арифметических пропозиций. И действительно, как мы видели выше, Фреге критиковал кантовское различие между аналитическими и синтетическими суждениями, поскольку оно не было исчерпывающим (*Grundlagen*, параграф 88). Хотя было бы соблазнительно объяснить это как фрегевский критицизм кантовского анализа содержания арифметических суждений, объяснение, которое имело бы тенденцию поместить Фреге в эпистемологическую традицию, проходящую через Канта к современным логицистам, вводило бы в заблуждение. Ибо в самом начале следующего абзаца Фреге показывает, что он установил своё различие между содержанием и обоснованием для того, чтобы обозначить целью тщательно избегать разговора о содержании. Абзац полон скрытых ссылок на кантовское обсуждение аналитичности и содержит сноску, в которой Фреге утверждает, что следует Канту. Я процитирую как абзац, так и сноску (*Grundlagen*, 26-27):

Эти различия априорного и апостериорного, синтетического и аналитического, по моему мнению*, относятся к пониманию не содержания суждений, но оправдания вынесения суждения... Ко-

гда предложение называют апостериорным или аналитическим в моём смысле, судят не о психологических, физиологических и физических обстоятельствах, которые делают возможным образование содержания предложения в сознании, а также не о том, как другой, возможно ошибочно, приходит к тому, что он считает его истинным, но о том, на чём в самых глубоких основаниях покоится оправдание признания за истинное.

* Этим я в действительности не вкладываю новый смысл, но только трактую то, что имели в виду другие авторы, особенно Кант.

Суть введения различия содержание/обоснование заключается в том, чтобы поместить *как* различие априорное/апостериорное, *так и* различие аналитическое/синтетическое прямо на стороне обоснования, что он и проводит в своём выводе, когда явно определяет все четыре понятия в следующем, заключительном, абзаце параграфа 3. Что касается приведённого выше абзаца, скрытые отсылки к Канту заключаются в отрицании того, что, называя пропозицию аналитической или априорной, мы каким-либо образом связаны с условиями, которые дают возможность образовать содержание суждения, или, по смыслу, с тем, что фактически происходит, когда образуют суждение в наших сознаниях. Это кантианский язык. Он имеет психологистский привкус, и Фреге хочет от него избавиться. В частности, он хочет избежать трактовки аналитичности пропозиций с точки зрения того, что происходит в сознании, когда пропозицию принимают во внимание. Как раз такое обсуждение должным образом обеспечивает для Канта связь между аналитичностью пропозиции и её априорным характером. Причины, по которым Фреге стремится избежать такого разговора вообще, и затруднения, к которым (по моему мнению) его в конечном счёте привела особая печать антипсихологизма, – вопросы сами по себе увлекательные, но предмет статьи иной. Я упомянул это, только чтобы сфокусировать контраст, прорисованный Фреге между его собственной позицией и позицией Канта, хотя сноски склоняют к обратному.

Итак, резюмируя аргументы, Фреге рассматривает *и* вопрос об аналитичности суждения, *и* вопрос о его априорном характере как вопрос, связанный с обоснованием суждения. Соответственно, он будет снабжать эти понятия (аналитическое/синтетическое, априорное/апостериорное) определениями, которые отражают этот взгляд. Поскольку дело касается арифметических пропозиций, вопрос об их обосновании является собственно предметом математики. Следовательно, эти понятия будут определены так, чтобы сделать собственно математическим во-

прос, являются ли некоторые арифметические суждения аналитическими или синтетическими, априорными или апостериорными. Это вполне соответствует его замечаниям в конце первого абзаца параграфа 3, которые я ради удобства процитирую здесь снова:

Ибо, даже если сами эти понятия [аналитическое, синтетическое; априорное, апостериорное] и принадлежат философии, я всё же думаю, что решение не может восследовать без помощи математики. Разумеется, это зависит от смысла, приданного каждому из этих вопросов (*Grundlagen*, 26).

Смысл, в котором Фреге будет понимать их, будет заключаться в том, чтобы придать некоторое содержание понятию “о том, на чём в самых глубинных основаниях покоится оправдание признания суждения за истинное”. Ибо это и есть то метафизическое понятие, от которого зависит его точка зрения. Я говорю “метафизическое”, чтобы противопоставить зависимость, на которую он намекает, эпистемической зависимости. Может существовать иерархическая структура наших убеждений с иерархически репрезентированным отношением обоснования или оправдания, которое убеждения человека могут переносить друг на друга, т.е. отношением зависимости, которое *действительно* встречается и которое может различаться от человека к человеку, несмотря на то, что соответствующие убеждения сами могут быть близки к идентичности. Согласно некоторым взглядам, убеждения образуют такую структуру; согласно другим (например, холистским) – нет. Фреге имеет дело не с таким отношением, но с отношениями зависимости *между самими пропозициями*, независимо от того, убеждён ли в них кто-либо и каким образом эти убеждения соотносятся друг с другом в эпистемическом мире какого-либо индивида. Доказательство пропозиции (как минимум) включает её вывод из пропозиций, от которых она “зависит” в этом метафизическом смысле. Оно включает прослеживание её предшествующих линий зависимости до пропозиций, которые сами являются “фундаментальными” или “исходными” и не имеют доказательств и которые не могут быть сведены к более фундаментальным пропозициям¹¹. Те-

¹¹ Интересно сопоставить установку Фреге на отношение между логическими аксиомами и математическими теоремами с установкой, которая выражена Расселом и Уайтхедом в следующем пассаже, взятом из предисловия ко второму изданию *Principia Mathematica* (A.N. Whitehead, B. Russell, *Principia Mathematica*, 2nd ed. (Cambridge, 1925), vol.1, p.V):

... главный довод в пользу любой теории относительно оснований математики должен быть главным образом индуктивным, т.е. он должен покоиться на том факте, что

перь я подведу баланс параграфа 3, в котором Фреге даёт свои определения и тем самым фиксирует смысл вопросов: Являются ли пропозиции арифметики синтетическими или же аналитическими? Априорными или же апостериорными? Я посвящу итог моей статьи комментарию к этому абзацу.

Благодаря этому, если речь идёт о математической истине, вопрос переводится из области психологии в область математики. Теперь это зависит от того, чтобы найти доказательство и свести математическую истину к первичным истинам. Если на этом пути наталкиваются только на общие логические законы и определения, то обладают аналитической истиной, причём предполагается, что при рассмотрении указаны также и предложения, от которых возможно зависит допустимость определения. Но если невозможно провести доказательство без использования истин, не имеющих общей логической природы, но относящихся к особой области науки, то предложение является синтетическим. Для того чтобы истина была апостериорной, требуется, чтобы её доказательство не удавалось без ссылки на факты; т.е. на недоказуемые истины, не обладающие всеобщностью, которые содержат высказывание об определённых предметах. Если, наоборот, возможно провести доказательство всецело из общих законов, которые сами не способны и не нуждаются в доказательстве, то истина является априорной (*Grundlagen*, 27).

Чтобы определить, является ли пропозиция аналитической, ищут её доказательство, в котором базовые пропозиции являются “исходными истинами”, т.е. пропозициями, которые сами не *имеют* доказательства. Если такое доказательство существует (доказательство, в котором обращаются только к определениям и “исходным истинам”) и привлекаемые исходные истины включают только законы логики, рассматриваемая пропозиция является аналитической. Если нет, синтетической. Таким образом, аналитическая пропозиция – это пропозиция, которая может быть доказана только из логических аксиом плюс определения. По крайней мере два аспекта этого определения заслуживают комментария.

рассматриваемая теория даёт нам возможность вывести обычную математику. В математике наибольшая степень самоочевидности не обнаруживается вполне с самого начала, но в некоторой более поздней точке; следовательно, предшествующие выводы, пока они не достигнут этой точки, дают основания скорее для веры в посылки, поскольку из них следуют истинные заключения, нежели для веры в заключения, поскольку они следуют из посылок.

Во-первых, Фреге включает в относящиеся к делу пропозиции, от которых зависит данная пропозиция, “предложения, от которых, возможно, зависит допустимость определения”. Это – следствие его точки зрения, что определения должны не просто вводиться в доказательство; доказательство не полно, если они также не обоснованы. (См. также *Grundlagen*, 22.) Много разных вопросов входят в суждение о допустимости определения, и столь же затруднительно было бы рассмотреть их здесь все. Фреге обсуждает по крайней мере следующие два: (а) Приведёт ли введение этого определения к противоречию? и (б) Будет ли введение этого определения продуктивным для доказательства – т.е., можем ли мы, используя его, доказать то, что не могли бы доказать без него (*Grundlagen*, 94)?

Включение этого элемента в определение аналитичности вводит для Фреге особую проблему, когда он обсуждает аналитичность законов арифметики. Она состоит в следующем. Естественно, отрицательный ответ на первый вопрос (Приведёт ли введение этого определения к противоречию?) или любой положительный ответ на второй (Будет ли доказательство продуктивным?) будет требовать доказательства, затрагивающего некоторый сорт индукции, вероятно, вплоть до ω , ω^2 или даже ε_0 . Если рассматриваемая пропозиция *сама имеет отношение к принципу индукции*, то либо (1) определения не затрагиваются в её доказательстве, и в этом случае она не сводима к арифметическим пропозициям и не является аналитической; или (2) определения затрагиваются, и как раз сама индукция является одним из принципов, от которых зависит эта пропозиция, поскольку некоторое обращение к индукции требовалось бы, чтобы продемонстрировать допустимость этих определений¹². К несчастью, Фреге не рассматривает этот вопрос и оставляет понятие зависимости недостаточно определённым, чтобы

¹² Если определения явные, то требование установления существования и единственности определённой сущности, которое Фреге навязывает в *Grundgesetze*, было бы достаточным, чтобы гарантировать, что система, включающая определение, была консервативным расширением первоначальной системы и, следовательно, непротиворечивой, если система была непротиворечивой до введения определений. Поэтому вопрос, является ли данный закон аналитическим, в лучшем случае зависит от того, являются ли законы, требуемые при доказательстве существования и единственности каждой определённой сущности, используемой в его доказательстве, сами законами логики. Я говорю “в лучшем случае” по двум причинам: (а) определения, которые не являются явными, но, возможно, контекстуальными, могут трактоваться как новые аксиомы, обоснованность которых требует по крайней мере необходимого аппарата, чтобы доказать непротиворечивость расширенной системы; второе, (б) даже в простом случае эксплицитных определений, несмотря на то, что существование и единственность достаточны, чтобы гарантировать относительную непротиворечивость, я не уверен, что требование Фреге, чтобы определения были полностью обоснованы, не навязывает дальнейшего условия, чтобы *было доказано*,

понятие зависимости недостаточно определённым, чтобы решить эту проблему. Ибо являются ли *согласно определению Фреге* арифметические истины действительно аналитическими, зависело бы от того, достаточен ли “логический” принцип индукции – т.е. индукции в исходной логической записи, – чтобы установить допустимость определений, введённых в доказательство *математического* принципа индукции. Если нет, то арифметика *согласно определению Фреге* не является аналитической. Но это самый сложный вопрос, который не может быть здесь более полно изучен; я упомянул его как интересный и имеющий отношение к делу аспект фрегевского определения аналитичности.

Другой вопрос, который я должен прокомментировать (боюсь, также без окончательных выводов), также имеет дело с определениями. Если мы принимаем точку зрения, на которой я настаивал, что проблема *Grundlagen* состоит в том, чтобы доказать вероятность того, что можно найти доказательства прежде не вызывающих сомнений, но не доказанных арифметических пропозиций, и если мы всерьёз принимаем точку зрения Фреге, что поиск таких доказательств есть *математическая* проблема, подобная любой другой, то мы должны также рассматривать определения, которые использовались бы в этих доказательствах как математические определения, подобные другим математическим определениям. В *Grundlagen* Фреге не говорит нам явно, какие семантические условия этих определений должны встречаться. (Многое он говорит в *Grundgesetze*.) Здесь не место давать ни мой собственный позитивный отчёт о природе математических определений, ни то, каковой на это может быть позитивная точка зрения Фреге. Но то, что он говорит, несмотря на то, что открытым остаётся, какой позитивный отчёт предложил бы он, едва ли предоставляет определённые истолкования.

Определения являются не *просто* соглашениями о сокращении, ибо, если бы они были таковыми, в требовании продуктивности, проци-

что существование и единственность были достаточны, чтобы гарантировать относительную непротиворечивость.

Эта путаница существует потому, что (по крайней мере, с синтаксической точки зрения) обоснование определений включает доказательство непосредственных комбинаторных теорем, чего-то такого, что, как давно показал нам Гёдель, часто эквивалентно самым трудным арифметическим вопросам, и даже хуже. Следовательно, если исходные законы, от которых зависит теорема, включают законы, на которых базируется обоснование определений, быть может, было бы лучше, чтобы теорема не являлась аналитической в смысле Фреге. В некотором смысле это несущественная придирка, ибо он может опустить это причиняющее беспокойство условие. Но этот вопрос важен для Фреге. Строгость в математике – это один из его наиболее мощных мотивов, и его упорствование в том, чтобы не использовать определения без обеспечения их надлежащим обоснованием – тема, проходящая через всю его работу.

тированном выше, было бы мало смысла. Продуктивность была бы только психологической эвристикой, а не чем-то таким, чему Фреге придавал бы большое значение. Таким образом, даже если формально дефиниенс должен служить по крайней мере как “сокращение” для дефиниендума, важность и принципиальная роль определения должна лежать где-то ещё, кроме этой функции. А именно, канторовские определения трансфинитных чисел, которые сам Фреге цитирует и хвалит (с оговорками).

Сходным образом математические определения не отражают, как стандартно принимается, заранее существующую синонимию. Причин этому много. Помимо неопределённого статуса понятия синонимии, в определении часто вводится новый термин, и, следовательно, здесь нет вопроса о заранее существующей синонимии. Но, что более важно, типичные и важные случаи математического определения именно того вида, который подразумевал Фреге, как раз и не подходят для этой модели. Обратимся к одному примеру, который комментирует сам Фреге, рассматривая теорию трансфинитных чисел Кантора. Фреге хвалит эту теорию как расширяющую наше знание, но мягко журит Кантора за апелляцию к «какому-то таинственному “внутреннему созерцанию”» (*Grundlagen*, 108) при развитии теории, «когда нужно стремиться добыть доказательство из определений, что, пожалуй, возможно» (*Grundlagen*, 108). Фреге затем добавляет: «Ибо, я думаю, предвидимо, как можно было бы определить эти понятия [следование в последовательности и число]» (*Grundlagen*, 108). Разумеется, чтобы ни утверждал здесь Фреге, он не утверждает, что Кантор проглядел возможность обращения к заранее существующей синонимии, относительно которой Фреге считает, что он может её предъявить. Анализ этого случая, который близок случаю с числом, усложнён. Но каким бы ни был корректный ответ, по-видимому, он не будет основываться ни на заранее существующей синонимии, ни на соглашениях о сокращениях.

Если упомянутые мной два случая исчерпывают виды определений, сохраняющих смысл или значение, остаётся открытым вопрос, используются ли определения этого вида в *Grundlagen* и его формальном двойнике *Grundgesetze*, если они адекватны и даже сохраняют *референцию*. Сам я в другом месте доказывал, что это не должно быть так¹³. Что думал Фреге? Я хотел бы указать на два пассажа, из которых, по-видимому, ясно, что по крайней мере для арифметики Фреге *не* ожидает, что посредством его определений сохраняется *даже референция*. Оба пассажа, которые я имею в виду, связаны с определением числа.

¹³ P. Benacerraf, “What Numbers Could Not Be”.

Первый – это сноска к определению «числа, соответствующего понятию F» как «объёма понятия “равночисленно понятию F”» (*Grundlagen*, 92). В сноске, ключевой для слова “объём”, читаем следующее:

Я полагаю, что вместо “объём понятия” можно было бы сказать просто “понятие”. Однако возможно двоякое возражение:

1. Это находится в противоречии с моим прежним утверждением, что отдельное число является предметом, на что указывает определённый артикль в выражениях типа “(die) два” и невозможность говорить об однёчках, двойках и т.п. во множественном числе, а также благодаря тому, что число составляет только часть предиката указания на число.
2. Могут быть понятия равного объёма без того, чтобы совпадать.

Правда, теперь я держусь мнения, что оба эти возражения возможно было бы устранить; но здесь это может далеко увести. Я полагаю известным, что представляет собой объём понятия (*Grundlagen*, 92-93).

Это является в известной степени убедительным, если бы не необычность второго возражения Фреге, которое заключается в аргументе, что для числовых понятий понятия с идентичными объёмами не только не идентичны друг другу, но также не идентичны со своими объёмами. Это маловероятный ход для Фреге, если учесть его взгляды на различие между понятиями и объектами: понятия не могут быть идентичными чему-либо. Идентичность – это отношение, зарезервированное для объектов.

Второй пассаж встречается в заключении, в качестве комментариев на то же самое определение:

Этот способ преодоления затруднения, пожалуй, не всюду найдёт одобрение, и многие предпочтут устранять эти сомнения другими способами. Так же и я не придаю решающего значения привлечению объёмов понятий (*Grundlagen*, 124).

Можно напомнить, в чём заключалось рассматриваемое “затруднение”. Задав *контекстуальное* определение выражения «число, соответствующее понятию F» только для контекстов тождества, в которых обе стороны имеют одну и ту же форму – например, «число, соответствующее понятию F, равно числу, соответствующему понятию G» – Фреге отмечает, что для его определения значит быть логически полным, оно должно фиксировать смысл всех контекстов, содержащих эту фразу.

Например, адекватное определение предопределяло бы истинностное значение «число, соответствующее понятию “луны Юпитера”, идентично Агамемнону». Однако определения, предусмотренные до этого пункта, не предусмотрены для этой цели, и нужны дальнейшие спецификации. Фреге выбирает процитированное мной определение. Таким образом, именно в этом контексте – в контексте, наиболее подверженном критике при установлении, требовал ли Фреге, чтобы определения сохраняли референцию, – он отступает и допускает, что разные определения, обеспечивающие различные референты (вообще не совпадающие по объёму), также могут это делать. Всё обстоит так, как если бы математическая работа, связанная с определениями, уже была сделана, и всё, что требуется, было каким-то логическим упорядочиванием, важным, но не имеющим следствия для математики, и для всего, что имеет значение для математики, нечто можно было бы сделать равным образом хорошо многими различными способами. Мораль неизбежна. Не нужно даже сохранять референцию.

Нужно сказать даже более. Можно возразить, что во время *Grundlagen* Фреге не развил понятия смысла и референта в удовлетворительной степени, чтобы ответить на вопросы, которые я поставил относительно смысла, и, следовательно, что их не следовало бы ставить. Несмотря на то, что детали этого выходят за рамки данной статьи в данном случае, я уверен, те же самые вопросы могут быть поставлены относительно достижений Фреге в *Grundgesetze*¹⁴, которые достаточно поздние. Я набросаю свои доводы.

В *Grundgesetze* Фреге действительно завершает конструкцию, которую он только обещал в *Grundlagen*. Он конструирует систему, формальную в техническом смысле, чьи фундаментальные принципы суть то, что он принимает за базовые законы логики и из которых он посредством определений выводит принципы, которые он прежде идентифицировал как фундаментальные законы арифметики. В процессе этой конструкции обнаруживаются некоторые пункты, выбор которых может быть сделан произвольно – произвольно в том смысле, что они не предопределены тем, что происходило ранее, но что, тем не менее, должно быть сделано уже ради полноты. Иллюстрацией будет служить следующий пример.

Фреге вводит то, что он называет «пробегами переменной», чтобы представить объём понятий. Он ставит условием, что две функции име-

¹⁴ G. Frege, *The Basic Laws of Arithmetic* (trans. and ed. Montgomery Furth). Ссылки на эту работу будут даваться как на *Grundgesetze* с указанием страниц перевода.

ют один и тот же *пробег переменной*, если они имеют одно и то же значение для каждого аргумента. Если функция – это функция,

чьим значением всегда является истинностное значение, вместо “пробег значений функции” можно соответственно сказать “объём понятия”; и это, по-видимому, согласуется с тем, чтобы *понятие* прямо называть функцией, чьим значением всегда является истинностное значение (*Grundgesetze*, 36).

Пока всё хорошо. Единственное определяющее условие, которое он выдвигает для пробега значений, является контекстуальным – пробег значений двух функций был бы равным, если бы они имели одно и то же значение для каждого аргумента. Затем он отмечает, что ничего из того, о чём он говорил, не имеет отношения к тому, являются ли два истинностных значения, Истина и Ложь, сами пробегами значений, и если да, то которое из двух. Он подводит итог этой позиции:

Таким образом, без противоречия... [здесь он повторяет контекстуальное определение] ... всегда можно обусловить, что некий произвольный пробег переменной должен быть Истиной, а другой – Ложью (*Grundgesetze*, 48).

Он затем отбирает частный случай и обуславливает, что *он* должен быть Истиной, а другой – Ложью. Проблема и её решение имеет в точности ту же самую форму, как и в случае чисел и объёмов понятий. И философские следствия являются теми же самыми. Если мы называем один из отобранных им случаев “Джордж”, то у “Джордж = Истина” не было истинностного значения, пока он занимался отбором и пока “Джордж = Истина” в этом отборе приобретало Истину в качестве своего значения. Но отбери Фреге не Джорджа, а нечто другое, “Джордж = Истина” было бы ложно. Поскольку Джордж затем фигурирует в каждом пробеге значений, он фигурирует в объёме каждого (непустого) понятия. Не будь он удачлив в выборе, объём каждого понятия был бы иным.

Конечно, это не устанавливает какого-либо математического различия. Но то, что это не устанавливает никакого математического различия, имеет важную философскую суть, связанную с тем, что мы должны истолковать определение так, как это делает Фреге. Хотя я не могу продолжать здесь эту тему дальше, я надеюсь, эти примеры сделают ясным, что непосредственно “реалистическое” истолкование намерений или достижений Фреге было бы ошибочным для оправдания его практики.

Как я и обещал, вывод неудовлетворителен. Представляется ясным, что определения для Фреге не являются многим из того, относительно чего мы могли бы подумать, что они могут этим быть. Но это оставляет неясным, чем, как он считает, они являются. Соответственно, это оставляет неясным или, как минимум, точно не определённым его понятие аналитичности. Если мы принимаем точку зрения, что он просто требует, чтобы для арифметических пропозиций, которые мы прежде принимали без доказательств, были даны доказательства, то это понятие не хуже самого понятия математического доказательства, ибо трудно сказать, чем являются последние, но математики продуцируют и осмысливают их ежедневно. Конечно, это не достаточно хорошо для Фреге, который хотел вывести понятие математического доказательства из области интуиции и свести его к небольшому числу установленных формальных правил логики. Из этой дискуссии мы усвоили, что он не достигнет успеха в достижении этой цели, пока не сделает того же самого для своего понятия определения.

Наконец, это приводит меня в фрегевскому понятию *a priori*.

Если возможно провести доказательство всецело из общих законов, которые сами не способны и не нуждаются в доказательстве, то истина является априорной (*Grundlagen*, 27).

Во-первых, для других авторов *a priori* имело определённую прямую связь с познанием. Для Фреге это не так, поскольку ничто в приведённом выше определении не предполагает, что какие-то априорные пропозиции познаваемы вообще, если не считать ссылку на факт, что предельные истины, из которых могут быть доказаны априорные пропозиции, сами *не нуждаются* в доказательстве. Но это скорее бессодержательно, поскольку нигде в *Grundlagen* Фреге не предлагает объяснение того, что должна означать потребность в доказательстве. Он утверждает, что арифметические пропозиции *делают*, а не основания (и это, видимо, принципиально для его убеждения), по которым они *восприимчивы* к доказательству.

Во-вторых, мне хотелось бы заметить, что идея пропозиций, не допускающих доказательства, производна от приписанной мной Фреге рационалистской концепции иерархии пропозиций, некоторые из которых являются абсолютно базовыми и образуют основание, на котором основываются все “другие”. Он и в дальнейшем отдаёт предпочтение этой концепции, когда соглашается с критикой Ханкелем доктрины Канта, что числовые равенства конституируют бесконечное множество недоказуемых и самоочевидных пропозиций. Читатель, наверно, вспом-

нит, что Ханкель критиковал Канта за предположение, что числовые равенства все самоочевидны и всё же недоказуемы.

Ханкель оправданно называет предположение о бесконечной множественности недоказуемых первичных истин неуместным и парадоксальным. В самом деле, оно противоречит потребности разума в наглядности первых основоположений.

Должно быть только конечное (или легко контролируемое) число первых принципов, из которых могут быть выведены все другие априорные истины. Их обозримость есть предмет, которому Фреге не уделяет дальнейшего внимания, поскольку, я считаю, что таковое требовало бы от него дать объяснение тому, как мы можем знать и действительно знаем то, что мы знаем, объяснение, которое принуждало бы его к обсуждению условий, при которых наши убеждения конституируют знание, т.е. к теме, которая, как он правильно осознаёт, повлекла бы определённые психологические исследования, но которую он (и, я думаю, ошибочно) выметает своей антипсихологической метлой. Но, как я говорил выше, это тема другой статьи.

Я закончу своё обсуждения параграфа 3 забавным, выбивающимся из общего подхода вопросом: Все ли аналитические истины, согласно определениям Фреге, являются априорными? Предположительно да, поскольку аналитическая истина, т.е. истина, чьё доказательство привлекает только первые принципы *логики* (и определения), и априорная истина, т.е. истина, которая может быть доказана исключительно из общих законов, не нуждаются и не требуют доказательства. Очевидно, Фреге верил, что они являются таковыми *par excellence*. Но как раз ясно: Фреге верил, что он показал, что все арифметические истины являются аналитическими. Это порождает проблему, ибо из этого вытекает, что есть множество логических первых принципов, из которых могут быть выведены все арифметические истины при использовании только определений и принципов логического вывода. Характеристики, данные Фреге природе логического доказательства, делают ясным, что понятие доказательства, которое он подразумевал, является “эффективным” в техническом смысле. Таким образом, если все арифметические истины являются аналитическими, то есть множество логических истин, из которых все арифметические истины выводимы эффективно. Но из этого следует, что если логика рекурсивно аксиоматизируема, то таковой является и арифметика. А из первой теоремы Гёделя о неполноте мы знаем, что арифметика таковой не является. Отсюда следует, что таковой не является и логика, что бы ни принималось за логику, поскольку счи-

тается, что она адекватна выводу арифметики. Но раз уж логика не является рекурсивно аксиоматизируемой, то её первые принципы конституируют “бесконечную множественность недоказуемых первичных истин” и, следовательно, она “неуместна и парадоксальна” и, таким образом, “противоречит потребности разума”. Итак:

или

- (1) не все арифметические истины аналитические;

или

- (2) не все логические истины априорны (хотя все они тривиально аналитичны);

или

- (3) вероятно, концепция бесконечной множественности недоказуемых первичных истин вообще неуместна и парадоксальна.

Ни один из указанных выше пунктов не достаточен для установления позиции Фреге, ибо я думаю, что он серьёзно относится ко всем трём точкам зрения. На самом деле, я считаю, что в философской мотивации *Grundlagen* многое образует для него их конъюнкция. Я доказываю, что его попытка установить аналитичность арифметики не должна истолковываться как попытка вступить в продолжающиеся философские дебаты между Кантом и эмпирицистами и что на самом деле само его объяснение вопроса уходит с этой арены. Скорее это была попытка доказать пропозиции, которые ещё должны быть доказаны, относительно которых он верил, что они *могут* быть доказаны, и относительно которых он верил, что их *следует* доказать. Конечно, многие резоны для осуществления этой попытки обеспечивались его общим взглядом на доказательство, на роль логики в доказательстве и на иерархическую структуру всех априорных пропозиций.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье я не касался большинства стимулирующих и важных разделов *Grundlagen*: т.е. реального обсуждения Фреге понятий арифметики. Скорее я сконцентрировался на том, чтобы попытаться поместить это обсуждение в философский контекст, которому, как я думаю, это принадлежит. *Grundlagen* была написана в гораздо большей степени как работа по математике, чем это обычно допускается. Или, учитывая автобиографический контекст, чем я предпочитал думать. Итак, на мой взгляд, *Grundlagen* не только не являются работой в кантианско/эмпирицистской традиции, принимая как её принципиальную цель опровержение или установление дискуссионных философских доктрин, Фреге только по случаю рассматривал её как философскую работу. При

обсуждении “философских” тем, он не переопределяет некоторые философские понятия с тем, чтобы вопросы, выработанные в их рамках, имели математические ответы. Фреге объясняет предприятие *Grundlagen* как прежде всего и по преимуществу математическое, где проблемы центральны для математики. И он рассматривает аргументацию *Grundlagen* просто как *набросок* существенного ответа на проблему доказательства в прошлом недоказанных арифметических пропозиций. Успешно дополняя эту цель, он по случаю отвечал на то, что, по видимому, составляет философский вопрос: Являются истины арифметики аналитическими или синтетическими? Но только впоследствии, переистолковав этот вопрос, он подходит к своим собственным целям. *Grundlagen* содержит только набросок, поскольку здесь Фреге не даёт строгих доказательств. Это он оставляет на потом, но это должно быть сделано:

Требование избежать скачка в выведении следствий неопровержимо (*Grundlagen*, 112).

Философия привходит как удобное средство для поддержки его утверждения, что арифметические пропозиции должны быть *доказаны*. Поэтому, в начале параграфа 4 мы находим вывод, который, как он думает, следует сделать из его соображений, представленных в параграфе 3, над которыми мы работали на всём протяжении статьи:

Исходя из таких философских вопросов мы приходим к тем же самым требованиям, которые независимо от этого вырастают в области самой математики: доказать с наибольшей строгостью, если только возможно, основные предложения арифметики... (*Grundlagen*, 27).

ЛОУРЕНС ГОЛДСТЕЙН

В КАКОЙ СТЕПЕНИ ОРИГИНАЛЕН «ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ТРАКТАТ»?*

ВЗГЛЯД ЮНЦА

Мой опыт первого прочтения *Трактата*¹ был, я полагаю, сходен с опытом многих других. Я был юн и впечатлителен; текст казался не похожим на всё то, что я когда-либо читал, и совершенно непохожим на любые другие философские штудии, с которыми я сталкивался. Его афоризмы казались эфемерными, каждый многозначителен, исключительно важен и обескураживающе непроницаем, однако целое было строго организовано, а элегантная структура обнаруживалась системой нумерации, которая показывала логическую роль каждого афоризма в структуре.

Моё первоначальное мнение укрепилось после того, как я поработал некоторое время над книгой и пришёл к выводу об исторической важности взглядов Витгенштейна как реакции на логико-математические доктрины Фреге и Рассела – здесь была классическая философия двадцатого века, текст, обнаруживающий силу логического

* *Goldstein L. How Original a Work is the Tractatus Logico-Philosophicus? // Philosophy, № 77, 2002. – P. 421–446.*

¹ При цитировании работ Витгенштейна я буду использовать следующие сокращения:

N – *Notebooks 1914–16*, G.E.M. Anscombe (trans.) (Oxford: Blackwell, 1961).

CV – *Culture and Value, Revised Edition*, G.H. von Wright (ed.) (Oxford: Blackwell, 1998).

P – *Prototractatus*, B.F. McGuinness, T. Nyberg, G.H. von Wright (eds) (London: Routledge and Kegan Paul, 1971).

T – *Tractatus Logico-Philosophicus*, C.K. Ogden and F.P. Ramsey (trans.) (London: Routledge and Kegan Paul, 1922). Я также ссылаюсь на перевод: D. Pears and B.F. MacGuinness (London, Routledge and Kegan Paul, 1961).

RLF – ‘Some Remarks on Logical Form’, *Proceedings of the Aristotelian Society*, supp. Vol. 9 (1929), 162–71.

LE – ‘A Lecture on Ethics’ (Heretics Club, Cambridge, 1930) *Philosophical Review* 74 (1965), 3–12; перепечатано в J. Klage and A. Nordmann (ed.), *Philosophical Occasions 1912–1951* (Indianapolis: Hackett, 1993), 36–44.

PR – *Philosophical Remarks*, R. Rhees (ed.) (Oxford: Blackwell, 1965).

WVC – *Wittgenstein and the Vienna Circle*, B.F. McGuinness (ed.) (Oxford: Blackwell, 1967).

LA – *Lectures and Conversation on Aesthetic, Psychology and Religious Belief*, C. Barrett (ed.) (Berkeley: University of California Press, 1970).

LRKM – *Letters to Russell, Keynes and Moore*, G.H. von Wright (ed.) (Oxford, Blackwell, 1974).

PI – *Philosophical Investigation* (Oxford: Blackwell, 1953).

[Здесь цитаты из Витгенштейна и Рассела в основном приводятся по переводам, существующим на русском языке. – прим. переводчика.]

анализа и одновременно обрисовывающий богатство австро-германской традиции в философии сознания и языка. Я полагаю, эта точка зрения разделялась большинством философов. Теперь кажется поразительным, что Витгенштейн испытывал значительные затруднения в поисках издателя², ибо, как только монография вышла из печати, её восторженно приветствовали и ей рукоплескали блестящие современники в Кембридже, Вене и других местах. Рассел заключил своё введение к этой книге рекомендацией: «Построить теорию логики, которая ни в одном пункте не является очевидно ложной, – значит выполнить работу необычайной трудности и важности. Книга м-ра Витгенштейна, по-моему мнению, обладает этим достоинством, так что ни один серьёзный философ не может позволить себе пренебречь ею» (Т, 23). За восемьдесят лет после публикации *Трактат* породил огромное количество экзегетической литературы, большинство нынешних контroversз касается того, что она должна прочитываться либо безоговорочно, либо со значительными сомнениями³. То, что такой короткий текст породил столь длительные споры, есть, разумеется, свидетельство непреходящей ценности работы. Почти никто не расходится во взглядах с вердиктом Питера Хакера, что эта книга – шедевр, несмотря на отдельные изъяны⁴.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ НЕКОТОРЫХ ИДЕЙ ТРАКТАТА

Но так ли это? Насколько велик, насколько оригинален *Трактат*? Стиль и подача, конечно, неотразимы, но пузырь первоначального энтузиазма лопаается, когда обнаруживается, что у системы нумерации есть предшественник в лице *Principia Mathematica* Рассела и Уайтхеда, а также что стиль записей перекликается со стилем предшественников,

² См.: ‘Historical introduction’ фон Вригта к *P* (pp. 11–29).

³ Все исследования, кроме одного, представленные в сборнике *The New Wittgenstein*, eds. A. Carty and R. Read (London: Routledge, 2000), принимают этот текст безоговорочно. Исключение – статья P. Hacker, ‘Was he Trying to Whistle it?’ (pp. 353–88), этот же автор добавляет несколько направленных против безоговорочного принятия пунктов в своей статье ‘Philosophy’, опубликованной в H.-J. Glock (ed.), *Wittgenstein: A Critical Reader* (Oxford: Blackwell, 2001), 322–347, особенно 327–331. Другая пронизательная критика безоговорочного прочтения содержится в статье: P. Sullivan, ‘On trying to be resolute: a response to Kremer on the Tractatus’, *European Journal of Philosophy*, April 2002. Безоговорочное прочтение – это прочтение, которое не уклоняется от затруднений; оно совершенно серьёзно принимает заявление Витгенштейна в Т 6.54, что все предшествующие предложения в структуре книги являются бессмысленными. Безоговорочно настроенные читатели скажут, что здесь нет явной или глубокой бессмыслицы, но только обычная невнятность, поэтому Витгенштейн, когда писал *Трактат*, с суровой иронией проиллюстрировал трюину, в которой тонет Философия, когда продолжает в традиционном ключе.

⁴ P. Hacker, *Wittgenstein’s Place in Twentieth Century Analytic Philosophy* (Oxford: Blackwell, 1996), 22–38.

чьих работы читал Витгенштейн. Относительно последнего пункта Брайан МакГинесс отмечает, что «в деталях *Трактат* сохраняет многие черты *Дзубалдоне*, чреды дневников, где записывались афоризмы, из которых было отобрано его содержание. В них, как и в собраниях афоризмов Шопенгауэра и Лихтенберга, должных в некоторой степени служить моделью, есть только расплывчатая связь между темами, рассматриваемыми в течение дня или раздела»⁵. Однако МакГинесс далее делает важное утверждение, что Витгенштейн рассматривал эту работу не только как литературную, но и как философскую, и что «один из аспектов её литературного характера состоит в том, что, подобно поэме, она не является безразличным средством для чего-то, выразимого другими способами, но показывает или передаёт нечто уникальное своей собственной формой выражения»⁶. Для незрелых юношей может стать разочарованием открытие того, что литературный стиль, идеальный для

⁵ B.F. McGuinness, *Wittgenstein: A Life. Young Ludwig (1889–1921)* (London: Duckworth, 1988), 300. Витгенштейн сам указывает влияние на свой стиль записей. В Z §712 он отмечает в скобках «На стиль моих предложений в высшей степени сильно повлиял Фреге. И при желании я мог бы установить это влияние там, где, на первый взгляд, никто его не установил бы».

⁶ МакГинесс, *op. cit.* 302. Развивая это утверждение, Мак Гинесс предлагает «решительное» прочтение этого текста. Он говорит, что всю философию раннего Витгенштейна можно рассматривать «как разновидность мистического откровения» и что текст обеспечивает нечто «подобное инициации в мистерии, которые по достижению могут быть забыты» (р.303). Эта интерпретация, по-видимому, может быть оправдана вышеупомянутым T, 6.54, где Витгенштейн, как известно, говорит, что его предложения (т.е. предложения *Трактата*) должны быть использованы как ступеньки лестницы, которая, если по ней однажды подняться, приводит нас к выгодной точке зрения, с которой можно «правильно увидеть мир». С этой выгодной точки зрения возможно увидеть, что сама пропозициональная лестница является бессмысленной и может быть отброшена прочь. Прочтение МакГинесса возможно, но в высшей степени невероятно. Хотя и верно, что *Трактат* достигает драматического литературного эффекта, это не тот случай (*подход* МакГинесса), когда сообщение неотделимо от литературного посредника. Сам Витгенштейн проясняет это, когда в разговоре с Морисом Друри он признаётся, что «каждое предложение *Трактата* должно было рассматриваться как заглавное для разделов, следующих ниже. Мой нынешний стиль совершенно иной; я пытаюсь избежать этой ошибки» (См.: *Recollection of Wittgenstein*, R. Rhees (ed.) (Oxford: Oxford University Press, 1984, P. 159). Это полагает препятствие в – или, более точно, разрушение – «решительного прочтения», ибо что могло бы быть «дальнейшей экспозицией», представляющей собой нечто иное, чем исполнение аргументов, поддерживающих пропозиции *Трактата*? Принимающие *Трактат* безоговорочно вполне корректны, указывая, что согласно T 6.54 пропозиции Трактата (за исключением «системных» пропозиций типа самой 6.54) являются, в освещении Витгенштейна, бессмысленными. Но они *ошибочно* предполагают, что не может быть *проясняющей* бессмыслицы, и дальнейшая экспозиция может усилить прояснение. Для сравнения, согласно позднему Витгенштейну, (а) «Квадратный корень из 2 = m/n, где 'm' и 'n' являются положительными целыми числами есть гораздо более бессмысленным, чем «Треугольник имеет четыре стороны». Однако (а) может быть использовано в доказательстве, которое приводит к отрицанию самого себя. Поэтому (а) есть *беспольная* бессмыслица. И это как раз и есть статус пропозиций *Трактата*. Они полезны в том, что, используя их (предпочти-

очарованием открытие того, что литературный стиль, идеальный для собственных целей Витгенштейна, был разработан более ранними авторами, или что система нумерации *Трактата* имела предшественников, но такие наблюдения не являются оценкой, имеющей значение для критики автора. Действительный вопрос, который следует задать, является ли его *содержание* определяющим моментом в истории философии.

В одной из своих ранних записных книжек Витгенштейн пишет, что ‘вся моя задача’ заключалась в объяснении природы предложения (*Satz*) (*N*, 39, замечание датировано 22.1.15), и до решения принять предложенное Муром экстравагантное название, он предполагал назвать *Трактам* просто *Der Satz*⁷. Он говорил Расселу, что считает корректную теорию предложений ключом к корректной теории суждений (письмо, датированное 22.7.13, *LRKM*, 24)⁸. Вопрос о природе предложений имеет, конечно, большую историю. Он привлекал значительное внимание средневековых авторов⁹ и занимает значительное место в работах авторов XVIII и XIX века, таких как Больцано, Brentano и Гуссерль. Предложения являются инструментами вербальной коммуникации, и изучение того, как эти инструменты работают, например, исследование того, в каком смысле предложение отличается от вереницы слов, является, по-видимому, стимулирующим проектом. Мы не можем быть уверены, почему Витгенштейн в период философского ученичества связался с вопросом о том, чем являются предложения, – чтение некоторых отдельных авторов разожгло его интерес к проблеме или же брошенные семена его собственных идей. Но поскольку, как мы увидим, многие идеи Больцано появляются в *Трактате*, было бы интересно посмотреть, что сказал на этот счёт Больцано.

тельно вместе с некоторым дальнейшим объяснением), можно прийти к правильному видению мира и *pari passu*, чтобы опознать их бессмысленность.

⁷ У.У. Бартли получил эту информацию от некоторых бывших коллег Витгенштейна, которые видели его собственную копию рукописи в то время, когда он работал деревенским учителем в Земмеринге. См.: W.W. Bartley III, *Wittgenstein* (London: Quartet Books, 1973), 28, fn.2.

⁸ Рассел, по-видимому, принял эту критику близко к сердцу. Он написал собственную статью ‘On proposition: What they are and how they mean’ (*Aristotelian Society Supp.* Vol. 2 (1919), 1–43) и ‘парализованный’ критикой Витгенштейном своей теории суждения, никогда не публикует манускрипт объёмом более 350 стр., в котором он развил теорию. См.: K. Blackwell, ‘The Early Wittgenstein and the Middle Russell’ in I Block (ed.), *Perspectives on the Philosophy of Wittgenstein* (Oxford: Blackwell, 1981), 1–30.

⁹ См.: G. Nuchelmans, *Theories of the Proposition: Ancient and Medieval Conception of the Bearers of Truth and Falsity* (Amsterdam: North-Holland Linguistic Series 8, 1973).

Предложениям посвящён первый раздел части I книги первой произведения Больцано *Wissenschaftslehre (WL)*¹⁰, и часть II книги второй посвящена ‘предложениям в себе’. В начале части I, §19 Больцано говорит:

Чтобы моим читателям было более ясно, что я понимаю под предложением в себе, я начну своё изложение с того, что объясню значение *высказанного*, или *выраженного*, с помощью слов предложения. Этим я обозначаю любую (состоящую из нескольких или одного слова) *речь*, которой нечто высказывается или утверждается, которая всегда одно из двух: либо истинна, либо ложна в обычном значении этого слова, либо правильна, либо неправильна.

До этих пор так и у Аристотеля¹¹. Больцано продолжает:

Так, например, следующий ряд слов “Бог есть вездесущий” я называю высказанным предложением, так как этими словами утверждается нечто истинное. Так же я называю и ряд слов “Четырёхугольник – круглый” предложением, поскольку этим соединением слов тоже нечто утверждается или высказывается, хотя и нечто ложное. Напротив, соединения слов “вездесущий Бог” и “круглый четырёхугольник” я не называю предложением, поскольку хотя через них нечто и *представляется*, но ничего не высказывается и не утверждается и не содержит ни истины, ни лжи. Если ясно теперь, что я понимаю под высказанным предложением, можно добавить, что имеются также предложения, которые не выражаются словами, а просто мыслятся кем-нибудь; эти предложения я называю *мыслимыми*. Но “высказанное предложение”, очевидно, отличается от самого своего высказывания точно так же, как отличается “мыслимое предложение” от мысли о нём.

Высказанное (или записанное) предложение есть то, что Витгенштейн называет ‘Satzzeichen’; ‘мыслимое предложение’ Больцано есть витгенштейновское ‘Gedanke’ (в *WL* §23, p.27 этот термин также используется Больцано как синоним ‘мыслимого предложения’), которое,

¹⁰ Частичный перевод этой работы на английский см.: Theory of Science, R.George (ed.) (Oxford: Blackwell, 1972). В дальнейшем ссылки приводятся по этому изданию. [Здесь цитаты в основном приводятся по русскому изданию: Больцано Б. Учение о науке (избранное). – СПб.: Наука, 2003. – прим. переводчика.]

¹¹ См.: Bolzano, *WL* §23, p. 27 – но Больцано считает, что Аристотель совершает ошибку, если рассматривает ‘Предложение – это то, что является либо истинным, либо ложным’ как *определение* предложения.

поскольку является чем-то физически и ментально существующим, имеет физические конституенты¹². Если у нас есть мыслимое и высказанное предложения, что тогда представляет собой предложение в себе (Satz an sich)? Больцано говорит: «То, что понимается под словом ‘предложение’, если оно высказывается или мыслится кем-нибудь или никем не мыслится и не высказывается, – это я называю *предложением в себе*» (WL, §19, pp.20-1; а также §122). Ради краткости Больцано называет его ‘Satz’. По контрасту Satz для Витгенштейна – это символ, который имеет чувственно воспринимаемый аспект (Т, 3.1, 3.11, 3.12, 3.31, 3.32), поэтому то, что кажется элементом платонизма в схеме Больцано, отсутствует в схеме Витгенштейна. Различие, которое Больцано проводит между предложениями и выражениями, обозначающими комплексы, в точности соответствует тому, на котором Витгенштейн сосредотачивает внимание в ранней (сентябрь 1913) критике Фреге и Рассела: «Фреге говорил, что ‘предложения являются именами’; Рассел говорил, что ‘предложения являются именами комплексов’. И то, и другое – ложно; и особенно ложно утверждение, что ‘предложения являются именами комплексов’» (N, 93). Представляется правдоподобным, что в этой критике Витгенштейн зависел от тщательного обсуждения у Больцано. Интересно также то, что первый вклад Витгенштейна в философию обнаруживается в предложенном решении парадокса Рассела, содержащегося в письме к Филиппу Джордану. Подобно Иерониму Саванороле, чьё решение парадокса Лжеца обсуждается в длинной сноске к WL, §19, pp. 22-23, Джордан в своём ответе Витгенштейну принимает сторону *cassatio*, что парадоксальные предложения являются «бесмысленным *пограничным* случаем высказываний, которые не являются бесмысленными»¹³. Идея, что противоречия и тавтологии являются пограничными случаями предложений, *sinnlos*, но не *unsinnig*, встречаются в Т, 5.143.

Дж.Н. Финдлей утверждает, что

Доктрина объективных предложений имеет свои источники в стоической доктрине *λεκτα*, или вещей высказанных, и в доктрине *Sätze an sich*, или предложений в себе, Бернарда Больцано начала девятнадцатого века. Мейнонг, без сомнения, был философом, который сделал самый сильный акцент на этой доктрине объек-

¹² В ответ на вопрос Рассела Витгенштейн отвечает: «Я не знаю, что представляют собой конституенты мысли, но я знаю, что она должна иметь такие конституенты» (LRKM, письмо из Кассино, датированное 19.8.19).

¹³ См.: L. Goldstein, *Clear and Queer Thinking: Wittgenstein's Development and his Relevance to Modern Thought* (London: Duckworth, 1999), 126–7.

тивных предложений и фактов, и от него она перешла к Расселу и Муру, а отсюда – к Витгенштейну времён *Трактата*¹⁴.

Финдлей явно прав относительно сходства доктрины Больцано с доктриной Витгенштейна, но он не приводит доказательства относительно какого-либо влияния Больцано или Brentano, опосредованного Расселом и Муром. Виктор Крафт сообщает, что, согласно О. Краусу, первоначальный импульс своих ранних взглядов о соотношении языка и логики Витгенштейн получил из философии языка Brentano и Марти¹⁵. Приемлемо было бы сказать, что в своих ранних работах Витгенштейн осуществил полезный синтез. Что он сосредоточил своё внимание на многообещающем проекте Рассела разрешить с *математической* точностью¹⁶ философские проблемы, усложнённые европейской традицией в философии языка¹⁷.

Георг Хенрик фон Вригт отмечает, что «определение вероятности, которое в существенных деталях отвечает определению Витгенштейна, предложил почти веком ранее Больцано», и продолжает, что «говорить

¹⁴ J.N. Findley, *Wittgenstein: A Critique* (London: Routledge and Kegan Paul, 1984), 31–2. В разделе 2 этой работы Финдлей кратко очерчивает то, что прямо или косвенно имеет отношение к осмыслению Витгенштейном ‘интенционалистов’ Brentano, Meinong и Husserl. Финдлей отмечает, что Витгенштейн, «по-видимому, мимолётно ознакомился с некоторыми ранними работами Гуссерля в кофейнях Вены и однажды спросил меня в отношении *Логических исследований* Гуссерля, почему я уделяю внимание ‘этой старой работе’». Финдлей утверждает, что интенционалисты «имели значительное влияние на Рассела и Мура и многие их идеи отфильтрованы Витгенштейном из этих и других источников в Кембридже» (p. 22).

¹⁵ V. Kraft, *The Vienna Circle: The Origin of Neo-Positivism* (New-York: Greenwood Press, 1969), 1999. (Оригинальная немецкая версия опубликована в 1953.) Я благодарен Вульффу Майосу за то, что он указал мне на это направление мысли.

¹⁶ Ср.: Письма Рассела леди Оттолин Морел, датированные 29.12.1912. Переписка Рассела и Морел находится в Центре гуманитарных исследований Техасского университета.

¹⁷ Ханс Шлуга упоминает о глубоком и непреходящем влиянии, который Фреге и Рассел оказали на Витгенштейна: «Это влияние отчасти заметно в *Трактате*, который может быть прочитан как попытка примирить атомизм Рассела с априоризмом Фреге». Шлуга также отмечает, что во время участия в Первой мировой войне Витгенштейн возобновил свой интерес к метафизической точке зрения Шопенгауэра на этику, эстетику и мистику, выраженной в *Мире как воле и представлении*. Шлуга говорит, что «филиация идей, очевидно, придаёт *Логико-философскому трактату* его особый привкус». Фриц Маутнер, автор *Beiträge zu einer Kritik der Sprache* (1901–1902), который упоминается в T 4.0031, обозначается Шлугой как вероятный источник взглядов Витгенштейна на то, что философские проблемы могут быть разрешены, надлежащим вниманием к работе языка. Шлуга пишет: «Близость Витгенштейна Маутнеру действительно очевидна во всех фазах его философской эволюции, хотя это и незаметно в его поздних размышлениях». См. введение к Витгенштейну в R. Audi (ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy (Second Edition)* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 976–980.

здесь, собственно, следует об *одном* определении и называть его определением Больцано-Витгенштейна»¹⁸. Фон Вригт не предлагает аргументов в поддержку этого предположения, и он не обсуждает возможность непосредственного влияния¹⁹. Верно, что Больцано не упомянут в списке людей, о которых в записной книжке, включающей 1931 г., Витгенштейн говорил, как об особо оказавших на него влияние²⁰, но нет причин считать, что список составлялся с намерением исчерпать всех, к тому же правдоподобно (см. приложение Яна Себестика к моей статье), что Витгенштейн почерпнул свои больцанианские идеи из текста книги Роберта Циммермана, не осознавая, что первоначально они принадлежали Больцано. Но, во всяком случае, не удивительно, что в списке Витгенштейна, включающем мыслителей первой величины, создавших направление мышления, которого он рьяно придерживался в собственной проясняющей работе, такие как Циммерман охарактеризованы гораздо меньше.

Мнение Витгенштейна о своих источниках выделить очень трудно. Ближе к началу длинного дневника 1931 г. он пишет: «...в моих идеях есть некоторая истина, которую я на самом деле только возобновил в своём мышлении. Я считаю, что никогда не *изобретал* направление мышления, но что его всегда обеспечивал мне кто-то другой». Но в конце того же самого вступления он замечает: «...тогда, когда я был в Норвегии в течение 1913–14 гг. некоторые мысли были моими собственными или, по крайней мере, мне так кажется теперь. Я имею в виду, что у меня было впечатление, что в это время я породил новое направление мышления» (CV, 16–7)²¹. Если это и не категорически противоречиво, то весьма к этому близко. В особенно плодovитой метафоре Витгенштейн как-то сравнивает себя с каким-то необычным грунтом, который, буду-

¹⁸ G. H. von Wright, *Wittgenstein* (Minneapolis: University of Minnesota Press), 144–5.

¹⁹ О документированной возможности влияния Больцано см.: J. Sebestik 'The Archeology of the Tractatus: Bolzano and Wittgenstein', in R. Hallern and J. Brandl (eds), *Wittgenstein – Towards a Re-evaluation* (Vienna: Verlag Holder-Pichler-Tempsky, 1989), 112–8. Крафт (op. cit., 153) отмечает, что Больцано был предшественником теории вероятности *Кружка* в той же степени, что и теория Витгенштейна.

²⁰ CV, 16. Редакторы CV отметили (p. 101), что в первоначальном списке были имена Фреге, Рассела, Шпенглера и Сраффы; позднее Витгенштейн добавил имена Больцмана, Герца, Шопенгауэра, Крауса, Лооса и Вейнингера.

²¹ Это вступление к дневнику 1931 г. представляет отдельную острую проблему для 'безоговорочных' читателей *Трактата*. Ибо они допускают, что в своих предшествующих *Трактату* работах Витгенштейн предлагал на обсуждение свои собственные теории (такие как теория логического отображения – N, p. 15) и одобрял теории других (такие как расселовская теория дескрипций), но что со времени *Трактата* он пришёл к высшей степени оригинальной идее, что философия есть терапия и что не существует философских теорий.

чи засеян семенами других, способен эти семена прорастить иначе, нежели они выросли бы в любом другом грунте (CV, 42). Я думаю, это верно и для его ранней работы. Источник большинства её идей обнаруживается в работах других, поэтому, вероятно, *Трактат* не вполне достоин занять место в пантеоне величайших и наиболее оригинальных текстов по философии.

Как бы там ни было, эту проблему я разыграл в опубликованной несколько лет назад шутке под названием «Экзамен на Ph.D. Витгенштейна: Воссоздание события»²². В 1929 году Витгенштейн представил *Трактат*, рассматриваемый к этому времени как классическая работа, в качестве докторской диссертации. Эта защита, руководимая Расселом и Муром, была чисто номинальным делом и заняла лишь несколько минут. Моя идея заключалась в том, чтобы перезапустить защиту с пристрастным допросом Витгенштейна относительно его текста. В этом воссоздании Рассел и Мур критикуют аргументы Витгенштейна относительно некоторых главных тезисов этой книги и с пристрастием расспрашивают его относительно происхождения некоторых его идей. В сноске, комментирующей конец этого розыгрыша, я говорю:

Моё мнение, что если бы на современников не повлияла в такой степени личность Витгенштейна и если бы диссертация судилась по обычным стандартам оригинальности и качества философской аргументации, защита определённо провалилась бы. Витгенштейн был в свои двадцать лет просто зелёным салагой (хотя и дал интересные идеи в логике) (*WPhD*, 513).

В ответ на смоделированную мной игровую ситуацию Майкл Коэн приписал мне цель обвинить Витгенштейна в плагиате и исказить взгляды на оригинальность Витгенштейна, выраженные двумя другими комментаторами²³. Вообще говоря, сетования Коэна плохо обоснованы, ибо его статья базируется на ряде ошибок. Первая из этих ошибок включает смешение между фактом и вымыслом. В моей пьесе роли играют вымышленные двойники экзаменаторов и Витгенштейна. Я буду называть их квази-Расселом, квази-Муром и квази-Витгенштейном соответственно²⁴. Квази-Рассел и квази-Мур в этой пьесе говорят и делают много такого, что не сделали бы их реальные двойники. В частности,

²² L. Goldstein, 'Wittgenstein's Ph.D. Viva – A Re-Creation', *Philosophy* 74 (1999), pp. 499–513; далее цитируется как 'WPhD'.

²³ M. Cohen, 'Was Wittgenstein a Plagiarist?', *Philosophy* 76 (2001), 451–459.

²⁴ Коэн использует отпугивающие заковыченные имена типа "«Рассел»" и т.д., но я хочу избежать возникающего из-за этого насмешливого тона.

они подвергают квази-Витгенштейна жёсткому и иногда достаточно агрессивному экзамену и в конечном счёте проваливают его. На их вопросы по существу квази-Витгенштейн отвечает так, как, по-моему мнению, ответил бы Витгенштейн, и, в общем, его ответы неудовлетворительны. (Я сознаю, конечно, что многие читатели этой пьесы посчитают, что критицизм квази-Рассела и квази-Мура не является столь решительным, насколько представил его я, и посчитают, что Витгенштейн предпринял бы более убедительную защиту.)

Итак, в одном месте пьесы квази-Рассел говорит квази-Витгенштейну: «Вы также должны восхищаться им [Больцано], учитывая степень заимствования у Больцано, точнее, ваш плагиат в его отношении». Коэн придирается к слову “плагиат”, повторяя его определение, которое он находит в своём *Оксфордском словаре английских значений*, и использует это слово в привлекающем внимание названии своей заметки “Был ли Витгенштейн плагиатором?”. Напомним, это слово используется квази-Расселом, но, согласно Коэну, обвинение было выдвинуто реальным Голдстейном, который вложил эти слова в уста вымышленного Рассела. Однако, выражаясь *in propria persona*, вот то, что я действительно говорю (и Коэн цитирует это): «Если бы диссертация судилась по обычным стандартам оригинальности и качества философской аргументации, защита определённо провалилась бы». Когда вымышленная защита заканчивается и квази-Витгенштейн выходит из комнаты, квази-Рассел говорит квази-Муру «Я упоминал Больцано, но легко мог бы привести и других, у кого он заимствовал свои идеи, не признавая этого... Он определённо не одобрил бы плагиат в отношении себя». Здесь не предполагается, что Витгенштейн пытался присвоить эти идеи себе. Мой собственный словарь, Коллинзский английский словарь (“признанный в мире лучшим словарём”) определяет ‘плагиат’ как ‘присвоение идей, отрывков текста и т.д. из других работ или авторов’ и определяет глагол ‘присваивать’ как ‘брать в чьё-либо собственное пользование’, – отметим, НЕ ‘брать как своё собственное’. Но такие нюансы едва ли заслуживают внимания, поскольку глупо смешивать взгляды вымышленного Рассела со взглядами его действительного создателя. В своей книге *Ясное и сомнительное мышление: эволюция Витгенштейна и его важность для современной мысли* (далее *CQT*)²⁵, говоря о действительном Витгенштейне, я писал:

²⁵ L. Goldstein, *Clear and Queer Thinking: Wittgenstein's Development and his Relevance to Modern Thought* (London: Duckworth, 1999).

Продолжительная изоляция на берегу норвежского фьорда в течение 1913–1914 годов, строгий режим ограничения на общение и интенсивная концентрация, когда, как он излагал, его ‘его сознание было как в огне’, породили для Витгенштейна замечательные результаты в области философской логики – теорию природы пропозиций, тавтологий и противоречий, доктрину невыразимого, семантические методы исследования логического следования и много другого. Но его взгляды на философию вообще оставались поразительно наивными, что, вероятно, неудивительно, если учесть, как мало он изучал предмет. Некоторые его последующие записи времён войны показывают, что Витгенштейн всё ещё, философски говоря, мочился в постель (*CQT*, 80).

Некоторые иллюстрации этому я дал в этой книге. Витгенштейн явно приобрёл определённый объём философских знаний дома и в школе, но он учился на инженера, и его знание литературы по многим вечным философским проблемам было, скажем мягко, несколько поверхностным.

На вопрос относительно обвинения Витгенштейна в плагиате моя книга даёт вполне ясный ответ. Относительно авторства идей я отмечаю, что «когда была возможность, он свободно относился к другим и чувствовал отвращение, когда другие не обнаруживали подобную щедрость», и продолжаю:

Это касалось как имущества и денег, так и идей. Последние также должны находиться в общем пользовании. Следовательно, для Витгенштейна было безразлично, на это он указывает в предисловии как к *Трактату*, так и к *Философским исследованиям*, что он не был ‘собственником’ или генератором некоторых из опубликованных им мыслей; поэтому он не озаботился тем, чтобы упомянуть имена действительных авторов. По-видимому, он считал, что в мире идей можно осуществлять заимствования, не задаваясь вопросами, и это не было бы признаком дурного вкуса (*CQT*, 178).

В сноске к данному пассажи (р. 224) я разрабатываю эту тему:

Я слышал замечание Ричарда Хэара, что Оксфорд этого времени был своего рода свободным портом для обмена идей. Академические исследователи наших дней под тяжким прессом необходимости публиковаться и делать себе имя сочли бы ошибкой понимание интеллектуальных заимствований просто как небрежность или легковесность. Ну и что из того. Ведь люди, пересказывая,

совершенно расслабляются и, не вполне понимая источник, вышучивают то, что не является их собственным. Поэтому, вероятно, мы не должны быть слишком опрометчивы, обвиняя Витгенштейна в плагиате, – возможно, в его время или в его сознании философия рассматривалась не как частная собственность, но как совместно разделяемые и разрабатываемые идеи.

В моём воссоздании защиты Витгенштейна обсуждается ряд философских теорий. Коэн говорит, что я ‘отчасти обыграл’ расселовскую теорию суждения, но, как может установить читатель, это явно ложно, ибо теория Рассела упоминается лишь однажды и не обсуждается вообще. Коэн страстно хочет показать, что я игнорирую критику Витгенштейном этой теории, и он цитирует пассаж из *Трактата*, не упоминаемый мной в воссоздании защиты, в котором устанавливается эта критика и собственная позиция Витгенштейна. Но этот же самый пассаж (*T*, 5.54-5.5423) занимает почти всю стр. 96 моей книги, где он цитируется полностью. Ясно, что необходимо найти доказательство для утверждения, что имеет место сходство между взглядами Рассела и Витгенштейна в пассажах, *иных*, чем те, в которых Витгенштейн явно *опровергает* аспекты теории Рассела. Один такой пассаж содержится в *T* 3-3.5, который, как верно отмечает Энтони Кенни, создаёт (в совокупности с общеизвестными 5.54-5.5432) витгенштейновский анализ предложений, сообщающих об убеждениях, суждениях, восприятиях и тому подобное²⁶. В предшествующих пассажах утверждается, что некоторые представления Рассела очевидно безошибочны, хотя, как минимум, один из них – теория типов – отрицается (*T*, 3.331-3.333).

В предисловии к *Трактату* Витгенштейн пишет: «Я не хочу судить о том, в какой мере мои усилия совпадают с усилиями других философов. Ведь написанное мной не претендует на новизну деталей, и я поэтому не указываю никаких источников, что мне совершенно безразлично, думал ли до меня кто-либо другой о том, о чём думал я» (*T*, р. 2). Этому пассажи Коэн уделяет особое внимание, по-видимому, с целью показать, что обвинение Витгенштейна в плагиате неуместно. Он также отмечает, что в обоих английских переводах утрачено ударение, подчеркнутое словом ‘überhaupt’ в оригинале. Если перевести корректно, то Витгенштейн говорит, что он ‘*вообще* не претендует на новизну...’.

²⁶ A. Kenny, ‘Wittgenstein’s Early Philosophy of Mind’ in I. Block (ed.), *Perspectives on the Philosophy of Wittgenstein* (Oxford: Blackwell, 1981), 140–147. Об отношении между теорией пропозиции и теорией суждения у Рассела и Витгенштейна см. также дискуссию Кэндлиша и Суинсбери: R. Monk and A. Palmer (eds.), *Bertrand Russell and Origins of Analytical Philosophy* (Bristol: Thoemmes Press, 1996), 103–151.

Итак, достаточно обоснованно предполагая, что Витгенштейн как не страдал от скромности, так и не был непорядочным, на первый взгляд, мы должны считать эту оговорку ценной. Но было бы интересно узнать, признал бы Коэн диссертацию на Ph.D., которая сама открыто утверждает, что она не содержит новизны относительно своих тем, и, помимо этого безоговорочного признания и упоминания интеллектуальной признательности двум людям, не цитирует источников, из которых заимствованы идеи.

Коэн далее обвиняет меня в неправильной интерпретации взглядов Энтони Грейлинга и Яна Себестика, рассматривающих влияние на Витгенштейна Рассела и Больцано соответственно. И снова, для Коэна было бы достаточно легко проверить, хотя бы эти авторы на самом деле дистанцируются от взглядов, которые я им приписываю. Я связался с ними обоими, и ни один из них не захотел. Я оставлю защиту Себестика Себестика, который в настоящее время занят обширным проектом, где рассматривается как соответствие Больцано и Витгенштейна, так и заимствования у Больцано, последовавшие после его смерти, к тому же он написал приложение к данному исследованию. Однако может быть полезно несколько слов сказать о мнимой неправильной интерпретации мной Грейлинга, поскольку это приведёт нас ещё к трём ошибкам Коэна. Он выборочно цитирует Грейлинга и на основе отобранных кусков говорит, что Грейлинг не делал утверждений, которыми я 'нагрузил' его относительно тезисов, воспринятых Витгенштейном от Рассела. Фактически, Грейлинг подбирает сущностный аргумент для утверждения, что определённый материал из Рассела мог бы рассматриваться как то, что он называет «предвосхищением пассажей *Трактата* Витгенштейна» (1996, р.99-100); как он говорит в другом месте: «Своим существованием и многим из своих идей *Трактат* обязан *Основаниям математики* Рассела и *Principia Mathematica* Рассела и Уайтхеда» (1988, р. 56).

Грейлинг цитирует десять тезисов из *Трактата* (1, 1.1, 2, 2.01, 2.02, 3, 3.1, 3.2, 4.21, 5) и отмечает: «Не стоит и упоминать, что логические идеи, которые лежат в основании этих тезисов, конечно же близки ранней работе Рассела». И даже более прямо Грейлинг говорит: «... являются действительным содержанием взглядов, выраженных Витгенштейном в *Трактате* и Расселом во второй части *Нашего познания внешнего мира*, соответственно», из которой Грейлинг цитирует примечательный пассаж²⁷. Коэн также цитирует эти пассажи, но он использует их так, чтобы показать, что Витгенштейн *не* копирует Рассела! Это

²⁷ A.C. Grayling, *Russell* (Oxford: Oxford University Press, 1966), 99–101, и его же *Wittgenstein* (Oxford: Oxford University Press, 1988), 56–57.

может действительно выглядеть весьма курьёзным, пока мы не заметим, что в конце сноски Коэн мимоходом отмечает: «Моя выборка из этих пассажей не совпадает с выборкой Грейлинга»²⁸. Ну и конечно, тот, кто исследует пассаж из *Нашего познания внешнего мира*, цитируемого Грейлингом, для того, чтобы удостовериться, что же *не* выбрал Коэн, находит расселовское отличие в фактах и вещах, во введении атомарных пропозиций и атомарных фактов, в обсуждении того, как они соотносятся и каким образом анализ пропозиций приводит нас к атомарным пропозициям – к аппарату, введённому Витгенштейном в *Трактате*²⁹. Не стоит и говорить, что многое из *Нашего познания внешнего мира* Рассела *не* вошло в *Трактат*, и Коэну легко обнаружить такие куски. Можно считать, что это имеет важное значение, но только если кто-то смешивает две сходные вещи с двумя вещами, которые идентичны.

Следующая ошибка состоит в мысли о том, что ‘А влияет на В’ влечёт ‘В не повлиял на А’. Коэн цитирует Рассела, описывая его лекции по логическому атомизму как ‘в значительной степени связанные с объяснением определённых идей, которые я усвоил от своего друга и прежнего ученика Людвиг Витгенштейна’. Это великодушная дань, поскольку, как указывает Грейлинг, ‘большая часть того, что существенно для взглядов Рассела в *Лекциях*, уже обнаруживается в работах, опубликованных до того, как он встретил Витгенштейна»³⁰, но оказав-

²⁸ Cohen, op.cit., 453, сноска 4.

²⁹ Некоторые предложения из пассажа Рассела опущены Коэном: «Когда я говорю о ‘фактах’, я не имею в виду одну из простых вещей в мире; я подразумеваю, что определённая вещь имеет определённое качество, или что определённые вещи находятся в определённых отношениях... Итак, факты в этом смысле никогда не являются простыми, но всегда имеют две или более конститuent. ... При условии такого факта существует пропозиция, выражающая этот факт... [такая пропозиция] будет называться атомарной пропозицией, поскольку ... существуют другие пропозиции, в которые входят атомарные пропозиции, способом, аналогичным тому, которым атомы входят в молекулы... Для того чтобы предотвратить параллелизм в языке, как соответствующий фактам и пропозициям, мы будем называть ‘атомарными фактами’ факты, которые мы рассматривали в прошлом». Важно заметить, однако, как уже отметили и Эрик Стениус, и Энтони Палмер, что перевод Огдена ‘das Bestehen von Sahverhalten’ в *T*,2 как ‘существование атомарных фактов’ делает важным *отсутствие сходства* между *Sachverhalte* Витгенштейна и атомарными фактами Рассела. Перевод Палмера ‘наличие состояния дел (или положение дел)’ более предпочтителен. См.: E. Stenius, *Wittgenstein's Tractatus: A Critical Exposition of its Main Lines of Thought* (Oxford: Blackwell, 1960), p.31; A. Palmer, ‘The Complex Problem and the Theory of Symbolism’, in R. Monk and A. Palmer (eds), *Bertrand Russell and the Origins of Analytical Philosophy* (Bristol: Thoemmes Press, 1996), 155–182.

³⁰ A.C. Grayling, *Wittgenstein* (Oxford: Oxford University Press, 1988), p. 57. Описывая этот интеллектуальный контакт с Витгенштейном в преддверии Первой мировой войны, Рассел говорит: «Доктрины Витгенштейна глубоко повлияли на меня. Я пришёл к мысли, что во многих пунктах я пришёл с ним к близкому согласию». См.: B. Russell, *My Philosophical Development* (London: Unwin, 1959), p. 83.

шийся в выигрыше, наглый и высокомерный юноша сумел в свою очередь ухитриться выразить лишь слегка завуалированное неуважение к Расселу. В предисловие к *Трактату* он говорит: «Хочу только упомянуть выдающиеся работы Фреге и моего друга Бертрана Рассела», то, что подразумевает эта фраза, отмечалось многими другими³¹. Тогда как Рассел тщательно упоминает о великодушной дани со стороны Витгенштейна, Витгенштейн тщательно избегает упоминаний о великодушной дани со стороны Рассела. Это, конечно, не подразумевает ни того, что Рассел не повлиял глубоко на Витгенштейна, ни того, что последний не перенял ряд важных идей у Рассела; это свидетельствует лишь о невежливости. В определённой степени вежливость утрачена и в игнорировании Коэном рассмотрения этой возможности.

В моей пьесе я приписал Расселу обвинение Витгенштейна в том, что он многое взял из теорий Больцано – что пропозиции имеют уникальный анализ, что всякая необходимость является логической, теорию логического следования, теорию вероятности, теорию переменной пропозиции и т.д. Коэн говорит, что Себестик, чью работу ‘Археология Трактата: Больцано и Витгенштейн’ я цитирую, является ненадёжным проводником, и оспаривает мнение, что Больцано был действительным источником всех этих взглядов³². Краткий ответ на это обвинение содержится в приложении. В основной части я нахожу возражения Коэна несущественными (он указывает на определённые различия между взглядами Больцано и Витгенштейна, но – вспомним ошибку номер 4 – глубинное сходство вообще не влечёт различий, и, как мы видели, их взгляды на вероятность настолько сходны, что Вригт ссылается на ‘определение Больцано-Витгенштейна’), но я согласен, что, например, идея ‘N’ оператора, оператора совместного отрицания в *Трактате*, возможно, в противоположность мнению Себестика, и не имеет источником Больцано. Я также думаю, что ошибался в своём прочтении английской

³¹ Например, P. Simons, ‘Frege and Wittgenstein, Truth and Negation’ в сборнике R. Haller, J. Brand (eds), *Wittgenstein: Towards a Re-evaluation* (Vienna: Hölder-Pichler-Tempsky), 119–29. Симонс говорит: «Персональный долг Витгенштейна Расселу был, конечно, неочевиден, и я сказал бы, что его интеллектуальный долг перед Расселом был также более значительным, чем перед Фреге» (p. 119).

³² В статье, упомянутой Коэном, Себестик отмечает, что «другой источник влияния Больцано является, вероятно, более важным. Его логические идеи проникали в австрийскую философию неожиданным способом, через посредство первой редакции очень влиятельной книги Циммермана, которой часто подражали...» (p. 117). Коэн доходит до утверждения, что Витгенштейн не изучал австрийскую философию (p. 456). Это странное утверждение, особенно в свете того факта, что цитируемый Коэном список тех, кто, как говорит Витгенштейн, повлияли на его мысль (CV, 16), включает Людвиг Больцмана, который занимал кафедру философии индуктивных наук Венского университета с 1902 по 1906 г.

версии оговорки Витгенштейна в предисловии: «Ведь написанное мной не претендует на новизну деталей». Я согласен с Коэном, что в немецком оригинале ‘im Einzelnen’ не несёт смысл ‘(мельчайших) деталей’, и я перевёл бы здесь как ‘отдельных тем’. Однако, если уж каяться, я предпочёл бы здесь уделить внимание Уорену Голдфарбу. Голдфарб говорил, что среди философов стало почти фольклором замечание Рамсея, встречающееся в его обзоре *Трактата*, что ‘то, что мы не можем сказать, мы не можем сказать и также не можем просвистеть’. Я слишком доверился этому неправильному восприятию и в ссылке 33 (p. 509) в *WPhD* некорректно процитировал этот обзор как источник данного замечания. Фактически его нужно искать в работе Рамсея ‘Общие пропозиции и причинность’, которая в старой редакции *Оснований* опубликована среди *Архивных материалов* (1929)³³.

ИСКРЫ ОТ СОЗНАНИЯ В ОГНЕ

Несомненно, что в *Трактате* критика доктрин Фреге и Рассела как сурова, так и резка. В нём также имеются собственные доктрины Витгенштейна, которые новы и крайне интересны, независимо от того, являются ли они в конечном счёте приемлемыми. Как мы уже упоминали, Витгенштейн раннего периода говорил, что ‘вся его цель’ состоит в объяснении природы пропозиций. Очевидность предполагает, что то, что он рассматривает как свой центральный вклад в теорию пропозиций, есть доктрина о том, что то, что не может быть сказано пропозициями, может быть только *показано*. Как он объясняет Расселу (письмо, датированное 19.8.19, *LRKM*, 71), «главная цель *Трактата* – это теория о том, что может быть выражено пропозициями – т.е. языком – (и, что то же самое, может быть *помыслено*) и что не может быть выражено пропозициями, но только показано; я считаю, что это является кардинальной проблемой философии»³⁴. Далее в этом письме он снова указы-

³³ R.B. Braithwaite (ed.), *F.P. Ramsey: The Foundations of Mathematics* (London: Routledge and Kegan Paul, 1931), p. 238.

³⁴ Особо отметим дату этого письма. Некоторые, ‘кто стоит на безоговорочных позициях’, утверждают, что, хотя в своих ранних заметках Витгенштейн и мог бы говорить о теориях, во время составления *Трактата* он пришёл к точке зрения, безотносительно к своим поздним работам, что философия не состоит из теорий, но скорее представляет собой определённый вид терапии. Однако это письмо Расселу было написано *после* завершения *Трактата*. Утверждение ‘стоящих на безоговорочных позициях’, что *Трактат* только *pretendует* на то, чтобы предложить теории, тогда как на самом деле он как раз даёт экспозицию претензий философского теоретизирования, которое в любом случае совершенно глупо. Ибо, если бы именно на это нацеливался Витгенштейн, он, конечно бы, прояснил это Расселу, или Рамсею, или любому другому соображающему человеку, с кем он обсуждал текст во всём его содержании.

вает на 'кардинальный вопрос о том, что может быть выражено пропозициями, и том, что не может быть выражено, но только показано' (LRKM, 72). Роль теории показывания в работах раннего Витгенштейна можно сравнить с ролью теории форм Платона. Оба автора считают, что они открыли объяснительное приспособление, способное привести к решению широкую и разнообразную область неподатливых проблем. Для Витгенштейна *показывание*, помимо того, что даёт ключ к решению ряда семантических проблем прояснения отношения слов к миру³⁵, а также играет главную роль в логике (теория вывода – T, 5.13-5.132), в теории внутренних свойств и отношений (T, 4.12-4.1241), формальных понятий (T, 4.126-4.1274), обеспечивает ключ к проблеме того, сколько истины содержится в солипсизме (T, 5.62), и даже открывает тайны этики в той степени, что демонстрирует, почему они не могут быть раскрыты, но должны всегда оставаться в области мистического³⁶.

Замечание «То, что *может* быть показано, *не может* быть сказано» (T, 4.1212) дословно появляется в отдельной записи, датированной 29.11.14 в *Дневниках* (N, 34), но ещё ранее, в этом же году, когда Мур посетил Витгенштейна в Скёльдене, откровение о показывании было первым, что он сообщил для записи Муру: «Так называемые логические предложения *показывают* логические свойства языка и, следовательно, универсума, но *не говорят* ничего» (апрель 1914, N, 107). Это предложение включает в себе две наиболее важные новые доктрины Витгенштейна раннего периода. Первая из них, конечно же, вышеупомянутая доктрина показывания. Обычные пропозиции показывают, что они говорят; тавтологии и противоречия показывают, что они ничего не говорят (T, 4.461).

Вторая доктрина затрагивает природу логики. Витгенштейн здесь ясно называет тавтологии 'так называемыми пропозициями', потому что его теория требует, чтобы как тавтологии, так и противоречия не считались Sätze, ибо они ничего не говорят (T, 6.11). Так называемые логические пропозиции являются псевдопропозициями (Scheinsätze). «Псевдопредложения таковы, что после их анализа оказывается, что эти логические предложения только показывают то, о чём, как предпола-

³⁵ Согласно точке зрения Витгенштейна, 'прояснение' не есть 'объяснение', поскольку не существует объяснения или выражения в словах отношения между словами и миром. Он говорит, что философская работа, по существу, состоит из прояснений (T, 4.112), и, строго говоря, его бессмысленное (unsinning) находится за гранями понимания (T, 6.54).

³⁶ T, 6.522: «Есть, конечно, нечто невыразимое. Оно *обнаруживает* себя; это – мистическое». То, что Пэрс и МакГиннес переводят 'обнаруживает' есть 'zeigen' (у Огдена и Рамсея переведено как 'показывает'). T, 6.421: «Ясно, что этика не может быть высказана».

лось, они говорят» (N, 16). Хотя в *Трактате* он иногда говорит о ‘логических пропозициях’, ясно, что эти логические пропозиции являются пропозициями в той же мере, в какой каменная лошадь является подлинной лошадей. Рамсей, принимая ‘глубокий анализ’, данный Витгенштейном, отличает тавтологии и противоречия от того, что он называет ‘подлинными пропозициями’ – то, что Витгенштейн называл ‘действительными пропозициями’ (N, 107)³⁷. В самом раннем письме к Расселу (датированном 22.6.12) Витгенштейн заявляет, что «логика должна оказаться наукой *совершенно* иного типа, чем все другие науки» (LRKM, 10). Пять или шесть месяцев спустя в письме из своего убежища в Скьёлдене он в состоянии объявить ‘определённым’ утверждение, что «все предложения логики есть обобщения тавтологий и все обобщения тавтологий есть предложения логики. Кроме них нет логических предложений» (LRKM, 41). Его поражающе новое видение – что логика не является совокупностью общих истин, но состоит из тавтологий, утративших смысл (*sinnlos*), – было также принято *inter alia* Расселом и Карнапом³⁸.

Почему эти две доктрины особенно важны и для решения каких проблем они изначально предполагались, есть предмет некоторых разногласий. Ответ на последний вопрос, на мой взгляд, касается черепахи и лошади соответственно. Тезис, что достоверный вывод показывается тавтологиями и не нуждается ни в каких дополнительных оправданиях, останавливает бесконечный регресс, в который черепаха Льюиса Кэрролла ввергает Ахиллеса³⁹. А доктрина показывания, как предполагается, освободит нас от проблемы Фреге относительно того, что понятие *лошади* не является понятием. Что за логический зверь лошадь, показывается в предложениях, относящихся к лошадям, – нам не нужны, да мы и не можем их иметь, осмысленные предложения, которые *говорят* то, что показывается относительно понятия лошади⁴⁰.

³⁷ Ramsey, ‘The Foundation of Mathematics’ (1925) in D.H. Mellor (ed.), *Foundations: Essays in Philosophy, Logic, Mathematics and Economics* (London: Routledge and Kegan Paul, 1978), 210–211.

³⁸ Рассел пишет: «Витгенштейн утверждает, что логика состоит всецело из тавтологий. Я думаю, в этом он прав, хотя я и не считал так до тех пор, пока не прочитал то, что он должен был сказать на этот предмет». См.: *My Philosophical Development* (London: Unwin, 1959), 88. Относительно Карнапа см. его ‘Автобиографию’ в P.A. Schilpp (ed.) *The Philosophy of Rudolf Carnap* (La Salle: Open Court, 1963), 27, цитата в *WPhD*, 502, сноски 15.

³⁹ L. Carroll, ‘What the tortoise said to Achilles’, *Mind* 4 (1895), 278–280. Аргумент Витгенштейна устанавливается в *T*, 6.1221 и, в несколько более ясной и расширенной форме, в *N*, 107–108, 111.

⁴⁰ См. мою книгу *CQT*, 18–19.

Помимо этих двух доктрин, я считаю, совершенно новым является рассмотрение Витгенштейном чисел как показателей операций (Т, 6-6.022).

ПОИСКИ СОБСТВЕННОГО ГОЛОСА

После ухода из философии с большой буквы и пробыв в течение шести лет то ли источником, то ли жертвой волнений в качестве учителя в некоторых школах сельской Австрии⁴¹, Витгенштейн вернулся в Вену, где, среди прочего, он построил дом для своей сестры и был вознесён на пьедестал Венским кружком. Некоторые члены кружка подстрекали его посетить лекцию, прочитанную в Вене Брауером в марте 1928 г., и это событие, очевидно, было наиболее значимым в возрождении его интереса к философии и отмечает начало его так называемого 'переходного периода'. Нужно сказать, что в манускриптах, сохранившихся от этого периода, содержится много материала невысокого качества⁴². К этим материалам стоит привлечь внимание, поскольку в этих записных книжках мы видим борьбу Витгенштейна, и становится совершенно ясно, что, в отличие от Моцарта, с пера которого в совершенстве оформленные симфонии как бы стекали, Витгенштейн должен был упорно трудиться – отказываться от слабых идей и постоянно исправлять и перерабатывать. Так он говорит в предисловии к Р1: «Причём с приближением к тем же или почти тем же пунктам с разных направлений, как бы заново, делались всё новые зарисовки. Многие из них неправильно нарисованы или нехарактерны, полны огрехов слабого рисовальщика. Но после их отбраковки остаётся некоторое число довольно сносных эскизов...».

Находят, что как в манускриптах переходного периода, так и в записанных Вайсманом беседах Витгенштейна с представителями Венского кружка (*WVC*), имевших место с 1929 до начала 1930 года, Витгенштейн ремонтировал трещины, которые он обнаружил в *Трактате*. В его статье *Несколько заметок о логической форме (RLF)*, датирован-

⁴¹ Обычная история состоит в том, что характер и несдержанное поведение Витгенштейна привели его к неприятностям. У.У. Бартли III в своей книге *Wittgenstein* (London: Quartet Books, 1973), 62–94, сообщает различные истории, в которых Витгенштейн предстаёт жертвой тёмных, мало думающих, неискренних, злобных типов. Подобный случай описан в романе Филиппа Рота *The Human Stain* (London: Vintage, 2000), но, разумеется, нет нужды обращаться к вымыслу за примерами клеветнических кампаний против учителя и, я считаю, что подход Бартли следует принимать серьёзно.

⁴² Я благодарю архив Витгенштейна в Бергене, Норвегия, за предоставление мне доступа к этим материалам и за использование их исследовательских средств, когда они были в разработке. Все манускрипты теперь транскрибированы и опубликованы как целое на CD-ROMax, *The Wittgenstein Nachlaß* (Oxford: Oxford University Press, 1999).

ной тем же годом, что и его устный экзамен, в значительной степени представлены идеи *Трактата*. Мы видим проблемы типа взаимоисключения цветов – *prima facie* зависимость элементарных предложений, описывающих цвета, – занимавшие его в начале 1930-х (*PR*), и он изобретает некоторые краткосрочные теории, с которыми имеет дело.

В течение этого переходного периода Витгенштейн прочитал публичную лекцию об этике, опубликованный текст которой у нас есть, *LE*. По общему признанию, эта лекция предназначалась непрофессиональной аудитории и, вероятно, поэтому не предполагала значительных философских усилий, но даже при этом условии, при условии сделанного второпях доклада, он говорил о глубокой важности этики, и от *Трактата*, который, вопреки поверхностному впечатлению, является этической работой, можно было бы ожидать определённого фейерверка. Но *Лекция по этике* – отсыревшая петарда. Витгенштейн проводит известное различие между категорическими и гипотетическими суждениями и обращает внимание на различие между натуралистическим и нормативным описанием поведения, но, в сущности, в этой лекции нет ничего, что имело бы воздействие, хотя бы одно продолжающееся воздействие, на последующее моральное мышление⁴³.

В предисловии к *Философским исследованиям* Витгенштейн писал:

Четыре года назад у меня был повод перечитать мою первую книгу (*Логико-философский трактат*) и пояснять её идеи. Тут мне вдруг показалось, что следовало бы опубликовать те мои старые и новые мысли вместе; что только в противопоставлении такого рода и на фоне моего прежнего образа мыслей эти новые идеи могли получить правильное освещение (*PI*, viii).

Очевидно, что сам он осознавал мышление *новым* способом. В поздних манускриптах он никогда не ссылается на свою раннюю работу или на её автора, Витгенштейн почти неизменно ищет способ дистанцироваться и не ассоциировать себя с ней или им.

Его новый образ мысли действительно был всецело новым и некоторые его контуры известны из эксплицитных утверждений Витгенштейна. Теперь он считает, что философские недоразумения вытекают из нашего очарования языком (*PI*, §109). Лекарственное средство заключается в тщательном исследовании способа, которым слова неверно

⁴³ Руперт Рид доказывал, что в лучшем мире на авторов работ по этике Витгенштейн повлиял бы гораздо сильнее – в оставленной теории было бы больше храбрости. См. его 'Review of R. Hursthouse, *On Virtue Ethics*', *Philosophical Investigation* 24 (2001), 274–282.

используются в отдельных философских выражениях, и напоминая себе⁴⁴ о тонких различиях⁴⁵ между способами, в которых эти слова используются в нормальном, повседневном употреблении⁴⁶. «Если я должен сказать, – говорит он, – в чём заключается ошибка, сделанная философами нынешнего поколения, включая Мура, я сказал бы, что она состоит в том, что когда рассматривают язык, рассматривается форма слов, а не употребление согласно форме слова» (*LA*, 2). Пристальное внимание к особенностям употребления есть полный антитезис строительной теории, которую он первоначально рассматривал как парадигмальную для философии, и едва ли нужно доказывать, что на этой стадии Витгенштейн выражался в высшей степени оригинально. Его философия математики, которая занимала большую часть его времени до 1944 года, также оригинальна. Исключительно сумасшедшая, сказали бы некоторые, нарушающая правила в хорошем смысле и указывающая на неосведомлённость субъекта за рамками элементарного уровня. Однако эта более поздняя критика, которая некогда была общепринята, теперь ставится под сомнение некоторыми очень интересными исследованиями по обоснованности некоторых его замечаний относительно теории множеств и теоремы Гёделя⁴⁷.

Взгляд, который я защищал в этой статье, состоит в том, что на раннем этапе Витгенштейн был вторичным мыслителем, что признание, сделанное им относительно отсутствия собственной оригинальности, было хорошо обоснованно. *Трактат* – важная работа, но это плод семян, посеянных в душе Витгенштейна Расселом, Фреге и многими другими. Затем, когда Витгенштейн искал свой уникальный философский голос, произошла удивительная трансформация как в его характере, так

⁴⁴ «Труд философа – это осуществляемый с особой целью подбор припоминаний» *PI* §127; см. также §89).

⁴⁵ Согласно М. Друри, Витгенштейн однажды обдумывал использование в качестве эпиграфа для *PI* цитату из *Короля Лира*: «Я научу тебя различиям». См. К.Т. Fann (ed.), *Ludwig Wittgenstein: The Man and his Philosophy* (New York: Dell, 1967), 69.

⁴⁶ В *PI* §116 Витгенштейн описывает своё предприятие как возвращение слов от метафизического к их повседневному использованию. §§114–116 – это критика утверждения, сделанного в *T* 4.5 о том, что общая форма пропозиции есть “Дело обстоит так-то и так-то”.

⁴⁷ V. Rodych, ‘Wittgenstein’s Critique of Set Theory’, *The Southern Journal of Philosophy* 38 (2000), 281–319; J. Floyd and H. Putnam, ‘A Note on Wittgenstein’s “Notorious Paragraph” about the Gödel Theorem’, *The Journal of Philosophy* 97 (2000), 624–632; C. Sayward, ‘On Some Much Maligned Remarks of Wittgenstein on Gödel’, *Philosophical Investigation* 24 (2000), 262–270.

и в его философии⁴⁸. Витгенштейн признавал ограниченность своего таланта⁴⁹, но он загружал себя, был беспощадно самокритичен и стал лучше, как человек, и оригинальнее, как философ⁵⁰. Уже цитированная сноска из WPhD продолжает:

Впоследствии, после многих лет борьбы со своими личными пороками и против наивных незрелых концепций, изложенных в *Трактате*, он пришёл к воистину великим и оригинальным мыслям. Я согласен с мнением М. Даммита, что «всякий, способный к осознанию глубокой философии, открыв *Философские исследования*, поймёт, что это работа гения»⁵¹.

ПРИЛОЖЕНИЕ ЯНА СЕБЕСТИКА

После смерти Больцано было несколько оправданий по поводу плагиата его идей. Одним из обвиняемых был Роберт Циммерман, автор *Philosophische Propädeutik* (1-я редакция 1853 г.). Обвиняемые были оправданы, хотя бы уже потому, что Больцано хотел, чтобы его идеи пропагандировались без упоминания его имени. В Австрии в то время Больцано всё ещё был *persona non grata*, и публичное заявление в его пользу, вероятно, встретило бы официальное порицание, что могло повредить университетской карьере Циммермана. Вот почему Циммерман опускает почти все идеи Больцано во второй редакции своего учебника

⁴⁸ Хинтикки видят её как медленный переход, достигающий кульминации в понятии языковой игры, занимающей центральное положение в рассуждениях Витгенштейна. См.: M.B. and J. Hintikka, *Investigating Wittgenstein* (Oxford: Blackwell, 1986), 190.

⁴⁹ Хотя это проявилось в одном из его не слишком умных замечаний: «Даже величайшие еврейские мыслители не более чем талантливы, (я сам, например)» (CV, 16).

⁵⁰ После того как я написал этот параграф, я наткнулся на биографический очерк о Витгенштейне Георга фон Вригта и с радостью обнаружил, что относительно этого исследования мои взгляды и взгляды фон Вригта вполне совпадают. Согласно фон Вригту, «прежде всего острая и сильная критика Сраффы склонила Витгенштейна оставить свои ранние взгляды и проторить новые дороги. Он говорил, что его споры со Сраффой вызывали у него ощущение, что он дерево, с которого срезали все листья. Чтобы это дерево снова могло стать зелёным, ему требовалось самому обрести жизнеспособность. Поздний Витгенштейн не испытывал влияния со стороны подобного тому, которое ранний Витгенштейн испытывал от Фреге и Рассела». См. G.H. von Wright, *Wittgenstein* (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1982), 28. В сноске (15, p. 27), фон Вригт замечает: «*Трактат* принадлежит определённой традиции в европейской философии, уходящей вглубь, за Фреге и Рассела, по крайней мере, к Лейбницу. Так называемая поздняя философия Витгенштейна, как я её вижу, совершенно иная. По духу она не похожа на всё, что я знаю из западной мысли, и во многих направлениях противостоит целям и методам традиционной философии».

⁵¹ M. Dummett, *Origins of Analytical Philosophy* (London: Duckworth, 1993), p. 166.

(1860), редкий случай в философской литературе, когда вторая редакция определённо хуже первой⁵². Злоключения постигли Гуссерля после его восторженного отзыва в пользу Больцано в *Логических исследованиях*. В *Der Streit der Psychologisten und Formalisten in der modernen Logik* (1902) Мельхиор Палагий предупреждает о ‘формалистской опасности’. Согласно Палагию, ‘подлинным создателем формалистской тенденции в современной логике’ был Больцано, чьим последователем стал Гуссерль в *Логических исследованиях*. В обзоре книги Палагия Гуссерль пишет:

Здесь я должен впервые сказать о неприличной манере, в которой Палагий рассматривает мои отношения с Больцано. В последовательности намёков, которые не имели бы значения, взятые отдельно, но которые действительны, когда берутся в последовательности, он, самое меньшее, даёт читателю понять, что я использовал Больцано в бессовестной манере и умолчал о моей зависимости от него. Сдерживая суждение относительно того, как действует автор, я замечу в пользу неинформированных, что я не только – как однажды упоминает автор (стр. 16) – ‘упомянул’ Больцано и ‘назвал’ его одним из величайших логиков. Более того – в ‘Приложении’ к разделу 10 *Logische Untersuchungen*, т. 1, в добавлении, специально посвящённом этой цели, – я указал на значение *Wissenschaftslehre* как одной из фундаментальных работ по логике и подчеркнул необходимость построений на основе этой работы и её изучения с величайшей тщательностью. Это я сделал в такой детальной манере и с таким вниманием, как никогда до этого, ни в ранние времена, ни в нынешние. И, не удовлетворившись этим, я отчётливо обозначил Больцано (вместе с Лотце) как того, кто на меня ‘решительно повлиял’. Эти слова я цитирую из *Logische Untersuchungen*, т. 1, 226 (1-е издание)⁵³.

Сходные замечания можно найти в предисловии ко второй редакции *Логических исследований* и в *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie* (1913), книга III, §10.

Витгенштейн не считал свою раннюю работу оригинальной и не заботился о цитировании своих источников. Я не знаю, справлялся ли

⁵² На эту тему см.: E. Morscher, ‘Robert Zimmermann – der Vermittler von Bolzano’s Gut? Zerstörung einer Legende’, in H. Ganthaler and O. Neumaier (eds), *Bolzano und die österreichische Geistesgeschichte* (Sankt Augustin: Academia, 1997), 145–237.

⁵³ Husserliana XII (The Hague: Nijhoff, 1970), 287–294. (Обзор Гуссерля появился в 1903); английский перевод Д. Вилларда см.: J.N. Mohanty (ed.), *Reading on Edmund Husserl’s Logical Investigation* (The Hague: Nijhoff, 1977), 36.

он с *Wissenschaftslehre*. Для меня его наиболее вероятный источник, непосредственный или опосредованный, – это *Propädeutik* Циммермана. Там Циммерман объясняет наиболее важные логические теории Больцано, не упоминая в связи с ними имени Больцано. Фактически он упоминает его три раза, но в отношении менее важных пунктов, чтобы скрыть факт, что он заимствовал его важные идеи. Поэтому, не будучи знаком со своим источником, Витгенштейн, мог взять из старого учебника метод переменной Больцано, его понятие логического следования (*WL* II, §155) и его понимание связи между следованием и вероятностью (*WL* II, §§161, 162). Эти доктрины были широко известны в Австрии того времени и изучались в школах второго уровня. Циммерман приобрёл математическое *Nachlaß* Больцано, которое он на время передал Австрийской академии наук в Вене в 1882 г. и отдал в Hofbibliothek в 1892 г., вероятно, не просмотрев их. У него нет заимствований из *Nachlaß*, только из *Wissenschaftslehre*.

Когда Коэн делает бесспорное утверждение, что Витгенштейн не изучал в университете австрийскую философию, это, конечно, правильно. Но Витгенштейн провёл первые семнадцать лет своей жизни в Австрии в очень искущённом окружении, где в его отчем доме велись оживлённые разговоры на тему искусства, литературы, музыки, а также философии. Он часто возвращался в Австрию и, вероятно, знал об австрийской философии. Просматривал ли он *Логические исследования* Гуссерля в юные годы? Контактировал ли он за границей с людьми, которые, подобно Расселу, были немного знакомы с австрийской философией?

По причинам, отмеченным выше, относительно ‘метода переменной’ я намеренно цитировал Циммермана, а не Больцано, хотя циммермановская иллюстрация метода не так хороша (у Больцано тоже есть этот пример, но он приводит и лучший). Согласно Коэну, рассматривающему метод переменной, мне следовало бы процитировать замечания Рассела из *Оснований математики* о переводе констант в переменные. Однако Рассел, когда он пишет о переменных в *Основаниях*, ссылается на формальные языки, тогда как Больцано объясняет свою концепцию для естественных языков. Когда Рассел преобразует константы в переменные, он фактически *подставляет* переменную вместо константы и вместо ‘ $\phi(a)$ ’ он пишет ‘ $\phi(x)$ ’. Но это совсем не то, что подразумевал Больцано (и Циммерман). Больцано не подставляет переменную вместо константы, он просто *рассматривает* саму константу как играющую роль переменной и подставляет константные идеи для данной константной идеи. Он пишет: «Мы рассматриваем определённые составные части предложений как переменные и подставляем вместо них эту идею, а иногда ту» (*WL*, II, §147; а также §69 и §108). Когда он

пишет, что ‘предложения А, В, С ... в которых определённые идеи i, j ... рассматриваются как переменные’, он не проводит современное различие между переменными и константами; по-моему мнению, его i, j ... являются константами, определёнными идеями вместо которых мы можем подставить другие определённые идеи. Посредством подстановки вместо ‘переменных идей’ (конституент) мы получаем целый класс пропозиций, как Больцано объясняет в §147 и как поступает Витгенштейн в *Трактате*, 3.315.

Рольф Джордж и Пол Разнок в статье для философского словаря обратили внимание на одну неопубликованную статью Рассела ‘О подстановке’ (1904), где играет роль некоторое понятие подстановки, которую Р. Монк описывает следующим образом:

Вместо работы с пропозициональными функциями типа ‘ x смертен’, имеют дело прямо с пропозициями, такими как ‘Сократ смертен’ и ‘Платон смертен’; и вместо понятия переменной ‘ x ’, которая может быть определена индивидами типа Сократа и Платона, можно просто использовать технику подстановки одного индивида вместо другого в любой заданной пропозиции. Преимущество такого подхода состоит в том, что он избавляется как от понятия пропозициональных функций, так и от классов в пользу просто пропозиций⁵⁴.

Это – в точности метод переменной у Больцано. У Фреге нет ничего подобного. Быть может, Рассел открыл его сам или мог обнаружить его у Больцано, автора, которого, как мы знаем, Рассел читал. Если на Витгенштейна оказала влияние филиация идей, то споры с Расселом вполне могли иметь здесь влияние.

Помимо дополнительных цитат и ссылок я ничего не могу добавить к проблеме *логического следования* (*выводимости*, *Ableitbarkeit* в терминологии Больцано) и его связи с выводимостью. Сходство между Больцано и Витгенштейном в этой области для меня является наиболее важным, но Коэн не говорит ничего, относящегося к этой теме. Рассмотрение Витгенштейном следования и вероятности есть упрощение метода Больцано. Больцано явно принимает наличие переменной в непроанализированных пропозициях, хотя и практикует это. У Рассела и Фреге нет ничего подобного. Нет ничего невозможного в том, чтобы гений типа Витгенштейна обнаружил это сам, но едва ли можно сбро-

⁵⁴ R. Monk, *Bertrand Russell: The Spirit of Solitude* (London: Jonathan Cape, 1996), 185.

сильно со счетов влияние Циммермана на рассмотрение Витгенштейном понятия вероятности.

Теории Больцано обсуждались в австрийской философии со времён Экснера (Брентано и его ученики: Керри, Твардовский, Гуссерль, Мейнонг, Хёфлер *et alii*; в работе Лукаевича *Die logischen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung* (1913), который был учеником Твардовского, есть раздел о Больцано. Относительно сходства между Больцано и Тарским я уже писал⁵⁵. В случае Тарского не исключено опосредованное влияние через Твардовского.

⁵⁵ J. Sebestic, *Logique et mathématique chez Bernard Bolzano* (Paris, Vrin, 1992), 246–247, а также более детально ‘Forme, variation et déductibilité dans la logique de Bolzano’, *Revue d’Histoire des Sciences*, 52 (1999), 479–506.

В серии «Библиотека аналитической философии» вышли следующие книги:

1. *Фреге Г.* Логические исследования
2. *Витгенштейн Л.* Дневники 1914–1916 (с приложением «Заметок по логике» и «Заметок, продиктованных Дж.Э. Муру»)
3. *Рассел Б.* Философия логического атомизма
4. *Фреге Г.* Основоположения арифметики
5. *Язык, истина, существование* (Рассел Б., Мур Дж.Э., Карнап Р., Витгенштейн Л., Селларс У., Крипке С., Аппель К.-О., Сёрл Дж., Фоллесдал Д.)
6. *Куайн У.В.О.* С точки зрения логики
7. *Рамсей Ф.* Философские работы
8. *Крипке С.* Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке
9. *Логика, онтология, язык* (Фреге Г., Рассел Б., Рамсей Ф., Куайн У., Даммит М., Пикок К., Фоллесдал Д., Райл Г., Рикёр П., Бенацераф П., Голдстейн Л.)

Готовятся к изданию:

1. *Бейкер Дж., Хакер П.* Скептицизм, правила и язык
2. *Куайн У.В.О.* Философия логики
3. *Стросон П.* Индивиды
4. *Даммит М.* Истоки аналитической философии

Научное издание

ЛОГИКА, ОНТОЛОГИЯ, ЯЗЫК

Составление, перевод и предисловие В.А. Суровцева

Редактор *В.С. Сумарокова*
Компьютерная верстка *Ю.А. Сидоренко*

Лицензия ИД 04617 от 24.04.2001 г. Подписано в печать 28.10.2005 г.

Формат 60x84¹/₁₆. Печ. л. 15,4; усл. печ. л. 14,3; уч.-изд. л. 14,8.

Тираж 500. Заказ

ОАО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4
Типография «Иван Фёдоров», 634003, г. Томск, Октябрьский взвоз, 1